ВРЕМЯ И МЫ

66

1989

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- ЭМИГРАНТЫ ИЗ СССР В ИЗРАИЛЕ И США
- АВТОРИТАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ
- ДВЕ ЭПОХИ: ОТЕЦ И ДОЧЬ

Лидия Чуковская
Предсмертие
Ефим Эткинд

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- ТРОЦКИЙ ВЫДУМАННЫЙ И НАСТОЯЩИЙ
- ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЦВЕТАЕВОЙ
- В СТОЛИЦЕ МИРА, НА 42-ой

Виктор Перельман
Оглянись в сомнении
Игорь Ефимов
Архивы страшного суда

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Восьмой год издания

Выходит один раз
в два месяца

66
1982

МАЙ-ИЮНЬ

НЬЮ-ЙОРК-ИЕРУСАЛИМ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1982

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
МИХАИЛ КАЛИК
АСЯ КУНИК
ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛЕВ НАВРОЗОВ
КАРЛ ПРОФФЕР
АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ
ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДОРА ШТУРМАН ***(зам.гл.редактора)***
ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отдаления: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX FRANCE

Представители журнала:

Англия Александр Штромас
Croft House, Top Flat 32 New Hev Road Rastrick, Brighouae W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND

Канада Юрий Лурьи
305 Robson Hall Winnipeg. Manitoba Canada R3T 2N7
t. (204) 474 9773

Западный Берлин Juscwa Mischijew
Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65

OCR и вычитка - Давид Титиевский, январь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Игорь ЕФИМОВ
Архивы страшного суда 5

ПОЭЗИЯ

Евгений НАКЛЕУШЕВ
Хотя человек не вечен 134
Борис ПОЛЯКОВ
Попытка оды 143
Элий ВАЙНЕРМАН
Полифония 148

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Оглянись в сомнении 151
Борис ШРАГИН
Авторитарные личности 160
Ефим ЭТКИНД
Отец и дочь 168
Дора ШТУРМАН
Мертвые хватают живых 184

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Лидия ЧУКОВСКАЯ
Предсмертие 201

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Альфред ТУЛЬЧИНСКИЙ
В столице мира, на 42-ой 232

ОТ РЕДАКЦИИ
Страх перед высказанным словом 243

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

Игорь Ефимов

АРХИВЫ СТРАШНОГО СУДА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. АРХИВ

ФРАГМЕНТЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЫХ ВЫРЕЗОК, СОБРАННЫХ ААРОНОМ ЦИМКЕРОМ ЗА ДВА ГОДА ЖИЗНИ В АМЕРИКЕ

Журнал "Time" (Раздел "Религия")

Они называют себя по разному. Спасенными отцами. "Помощниками воскрешения". "Паломниками Страшного суда". "Христовыми подзащитными". Последнее время чаще всего просто "подзащитными". Может быть, чтобы не отпугивать людей других вероисповеданий. Потому что в потоке паломников, текущем сейчас в маленький городок на юге Нью-Хэмпшира, можно встретить и мусульман, и буддистов, и иудеев, и язычников всех мастей — от новозеландских огнепоклонников до чукчей и эскимосов. Во что бы вы ни веровали, вас примут тепло, окружат вниманием и заботой, объяснят, что нужно сделать, чтобы попасть в числе первых на Страшный суд и сподобиться воскрешения. Если, конечно, у вас есть три тысячи долларов, чтобы заплатить за двухминут-

Окончание. Начало в № 64-65.

Отдельным изданием роман выходит в 1982 г. в издательстве "Эрмитаж". Цена — 12 долларов, включая пересылку; в магазине — 10.50. Заказы и чеки направлять по адресу издательства "Эрмитаж": 2269 Shadowood, Ann Arbor MI 48104, USA.

ную операцию — взятие капли крови из пальца.

Когда первая группа "подзащитных" во главе с основателем секты отцом Аверьяном прибыла в Америку из Европы, о них почти ничего не было известно. Но и теперь, два года спустя, после сотни статей, десятков телепередач, после того, как филиалы Архива выросли во многих городах, мы почти ничего не знаем о людях, составляющих ядро секты.

Всю информацию удается почерпнуть только от паломников, прошедших церемонию "сдачи дела жизни" в Архив, из воскресных проповедей отца Аверьяна и из сборников их, публикуемых на разных языках. Сами же служащие Архива принимаются на работу лишь при условии, что они будут хранить в тайне все, что им удастся увидеть внутри, что категорически откажутся вступать в контакты с прессой, что даже знакомым и близким родственникам не будут сообщать о характере своей работы. У них у всех вместо адреса — номер ящика в почтовом отделении, телефон не включен в общие справочники, машины паркуются на отдельной стоянке, закрытой для посторонних.

Официальные публикации Архива объясняют необходимость подобной секретности огромной ответственностью, которую Архив берет на себя, обязуясь сохранять "дела подзащитных" до Судного дня. Пожар, эпидемия, землетрясение, атака террористов, даже термоядерная война — ничто не должно нарушить сохранность крошечных пробирок с кровью и кассет с жизнеописанием — на фотопленке или магнитной ленте, — опущенных в подземные кладовые, вырубленные в твердых скалистых породах под зданием Архива.

Отношение других религиозных общин к "подзащитным", поначалу открыто враждебное и высокомерно-насмешливое, в течение последних шести месяцев заметно изменилось. Стремительный рост секты вызывает тревогу, заставляет искать более осторожные формулировки. Открытую враждебность и полное неприятие позволяют себе в настоящее время одни мормоны. Филиал Архива, открытый было в Юте, очень скоро вынужден был закрыться под давлением местных властей. Но баптисты, католики, мусульмане, евреи проявляют такой горячий интерес к возможности купить себе заранее воскресение, что священнослужители этих религий вынуждены искать аргументы для критики "подзащитных" не в священных текстах, а в учебниках по гематологии.

И, видимо, не всегда им это удается.

Во всяком случае, нам стало известно, что два католических священника уже были лишены сана, одна православная монахиня изгнана из монастыря, а балтиморский раввин отстранен от управления синагогой — и все за одно и то же: за то, что они ездили в Нью-Хэмпшир и прошли церемонию "сдачи дела жизни" в Архив.

Журнал "Cosmopolitan" (Раздел "Приключения")

Я прилетела в Манчестерский аэропорт в ужасном состоянии. Обострившийся артрит, телефон бойфренда, не отвечающий уже два дня, закрутка марихуаны, найденная в портфеле четырнадцатилетней дочери, похмелье после вечеринки, посвященной выходу в свет романа лучшей подруги детства (а мой роман до сих пор кочует по издательствам), — от всего этого жить не хотелось, не то что воскресать. Но полтора часа езды по сентябрьским дорогам Нью-Хэмпшира сделали свое дело: эти алеющие клены на склонах гор, этот запах хвои, этот блеск солнца на озерной воде и вытащенные на берег яхты, эти каскады мендельсоновой симфонии, заполняющие местный эфир, можно было впитывать вечно и ненасытно.

Главное здание Архива вы замечаете на возвышении задолго до съезда с шоссе. В свое время там размещался проектный центр компании Ай-Си-Ди. Ходят слухи, что "подзащитные" при своем приезде в Америку получили его чуть ли не даром — в обмен на клочок земли и деревянную халупу под Парижем. Получить что-то даром у Ай-Си-Ди! Не говорит ли подобное начало о том, что Высшие силы на их стороне?

Лишь подъезжая ближе, вы обнаруживаете городок, выросший вокруг Архива за какие-нибудь полтора года. Мотели для паломников, ресторанчики, бары, банк, кинотеатр, аптека, парикмахерская, церковь, бюро путешествий. В стороне подрастает очередной "Хилтон". Строительные площадки самого Архива скрыты за высоким забором и отрогом горы. Говорят, там сооружается новое подземное хранилище, возводится новый храм (эйкуменистского толка), библиотека, исследовательский центр, а также "Дом покаяния", где всякий паломник сможет по своему желанию оплатить свои грехи каким-нибудь самоистязанием — потом, бессонницей, жарой, холодом, кнутом, целомудренным воздержанием, многочасовыми поклонами, спаньем на гвоздях. (И все это — под на-

блюдением врача, медицинские страховки принимаются.)

Честно говоря, я до сих пор не могу понять, почему редакция поручила это задание именно мне. У нас есть много других корреспондентов, столь же неуязвимых для Божественного глагола, не хуже меня умеющих осваиваться в любой обстановке, вступать в разговор, завоевывать доверие собеседника и потом злоупотреблять им. Может быть, назло — узнали, что никто не боится шприца так, как я? Мысль о предстоящем мне взятии крови из пальца наполнила таким ужасом при входе в здание Архива, что внешне это вполне могло сойти за религиозный трепет.

Но сначала предстояла встреча с консультантом.

Вообще-то говоря, это необязательно. Вы можете прислать вместе с чеком на три тысячи долларов свое жизнеописание, затем прибыть в назначенное вам время, сдать кровь и отправляться грешить дальше с легким сердцем. Но если вы не уверены, что ваша нынешняя жизнь расписана как следует, вы можете попросить о предварительной встрече с консультантом, который поможет вам подчистить ее. (Двести долларов за первый час и по сто пятьдесят за каждый последующий.)

Очень милая негритянка-регистраторша в монашеской форме нашла мою карточку, сказала, что через пятнадцать минут меня примут в келье номер 18. Не желаю ли я подождать в кресле? Вон там, у окна будет очень удобно.

Вестибюль, похожий то ли на приемную большой больницы, то ли на зал ожидания в аэропорту. Не доставало только автомобиля под стеклянным колпаком, будки страховой компании, сигаретного автомата, лавки с сувенирами. Зато контрольная калитка была — точно такая, как в аэропортах. Время от времени над ней зажигался номер, и очередной паломник уходил сквозь нее внутрь здания. Поневоле казалось, что каждый несет целый короб темных дел и грязных страстишек. Не то чтобы они выглядели слишком взволнованными, но какая-то нервозность все же в них замечалась. Или мне так казалось, потому что я сама нервничала, как перед полетом. И то сказать: не каждый день покупаешь "билет" за три тысячи и летишь неведомо куда. (Даже если все расходы берет на себя редакция.)

Разговаривать не видя собеседника, — это именно то, что я делаю хуже всего. У меня и с телефоном вечные проблемы. Поэтому, когда я дождалась номера 18, прошла через контрольную калитку в коридор и предводимая очередным монахом (или это только униформа такая у них?) дошла до нужной двери, вошла в абсолютно пустую келью-кабину и увидела, что единственный стул стоит перед зеркалом в стене (знаете, как в полицейских участках — "я тебя вижу, а ты меня — нет"), я сразу поняла, что наш разговор с консультантом не склеится.

И действительно. Как можно ответить говорящей стене на вопрос, что я считаю лучшим поступком своей жизни, что — худшим? Я и с близким человеком не могла бы это обсуждать. Честно говоря, я думаю, что и лучший, и худший мой поступок один и тот же: аборт, который я сделала в семнадцать лет, чтобы не заставлять Джека жениться на мне. (Он очень боялся своего дяди-пастора, бедняжка.) Еще стена сказала приятным мужским голосом, что в магнитофонном рассказе о моей жизни (присланном заранее) совершенно неясным остается период с двадцати до двадцати семи лет. "Разве нужно описывать все год за годом?" — "Нет, Но нам кажется, что любая неясность снижает шансы человека на оправдание на Страшном суде и воскресение". — "Хорошо, — сказала я, — Тогда добавим: все, что происходило со мной с двадцати до двадцати семи лет, следует зачеркнуть и забыть. И об этой милости я прошу не только судей Страшного суда, но также трех мужчин разного возраста, сильно натерпевшихся от меня, налоговое управление, телефонные компании, до сих пор пытающиеся получить с меня по старым счетам, моих бедных родителей, владельца голубой "веги", которую я разбила и смылась, и даже одного агента ФБР, который..." Но нет, — уж забывать, так забывать!

В общем довольно скоро стена поняла, что "рассказ о себе-любимой" — не мой жанр, и ни одного лишнего доллара из меня на этом не вытянешь. Был снова вызван монах-провожатый, и по лестнице меня отвели наверх в святая святых: круглый зал, где происходит расставание с каплей крови. Той самой, что должна будет воссоздать вас со всеми вашими страхами, бородавками, шрамами, обидами, лишним жирком, искусственными зубами.

Самого зала вы, впрочем, не видите, а идете по кольцевому коридору мимо дверей в кабинки, которые окружают его, как кукурузные зерна — початок. Видимо, мешанина моих религиозных взглядов привела консультанта в растерян-

ность, потому что он на всякий случай направил меня в кабинку без всякого церковного реквизита. Стены расписаны под звездное небо, там и здесь кометы закручивают хвост в форме вопросительного знака (дескать, кто же нас сотворил? кто, а?) А у других (мне потом рассказывали) было все, чего их душа желала. Кому — иконы с лампадами, кому — семисвечник, кому — раскрытый Коран, кому — крест и фуга Баха из стереокомбайна.

В моей тоже тихо наигрывала какая-то музыка — то ли Брубек, то ли из "Джизус Крайст — суперстар", то ли еще что из любимого репертуара второго этажа нью-йоркской богемы. И вот под эти тихие синкопы я, с овечьей покорностью, но обмирая от страха, сунула руку в черную дыру в стене. Именно этого требовал первый пункт инструкции, висящей над дырой. Там была даже картинка, поясняющая, что будет происходить дальше: как надувные браслеты слегка зажимают руку у локтя и у кисти (точно — зажали); как на вашу ладонь, торчащую внутри, в круглом зале, наклеивают специальные датчики (было холодно и щекотно); как затем рука, вернее, предплечье — от локтя до кисти, остается в темном простенке, где и должен свершиться главный чудо-фокус: специальным шаманско-сибирским заговором вашу кровь уговорят подготовиться к долгому-долгому хранению, запастись всем необходимым для путешествия во времени.

Вы не слышите самого заговора (а то чего доброго, украдете секрет).

Если бы и слышали, не поняли бы ни слова, ибо это по большей части сочетания звуков, особым образом выпеваемых (так говорят их брошюры).

У вас нет никакой возможности проверить научно подлинность проводившихся экспериментов ("подзащитные" уверяют, что они проводились самым тщательным образом).

У вас нет сил отогнать сомнение, — а не трюк ли все это?

Но при всем при том вы начинаете чувствовать, как что-то меняется в вас.

Кровь словно бы тяжелеет, начинает течь медленнее. Сердце работает, как перегруженный бензовоз, идущий на обгон, дыхание ускоряется. Легкое головокружение не похоже ни на какой из известных мне видов опьянения (а уж поверьте, я знаю их немало). Чем-то оно напоминает то состояние на

грани засыпания, когда после трехчасовой бессонницы вы вглядываетесь в лошадей, входящих в лифт, и с надеждой говорите себе, что, возможно, сон уже близок.

Дальше произошло самое невероятное: я не почувствовала укола. Может быть, они применяют какую-нибудь местную анестезию, а может быть, шаманский заговор вогнал меня в полусон. Так или иначе, я не заметила того момента, когда дорогие мои трансценденты в своих перегруженных запасами эритроцитах и тромбоцитах отправились в бесконечно далекое путешествие во времени-пространстве. Удастся ли им достичь цели и выстроить меня — такую неповторимую! — заново?

Садясь в машину, я не удержалась: отодрала пластырь с пальца и долго рассматривала крошечную темную точку — этот шлюз, через который произошел "запуск", этот мой "мыс Кеннеди", мой "Байконур".

О да, потом я расписывала свою поездку с большой иронией и на нескольких вечеринках сумела блеснуть этой историей и собрать вокруг себя изрядную толпу минут на пятнадцать. Но если говорить честно, "сдача дела" не прошла для меня бесследно. В чем-то я изменилась. И друзья и родные, кажется, начинают замечать это. Всевозможные "а вдруг", "а если" то тут, то там пробивают бронированный колпак моего скепсиса, и сердце начинает биться так же тяжело и напряженно, как в той комнатке-кабине перед круглой черной дырой в стене.

Ведь действительно: кто может знать, что ждет нас там, далеко-далеко впереди?!

Сатирический журнал "Lampoon"
Из разговоров в приемной Архива Страшного суда

— В проповеди отца Аверьяна нам обещана после воскресения встреча с самыми дорогими существами.

— Да, это так.

— Самое близкое мне существо ждет в машине, и я готова уплатить и за его каплю крови тоже.

— Очень хорошо.

— Но я несколько тревожусь за исход его дела. Как раз сегодня, должно быть от волнения, когда мы остановились перекусить в придорожном "Макдональдс", оно облаяло очень почтенную леди и искусало весьма породистую таксу.

— Скажите, неделю назад не приезжала к вам такая рыжеватая дама с бородавкой в углу рта?.. Ах, вы храните в тайне... Ну а могу я что-то сделать, чтобы попасть на Страшный суд раньше нее и дать показания первым?.. Ах, не в вашей компетенции... А скажите, учитываются там показания близких родственников? Например, бывшей жены, у которой маниакальная идея: что бывший муж регулярно пытается сбить ее автомобилем?

— Нет, это не жизнеописание. И каплю крови мне тоже сдавать не нужно. Я просто хочу выяснить, сколько будет стоить оставить у вас в Архиве вот это заверенное нотариусом заявление в две строчки: "Никогда, ни при каких обстоятельствах прошу меня не воскрешать. Кто воскресит — пожалеет".

Журнал "Film"

Новая и очень доходная отрасль кинопромышленности может развиться в ближайшем году. Связана она с деятельностью "подзащитных христовых". Дело в том, что некоторые паломники не удовлетворяются своим словесным жизнеописанием. Обеспокоенные тем, что облик их после воскресения будет как-то искажен, они прикладывают к магнитофонной ленте еще и ролик любительского фильма о себе. Те, кто побогаче, заказывают эту работу профессионалам. Для начинающих режиссеров и операторов этот рынок может оказаться таким же мощным подспорьем, как для студентов бэбиситерство и машинопись. Фабрики киноматериалов начали уже разрабатывать кинопленку, которая должна будет храниться 200, 400, 600 лет. (Все претензии к плохому качеству принимаются уже после Страшного суда.)

Газета "Morning Star"

Вождь мирового пролетариата метко окрестил главного прислужника эксплуататорских классов — религию, — назвав ее "опиумом для народа". Но новая разновидность, обосновавшаяся недавно в Нью-Хэмпшире, по своему бесстыдству и жадности настолько превзошла все известные до сих пор, что ее следовало бы уже назвать "чистым кокаином". Мало того, что она выкачивает деньги из карманов доверчивых простаков, мало того, что отвлекает массы от главного дела — от классовой борьбы, — она еще изощряется в клевете, по своей изощренности превосходящей даже изощренную радиостанцию "Голос Америки".

В связи со слухами, распространяемыми недобитыми троцкистами (найдутся и на вас ледорубы) и наймитами капитала (полные списки уже сданы в КГБ), мы имеем заявить следующее:

а) что сотрудник советской миссии при ООН Дигтяреув никогда не переступал порога зловещего Архива;

б) что он был отозван в Москву для лечения, а не по каким-то другим причинам;

в) что прогрессивная организация "Красные черные" проявила политическую близорукость, заявляя публично, будто камрад Дигтяреув истратил в Архиве деньги, которые он вез им, "Красным черным", для революционной работы.

Журнал "Low"

В течение последнего полугода во многие юридические фирмы и адвокатские конторы начали поступать запросы от людей, интересующихся процедурой Страшного суда. Типичные вопросы:

— есть ли адвокаты, готовые уже сейчас взять на себя защиту? ведение дела?

— где можно ознакомиться с основным Сводом законов?

— так как выяснилось, что Суд будет осуществляться людьми, есть ли какие-то возможности отвода присяжных?

— будут ли возможны апелляции?

— каковы шансы на отмену приговора из-за процессуальных нарушений?

Хотя поначалу все это служило лишь темой анекдотов, напор интересующихся нарастал так заметно, что на сегодняшний день уже три крупные юридические фирмы открыли отделы консультаций по проблемам Страшного суда. Более того, один профессор юриспруденции в иезуитском колледже объявил курс "Юридические аспекты Библии", на который сразу записалось около двухсот студентов.

Журнал "Money" (Раздел "Рекорды")

К сенсационному результату пришло наше Бюро, исследующее темпы роста различных фирм и размеры прибыли на вложенный капитал. Выяснилось, что за истекший год и по тому

и по другому показателю на первое место вышла не какая-нибудь нефтяная компания, не сеть ресторанов, не компьютерный гигант, а религиозная секта "подзащитных христовых", недавно обосновавшаяся в США. Хотя эта организация не выпускает акций, не сообщает о своих финансовых делах, не публикует отчетов, оказалось нетрудным подсчитать число паломников, прошедших процедуру "сдачи дела жизни" в Архив как в самой штаб-квартире в Нью-Хэмпшире, так и во всех тридцати четырех филиалах, открытых сейчас в других штатах. От ста до ста двадцати тысяч человек пожелали заплатить по три-четыре тысячи долларов за то, чтобы дело их было представлено на Страшный суд одним из первых. Таким образом, доход Архива (с учетом всех вспомогательных служб — мотелей, ресторанов, печатных изданий) был близким к полумиллиарду долларов, а расходы не могли превысить одной трети этой суммы. Итого, за год триста процентов от вложенного капитала.

Налоговое управление сейчас начинает внимательно изучать дела Архива, изыскивая возможность отрезать свой кусок от этого пышно растущего пирога. Но так как религиозная секта приравнивается к церкви и таким образом по закону освобождается от налогов, шансы федерального правительства здесь невелики. Тем более что адвокаты, нанятые Архивом, ведут все его дела с необычайной энергией и умением. Еще бы: в качестве премии они получают возможность сдать свою кровь на хранение бесплатно.

МАРТ, ТРЕТИЙ ГОД ПОСЛЕ ОЗАРЕНИЯ, НЬЮ—ХЭМПШИР

1

— Нет, господин Кострянов, не в этом дело. Конечно, вы не обязаны писать подробную историю вашей харбинской возлюбленной. С тех пор прошло сорок лет — память не может удержать всего. Я просто хотела обратить ваше внимание на то, что в этой части рассказа очень много противоречий. Например, на странице 35 вы пишете: "От матери-француженки она унаследовала живость характера". А пятью страницами позже говорите о ее "восточных глазах", "загадочной

азиатской душе". Сообщаете, что одолжили ей деньги на открытие ресторана, но тут же упоминаете о каких-то загадочных источниках ее доходов, причем не совсем чистых. И еще через несколько страниц: "За услуги она привыкла платить щедро, кое-что иногда перепадало и мне". Есть и другие неувязки.

Старик за стеклом поднял к глазам тыльную сторону ладони, повертел перстень с камнем, усмехнулся. Нашлепка из искусственных волос на его лысине, видимо, была недавним приобретением: он то и дело двигал кожей лба, словно проверяя, прочно ли сидит.

— Вот уж не думал на старости лет попасть под такой безжалостный допрос. Даже агент налогового управления, с которым я недавно имел беседу, не был столь въедлив, как вы, прелестная невидимка.

— Слово "допрос" и несправедливо и неуместно. — Лейда старалась сдерживать раздражение, старалась, чтобы интонация оставалась гладкой и ровной, как зеркало перед глазами паломника. — Вы знаете, что на мои вопросы можно не отвечать. Но ведь вы платите Архиву именно за то, чтобы консультант задавал их. Мой долг указать вам на пробелы и несоответствия в рассказе. Если вы хотите представить харбинский период вашей жизни в столь сжатом и скомканном виде, воля ваша. Но тогда, по-моему, не следует обрывать повествование на такой интригующей фразе: "Позже с ее помощью мне удалось отомстить большевикам за гибель моих родителей". Это — для детективного романа, а не для исповеди, отправляемой на Страшный суд.

Видимо, зеркальная ровность тона дала где-то трещину — старик удивленно поднял глаза. Тревога, недоверие, затаенность, настороженность — все это ей доводилось уже видеть много раз. Но в то же время и маска самоуверенности. И саркастические складки в углах губ. И скрытое желание, чтобы их спрашивали и спрашивали еще. А они бы постепенно и как бы нехотя уступали. Мутно-голубые зрачки глядели из глазниц требовательно, как зверьки, ждущие кормежки.

— Что касается происхождения моей возлюбленной, то противоречие здесь кажущееся. Отцом ее был обрусевший черкес — отсюда и восточные глаза. Но Харбин в тридцатые годы представлял собой такую смесь племен, что национальность

там переставала что-нибудь значить. Китайцы, маньчжуры, русские белоэмигранты, японские оптовики, корейские перекупщики, не говоря уже о журналистах и шпионах всех мастей. Чтобы заниматься бизнесом в той неустойчивой атмосфере, нужно было быть очень осторожным, но в то же время и решительным; очень хорошо понимать людей, не давать им себя одурачить, но и не распугивать глухим недоверием, рисковать, предоставляя кредит, когда подворачивалось выгодное дело. Так как я занимался торговлей джутом, мои деловые связи…

Раньше Лейда останавливала паломников, если они начинали отвлекаться в сторону или повторяли уже рассказанное. Но Умберто, узнав об этом, устроил ей очередной разнос. "Люди готовы заплатить, чтобы поговорить о себе. Почему вы хотите лишить их этого удовольствия? Может быть, за десять-пятнадцать лет никто не соглашался выслушать их внимательно. Хотите сэкономить их деньги? Чтобы они побольше унесли с собой в могилу?"

Кося глазом на плывущего в воспоминаниях господина Кострянова, Лейда отключила свой микрофон, сняла трубку телефона, набрала внутренний номер.

— Хэлло?

— Джина?

— Нет. Синьорина Фанцони сейчас не может подойти к телефону.

— Но она встала?

— О, да. Она принимает ванну.

— Передайте ей, пожалуйста, что звонила миссис Ригель.

— Хорошо.

— Мне срочно нужно поговорить с ней. Попросите ее позвонить в келью номер 16.

— Конечно, миссис Ригель. Я передам.

Лицо старика за стеклом постепенно размягчалось, саркастические морщины разглаживались в подобие мечтательной улыбки.

— ...И довольно скоро я выяснил, откуда у моей подружки завелись лишние деньги. Однажды вечером поднялся в ее кабинетик над рестораном без предупреждения, толкнул дверь и что?.. Она сидела у своей конторки в наушниках и что-то быстро строчила в блокноте. Ну конечно испугалась, стала

что-то врать, запуталась... Потом все же созналась: в нескольких столиках внизу были у нее вделаны микрофоны, и кое-какие интересные разговоры (а публика к ней ходила солидная — чиновники, журналисты, банкиры) она записывала. А потом делала из записанного выжимки и продавала одному человеку. Который очень, очень неплохо платил ей. Так что и она могла позволить себе быть щедрой в свою очередь.

— Но дальше у вас идет фраза: "Кое-что перепадало и мне". Вы хотите оставить ее нерасшифрованной?

— ...Конечно, я, как мог, заверил ее, что не выдам. Что меня ей бояться нечего. Но все же разбирало любопытство: куда шли ее записи? кто платил? И она, еще больше смущаясь, созналась, что, судя по всему, ее щедрый заказчик получал деньги прямехонько из Москвы. Или там в обход — через Женеву и Буэнос-Айрес — уж не знаю, какими путями они это делают.

— Даже это вы ей простили? Работу на большевиков?

— Видите ли, дело было летом 1937 года. А к тому времени у многих из нас, из белоэмигрантов, отношение к Совдепии сильно изменилось. Ведь это потом уже открылось, сколько кавказский душегуб невинного народу извел. А тогда-то, по газетам да на поверхности, как выглядело? Что он в первую очередь режет коммунистов. Ну не молодец ли? Всех, кто революцию делал, усадьбы жег, офицеров расстреливал, в ЧК пытал, — всех, всех подряд теперь к стенке ставил. И не только своих, а и зарубежных — все эти Коминтерны, Интернационалы — скопом и поодиночке — бах! бах! бах! Конечно, было еще много краснопузых дурачков и в Европе и в Америке — всякие фейхтвангеры, шоу, андрежиды, арагоны, — которые в него верили, верили в пролетарский рай, отправлялись воевать за него в Испанию. А он и там их доставал и к стенке ставил прямо посреди войны. Да разве без его помощи мог бы Франко победить? Никогда. Потому-то краснопузым и давали кричать, никто всерьез не возражал им. Умные люди понимали, что к чему, не хотели мешать кремлевским заплечникам в святом деле. Вот один мой товарищ жил в те годы в Париже, так он мне рассказывал потом…

Замигала желтая лампочка на телефоне. Лейда поспешно отключила микрофон, взяла трубку.

— Джина? Прости, что так рано, но…

— Что-нибудь стряслось?

— Именно это я у тебя хотела спросить.

— По-моему, ничего необычного. А что?

— Меня вызывает отец Аверьян.

— Ну, и...

— За два года такого не случалось ни разу.

— Но он к тебе очень хорошо относится. Так хорошо, что попадья, кажется, ходит с поджатыми губами. Или мне показалось?

— Не в этом дело. Он никогда не вызывал меня к себе. Днем, в рабочее время.

— Лейда, что за паника? Из-за чего? Добрейший старик пригласил тебя на разговор, — что здесь страшного?

— Я не знаю, как вести себя.

— Чем я могу помочь тут?

— Ты увидишь Умберто?

— Возможно, возможно...

Джина хихикнула.

— Я имею в виду — в ближайшие два часа?

— Если он успеет отскрести всю грязь, которая оседает на нем от бешеных денег...

— Не понимаю.

— Он в ванной. Помог вымыться мне и теперь пошел заниматься собой.

— Когда выйдет, спроси его, что я должна говорить отцу Аверьяну.

— Он меня засмеет. Или побьет.

— В последний раз он очень рассердился, когда я проговорилась. Ну, про лабораторию... Что новые опыты мы так еще и не начинали. Я ужасно не хочу снова бесить его по пустякам. Пусть скажет, что мне говорить. Я все сделаю, как он хочет.

— Ну, Лейда, ты же знаешь...

—Что?

— Он любит, чтобы догадывались...

— Я ли не стараюсь! Но со старцем мне не вывернуться Я не знаю ни их отношений сейчас, ни новых планов Умберто, ни чего хотят от меня...

— Ну, хорошо...

— Джина, ты — золото.

— Я постараюсь осторожненько.

— Ты сумеешь.

— И потом позвоню тебе.

Историю про парижского друга она пропустила. Но ничего — прослушает потом, с магнитофонной ленты. Сейчас уже шла другая история: про красного генерала, командовавшего в те времена Дальним Востоком. Автомат в бухгалтерии, в который была вложена кредитная карточка господина Кострянова, тикая, выедал из нее доллар за долларом.

— ...и уж не знаю как, но один московский дружок сообщил этому генералу, что выехала специальная группа НКВД — по его душу. А генерал уже был к тому времени стреляный воробей, видел, что творилось кругом. И он, не будь дураком, взял своего адъютанта и отправились они на границу, якобы для инспекции пограничных застав. Приказали начальнику заставы убрать посты с одной дороги. Мол будет с той стороны важный шпион, которого рядовым видеть не положено. И сами тут же рванули к японцам.

Искусственные волосы были подобраны не очень точно по цвету, и остатки собственных костряновских кудрей выбивались из-под них там и тут предательской бурой порослью. У Лейды еще не случалось, но другие консультанты рассказывали, что некоторые паломники просили приложить к пробирке с кровью и образцы их волос.

— ...А это известно, что усатый головорез больше всего не любил, когда добыча ускользала из его зубов. И тут же рассылал за ней убийц. Никаких денег не жалел. Так и с этим генералом. "Заказчик" моей подружки сказал ей, что за исполнение приговора над "изменником родины" обещано сто тысяч долларов. И моя подружка спросила, не интересует ли меня это. Потому что так уж судьба подыграла, что с генеральским адъютантом мы были знакомы еще по гимназии в Киеве.

— Простите, господин Кострянов, мы должны прерваться на несколько минут. У меня кончилась пленка.

Лейда начала возиться с магнитофоном, но в это время снова замигала лампочка на телефоне. Она сняла трубку и тут же болезненно сморщилась от обиженно-возмущенного крика, рванувшегося ей в ухо.

— Ну что это, Лейда? Что вы себе позволяете? Что значат эти вопросы? "Как себя вести, что отвечать". Вы что — дитя

малое? послушная овечка — так?.. А я, следовательно, — деспот, тиран, рабовладелец? Таким вы хотите меня выставить? Зачем вам это нужно? Поссорить с отцом Аверьяном? Вы свободный человек в свободной стране. Говорите, что хотите, меня это не волнует. Если вам что-то не нравится, можете заявить открыто. Можете даже уволиться в двадцать четыре часа. Дело запущено, вся ваша ворожба — на пленках, запатентована Архивом — не пропадем и без вас. Только не надо этих сцен. Не корчите из себя подневольную узницу. Вы много раз заявляли мне, что хотите работать в Архиве на любой должности. А теперь что? Теперь не знаете, как объяснить это старцу? Почему? Потому что на самом деле считаете меня — кем? Тюремщиком? Самодуром, загубившим вашу научную карьеру? Ох, до чего вы все мне надоели! Всех, всех — к чертям! в задницу! в тартарары!

Трубка треснула, будто надорвавшись от крика и умолкла. Лейда дрожащей рукой положила ее на место, вернулась к магнитофону.

— Да, господин Кострянов, можно продолжать.

Старик молчал, расправлял платочек в кармашке элегантного пиджака, вертел свой перстень, щурился. Лейда пощелкала выключателем, проверяя, работает ли микрофон.

— Господин Кострянов?

— Ну что ж, если вы настаиваете...

— Я не настаиваю, я просто хотела подчеркнуть...

— ...но, как вы обещали вначале...

— Да, об этом не беспокойтесь: ни одно слово вашей исповеди не станет достоянием гласности.

— Я хочу, чтобы вы — или те, кому доведется слушать пленку годы спустя, — чтобы вы понимали: коммунисты были и остаются моими заклятыми врагами. Я воевал с ними в Сибири, я видел подвал, в котором расстреляли царскую семью, я видел города, деревни и усадьбы, в которых они побывали. И мне было неважно — бегут ли они от Сталина, продолжают ли служить ему. Одна порода, одна банда, один приговор для всех. Именно поэтому я согласился.

Старик глубоко вздохнул, стянул морщины в пучки, заговорил быстро и горячо.

— Но все оказалось гораздо труднее, чем я думал. Городок, куда японцы привезли красных перебежчиков, жил под комендантским часом, со всеми пропусками и проверками и облавами. Так что попасть туда — уже на это ушло больше месяца. Генерала они вообще не выпускали из штабного здания, а адъютанту позволяли ходить через улицу обедать. В той китайской пельменной я с ним и встретился. Он меня сразу узнал. Хотя не виделись больше двадцати лет. И обрадовался, дурачок, как брату родному. Он уже понимал к тому времени, что положение их безнадежное. Что японцы выжмут из них все, что нужно, а потом засунут гнить в какую-нибудь дыру. Или даже прикончат втихую. А я изображал из себя заядлого коммерсанта, которому дела нет до политики. Хотите войти в мое дело? Очень хорошо. Бежать в Америку? И об этом можно договориться.

У меня к тому времени действительно все было готово для переезда. Деньги отправлены в один банк в Филадельфии, связи налажены. Японцы в Маньчжурии к тому времени так зажали гайки, что не вздохнуть. И война уже разгоралась во всю. Китайцы отступали — где им было против японцев. Но пробраться в Шанхай еще можно было. А оттуда пароходы ходили. Адъютант все уговаривал, чтобы мы тут же рванули. Я, кстати, в пельменную приезжал под видом поставщика. В маленьком автофургончике привозил молоко, яйца, муку. Японские часовые ко мне привыкли, так что улизнуть было вполне реально. Но я ему так представлял, что без генерала нам на юг не пробраться. Что китайцы нас, мелких сошек, прирежут ни за понюх табаку. А вместе с генералом — сами американцам доставят. Чан Кай-ши перед Америкой тогда сильно заискивал, оружия просил и все такое. И адъютант в конце концов поверил и генерала своего уговорил.

Она видела, что старик начал сильно потеть, но не решилась прервать его, объяснить, где регулятор кондиционера. Платочек давно уже был извлечен из кармана пиджака, то и дело скользил по лбу, щекам, шее, быстро намокал, превращаясь в бесформенный комок.

— В назначенный день погода была как по заказу — дождь, ветер, на улице за десять шагов ничего не видно. Но адъютант мой явился перепуганный и — один. Сказал, что генерала японцы куда-то срочно увезли. Может, и врал. Потом еще что-то говорил, довольно долго, а я только смотрел на него. Злоба меня душила. "Вот, думал, ты рос в приличной семье, в церкви молился, дамам ручки целовал, латынь учил,

Толстого читал. Как же это все так повернулось, что ты пошел им служить? И как надо было служить, в какой крови и грязи искупаться, чтобы до такого поста подняться?" Посадил его в свой фургончик, и только мы выехали из города, там за мостом такой лесок подступал к дороге и река сильно шумела, я это место заранее наметил...

Старик вдруг навел зрачки в упор на зеркало перед собой и закричал:

— Ну что?! Господа присяжные хотят знать, как я это сделал? Пистолетом или ножом? Тем и другим? Что было сказано, какие последние просьбы, какие мольбы и клятвы? Нужны подробности, да?

Он так побледнел, что Лейда потянулась к телефону — позвать санитара. Но старик тут же обмяк, успокоился и сказал тихо и внятно:

— Одно я помню отчетливо: когда он лежал там на обочине под дождем, с двумя красными расплывами на рубашке, на лице его было такое облегчение, такое... Он снова стал похож на киевского гимназиста, которого я помнил. Это я говорю не для самооправдания, а для полноты отчета. Будут еще вопросы?

Лейда заколебалась.

Опять же, на ваше усмотрение... Отвечать совершенно не обязательно, но... Вы взяли те деньги?

— Да, взял. Иначе мне было бы не выбраться из Китая. Конечно, сумма оказалась гораздо меньше, чем было обещано за генерала, но все же... Мне говорили, что вождь народов был очень доволен. Потом, уже в Америке, они нашли меня и пытались подбить еще раз. Натравить на самого большого, который прятался в Мексике. Но я отказался наотрез. В душе как-то все выгорело. Не было прежней ненависти. Да и коммерция отнимала все силы. Начинать-то пришлось чуть не с нуля.

Клей, видимо, не был рассчитан на такие ручьи пота — нашлепка волос отделилась от черепа, начала сползать на глаза, и господин Кострянов, безуспешно поборовшись с нею, снял совсем и досадливо спрятал в карман. Мелкие клеточки, отпечатавшиеся на лысине, делали ее похожей на вафлю.

2

Здание Ай-Си-Ди, доставшееся Фонду, так удачно подходило для всех нужд Архива, что его почти не пришлось перестраивать снаружи. С фасада оно было похоже на перевернутую букву "Т", и в двенадцати этажах задранной вверх "ножки" разместились без труда не только кольцевые кабины вокруг главного зала, но и все вспомогательные отделы: канцелярии, редакции, приборные лаборатории, бухгалтерия, контрольные службы холодильных установок, охрана и прочее. При взгляде же сверху, с патрульного вертолета (пилот-охранник однажды пригласил Лейду на прогулку) здание выглядело лежащей на земле массивной буквой "Н", причем вторая, нефасадная, сторона буквы была так густо укрыта деревьями сада, что для паломников и всех прочих посетителей она оставалась почти невидимой. В одной половине этого "садового" крыла поселились брат и сестра Фанцони, в другой — отец Аверьян с супругой. Просторный вестибюль, разделявший обе половины, был оставлен только для работников Архива.

Идя по застекленному коридору "перекладины", кивая знакомым лаборанткам, возвращавшимся с ланча, проходя мимо охранника наружу и дальше, вдоль решетки сада, до паркинга, Лейда старалась думать только о том, в какой из ресторанчиков поехать сегодня, или о просроченных счетах за телефон, или о том, какого цвета колготки понадобятся ей к задуманному платью. Но, сев в машину, поняла, что есть не хочется, что задуманное платье — бездарно, что ехать куда-нибудь — слишком поздно, а сидеть в машине — холодно, и по заледеневшему асфальту поплелась обратно.

Поднялась в кафетерий, выпила кофе из автомата.

Помахала издали Сильване. Та сидела у окна, переговаривалась с кем-то за соседним столиком, будто не замечая ни Джерри Ньюдрайва, ни его преданных глаз, ни рук, которым он временами давал слишком много воли.

На лифте спустилась в первый подвальный этаж.

Показала охраннику свою карточку.

Он собрался было по привычке впустить ее в правую дверь, к Фанцони, но, сверившись со своими записями, заметил ошибку и отпер левую.

Здесь Лейда еще не бывала.

Похоже, что из всех защитных ухищрений, вводившихся Джиной, отец Аверьян согласился только на решетки на окнах. Ни бассейна, ни телекамер. Первые две комнаты были превращены в библиотеку, полки поднимались до потолка, и лесенка на колесах, видимо, не стояла без дела — деревянные ступени ее были вытерты до вмятин.

Дальше шла приемная. Монах-американец оторвался от пишущей машинки, улыбнулся ей, показал на часы, потом — на кресло. Как она ни оттягивала, а все же явилась раньше времени. Скрытое нетерпение? Тревога не проходила. Да и история господина Кострянова разбередила душу. Много ей довелось уже слышать за два года, но признание в убийстве выпадало все же не каждый день. И надо же, чтобы все пришлось именно на сегодня. Одно к одному...

Набухшие почки кустов беззвучно мотались за окном, протыкали мартовский воздух то там, то тут, словно пробуя — готово ли? пора ли? Из-за дверей, ведших в жилые комнаты, сквозь стрекотание машинки приглушенно доносились какие-то странные, ритмично хлопающие звуки. Но американец не обращал на них внимания, и она решила — показалось.

Прошло еще минут пятнадцать, прежде чем ее пригласили в кабинет.

Отец Аверьян не встал ей навстречу, но улыбался при этом так сердечно, что тягостное предчувствие, давившее ее с утра, чуть поослабло. Он заметно пополнел за эти два года. Венчику седины вокруг розовой лысины было позволено отрасти, разлечься по черному шелку рясы на плечах. Старинный медный крест поймал луч из-за окна, полоснул по глазам солнечной вспышкой.

— Наконец-то мы сможем поговорить без помех. Кажется, первый раз. Ведь до сегодняшнего дня — все только на совещаниях, да на коктейлях этих.

— И еще — на дне рождения у Джины.

— Ну, то не в счет, то не в счет. Музыка кругом, шум. Я так не могу. Вообще весь переезд нелегко мне дался. Новая страна, новый язык, новые книги, новое жилье. И до всего жадность, все хочется попробовать, а силы уже не те. Даже на оранжерею времени почти не остается. Тем более что теперь это — только игрушка. Вот чего никогда не прощу синьору Фанцони: что он отнял у меня необходимость в поте лица

зарабатывать хлеб свой. А как вы? Успеваете что-нибудь, помимо работы? Наверно, и семья много времени отнимает?

— Теперь уже нет. Мама так здесь скучала, что я согласилась на ее переезд в Бостон. Там у нее теперь своя компания русских дам — с чаепитиями и преферансом. Дочь с этого года тоже не со мной, учится в школе-пансионе. Я совсем одна.

— Что-нибудь от сына?

— Открытка раз в два-три месяца. Но жаловаться не приходится. Переписка советского солдата с Америкой — сами понимаете, могли бы и это запретить.

— Мы тоже от дочери ничего не имеем. Ирина, когда было последнее письмо от Эммы?

Вошедшая попадья кивнула Лейде, прошла в угол, поставила в портативный холодильник банку с какой-то мазью, спустила закатанные рукава и только после этого стала считать, загибая пальцы.

— Декабрь, январь, февраль... Вот уже четвертый месяц пошел.

— Причем мы даже не знаем, где она разъезжает со своей съемочной группой. Эти документальные киношники — они ведь нынче кочуют, как цыгане.

— У вас всегда остается простое средство повидаться с ней: послать заказ на фильм об Архиве. Мигом примчатся.

— Вы шутите. Синьор Фанцони никогда не согласится. Он и простого фоторепортера на пушечный выстрел не подпустит.

— Даже если вы попросите?

— Со мной он очень считается, это верно. Но вы, наверно, заметили: я изо всех сил стараюсь не злоупотреблять, не вмешиваться в административные вопросы. И мне так легче, и ему не обидно. Тем более что у него огромный опыт в делах, а у меня — почти ничего. То, что я позволил себе сегодня, — самое серьезное нарушение нашей дружеской демаркационной линии. Но уж очень мне стало тревожно за вас.

— За меня?

Лейда вдруг заметила, что отец Аверьян сидит в кресле как-то неестественно прямо, словно стараясь не касаться спинки. Эта напряженная поза делала его похожим на судью, собравшегося объявить приговор, но все остальное — тон, улыбка, взгляд — оставалось исполненным искренней при-

ветливости, участия.

— Видите ли, по первому году, когда все здесь только налаживалось, вас, конечно, дергали с утра до вечера. И морозильные камеры были на вас, и контрольные всякие приборы, и заклинания вы должны были дорабатывать, записи готовить, на крови испытывать... Ирина вот тоже последние месяцы достраивала "Дом покаяния" — так я ее иногда днями не видел. Но теперь-то, когда Архив налажен, создан, живет... Я думал, что вы вернетесь к исследованиям, развернете работу всерьез. Вы же как будто и забыли о них. Работаете простым консультантом, о науке не заговариваете...

— Сейчас трудно найти мне замену. Я ведь одна беру на себя три языка: русский, эстонский, финский.

— Стоит дать объявление, что Архиву нужны консультанты со знанием этих языков, и нас засыпят заявлениями.

— И мне нравится работа. Так много нового узнаешь про людей.

— Дело даже не в работе. Вы будто стараетесь укрыться в раковину и закрыть створки. Стараетесь остаться на вторых, на третьих ролях. Вас приглашают на заседания Правления — вы не приходите. Просят выступить с докладом для гематологов — ссылаетесь на неподготовленность. Ни во что не вмешиваться, ничем серьезным не интересоваться, не встречаться с людьми. Уж не обет ли какой вы на себя наложили? И это не только мое впечатление. Что с вами происходит?

— Может, то же, что и с вами: трудности адаптации в новой жизни, культурный шок. Вообще же, если дирекция прикажет мне продолжать исследования, я готова вернуться к ним.

— Но сами-то вы — хотели бы? Я могу поговорить с синьором Фанцони. Но он намекал мне, что вы сами не проявляете большого рвения. Это верно?

— Немного страшновато, конечно. Архив сейчас развивается так успешно. А вдруг мы получим отрицательные результаты? Слухи наверняка просочатся. Они могут сильно повредить всему делу.

— Это ваши собственные опасения? Или синьора Фанцони?

— Но я ведь тоже болею за успех Архива.

— Прежде всего мы должны болеть за успех правды.

Отец Аверьян откинулся было в кресле, но тут же сморщился и снова сел прямо.

— А правда состоит в том, что вы безусловно совершили важное открытие. И безусловно научились вступать в общение с трансцендентами. Так что не надо ничего бояться. Открытие ваше следует расширять, углублять, обучать других, создавать специальную группу, что-то вроде научной кафедры, как в университетах...

— Вот уж с этим синьор Умберто вряд ли согласится. Он старается, чтобы даже имя мое не стало известно посторонним.

— Я знаю, знаю. Соображения безопасности, риск для вас. Могут похитить, попытаться использовать для других целей или создадут другой архив. Все это мне понятно. Он вложил в Архив огромные деньги. Он вправе рассчитывать вернуть их с прибылью. Но не было еще в истории случая, чтобы кто-то смог завладеть важным открытием навечно. Рано или поздно им начнут пользоваться и другие.

— Он ведь боится не только конкуренции, не только финансовых потерь. Может начаться такой разгул шарлатанства и всякого жульничества, что вся идея будет мгновенно дискредитирована.

— Именно поэтому мы должны спешить с научными проверками. Чтобы иметь в руках факты, эксперименты, доказательства.

— А если все результаты будут отрицательными? — тихо спросила Лейда.

Отец Аверьян насупился, переглянулся с женой.

— Меня это не обескуражит. Ошибка в направлении — только и всего. Главное звено останется неуязвимым: мы должны рыть толщу времени навстречу воскрешающим нас. Ошибаться, искать, исправлять ошибки, но ни в коем случае не терять веру. Впрочем, насколько я понимаю, вам-то предстоит сперва гораздо более трудное. Обрести ее.

Лейда промолчала.

— Вопрос в том, хотите ли вы этого?

— Не знаю. Иногда очень. Иногда, мне кажется, я очень близка. Иногда чувствую необъяснимый страх.

— Вы никогда не бываете на моих проповедях.

— Но я читала многие потом в нашем журнале. И я искренне восхищаюсь и завидую вашей вере.

— И вы чуть ли не единственная из служащих Архива, кто

не воспользовался предоставляемой льготой: бесплатно сдать каплю крови и дело жизни на хранение.

— Я еще не готова к этому. Мне кажется, раньше должна прийти вера.

— Один мой знакомый священник проповедовал однажды перед пригласившими его учеными. Он уговаривал их креститься. Они говорили, что не понимают, как можно принять обряд крещения, не веря в Бога. Ведь это будет лицемерие. Он пытался объяснить, что вера есть чудо и благодать, а крещение — таинство, которое и призвано помочь снисканию благодати. Они все не понимали. Тогда он привел сравнение — весьма кощунственное, но оказавшееся понятным им. "Божество — как женщина, — сказал он им. — Оно застенчиво. Оно ждет, чтобы вы сделали первый шаг".

— Да, я понимаю. Но что-то во мне еще не созрело для этого.

Попадья Ирина взяла кувшин, долила воды в стоявшие на окне цветы.

— Вчера я видела одну семью. Они привезли с собой девочку двенадцати лет больную лейкемией. Как вы думаете, ее кровь сможет сохраниться?

— О, тут понадобятся специальные исследования. И боюсь, очень длительные.

— Родители не знают, что такие исследования еще не проводились. Но я видела лица всех троих, когда они шли от Архива к стоянке машин. Они были счастливы. Смеялись. Они верили, что встретятся друг с другом после воскресения. Что просто девочка отправится в долгое путешествие раньше них.

— Есть тысячи семей с такими же трагедиями, которые не смогут выложить десять тысяч за это путешествие.

— Любое лекарство поначалу стоит очень дорого. Я говорю не об этом, а о надежде. Пусть вы не верите в обещанное чудо воскресения, но в надежду-то вы верите? В ту, которая уже сегодня? Которую мы видим в тысячах горящих глаз? Которую мы дарим сотням тысяч людей?

— А проснувшийся страх Божий? — сказал отец Аверьян. — Этот трепет, с которым люди начинают перечитывать свою жизнь, смотреть на свои поступки? А эта жажда искупить, заслужить? "Дом покаяния" еще не открылся, но очередь в него уже, — на сколько, Ирина?

— На три месяца вперед.

— Неужели вас не захватывает эта волна, этот поток, это возрождение веры?

— Захватывает. Очень, Может, поэтому я и сопротивляюсь. По привычке всей жизни пытаюсь плыть поперек.

Все трое замолчали ненадолго. Слабое стрекотание машинки выплыло из-за дверей, заполнило тишину. Мыслители и святые испытующе и недружелюбно глядели с портретов.

— Мы не хотим вас торопить, не хотим толкать на что-то против вашей воли, — сказал отец Аверьян. — Мне только хотелось, чтобы вы знали: как только почувствуете себя готовой продолжать исследования, можете сразу прийти ко мне. Вместе мы убедим синьора Фанцони, добьемся его согласия, выделения денег, сотрудников, помещения для лаборатории. И с любым другим — тоже приходите. Как никак мы ведь тут — единственные соплеменники.

Тон его был мягким и приветливым, но лицо — Лейда, выходя, заметила это — было гневно насупленным и красным сильнее обычного.

Секретарь, улыбаясь, протянул ей телефонную трубку.

— Лейда? — голос Умберто звучал виновато, чуть ли не заискивающе. — Ну что?

— Все нормально. Мы просто поговорили о жизни, о работе... о вере...

— Не знаю, что на меня нашло утром. Эта истерика, которую я вам закатил... Такая мерзость... Ни с того, ни с сего... Кричал и сам себе был противен...

— Я тоже, наверно, не должна была приставать с пустяками... Тоже нервы сдают...

— Знаете, иногда мне начинает казаться, что все эти тонны людских грехов и мерзостей, и покаяний, и горечи, которые накапливаются у нас в подвалах, начинают испускать какие-то вредоносные пары... Что все мы дышим этими парами и безнадежно отравляем себя.

— Да-да, я понимаю... Что-то с нами происходит — это несомненно...

— Но вы понимаете также, — голос его стал почти нежным, — что, чем я противнее себе сейчас, чем виноватее перед вами, тем больней мне захочется сделать вам в следующий раз?

ИЮНЬ, ТРЕТИЙ ГОД ПОСЛЕ ОЗАРЕНИЯ, КЕМЬ

1

Цепи натянулись, лебедка крана надсадно заревела. Пушечный ствол со всхлипом вырвался из своего гнезда, поплыл вверх, сверкая некрашенными частями, повис под потолком ангара. Илья забрался на лафет, отер тавот, выискал нужную гайку, приладил к ней разводной ключ. Металл еще был налит густым ночным холодом, пальцы быстро немели. Напарник, матерясь, отвинчивал с другой стороны. Вдвоем они извлекли поврежденный накатник, переложили на тележку, отвезли к открытым воротам, поставили в середине солнечного ромба.

Капитан еще не появлялся с утра — можно было покурить и погреться.

Напарник, Коля Чешихин, постучал себя по карману гимнастерки черным пальцем.

— Матка письмо прислала. Пишет, плохая мода пришла в деревню. Опять топорами рубиться стали.

— Как это?

— Такое уже бывало раз. Перед самой войной. Наверно, и сейчас к войне.

— Да из-за чего рубятся-то?

— Так просто. И все между собой. Сначала Сеня Рваный на жену осерчал: вытащил во двор, головой на колоду положил и хлоп! — косу ей оттяпал. А потом братья Кошкины промеж себя поругались, и младший старшего уже всерьез - руку перерубил. Суд был, закатали его беднягу. Думали, испужается народ, перестанет. Ан нет. Через неделю еще одного в лесу нашли насмерть зарубленным. И кто — неизвестно.

— Твои-то живы пока?

— То-то и оно, что не совсем. Дядька пришел домой пьяный, стал бузить, а тетка Груня, по моде этой проклятой, — хвать за топор. Ну дядька перепугался — бух ей в ноги, и голову руками закрыл. А ей смешно стало. Она топор поставила незаметно, взяла валенок и тюк! — его по шее. Так что ты думаешь? Дядька от испуга речь потерял. Онемел совсем. Третий месяц уже слова выговорить не может. Ты не скалься, не скалься — какой тут смех.

Но Илья ничего не мог с собой поделать. История была в его вкусе. Ибо чем хуже и бессмысленнее люди терзали друг друга, тем больше теперь это казалось ему похожим на правду. Может, за всю свою доармейскую жизнь он не слышал и десятой доли того, что довелось ему услышать за два последних года. С какой-то злорадной готовностью он сдирал книжно-киношную пелену, залеплявшую раньше его сознание, и заслушивался рассказами про то, что люди делали друг с другом на самом деле.

Конечно, в солдатских байках много было и привирания, которое еще разгоралось на благодарного слушателя. Но много было и такого бессмысленно-дикого, что он чутьем ощущал: такое не придумаешь. Поэтому когда на экране телевизора в красном уголке очередной герой кидался в ледяную воду или в огонь спасать очередного ребенка, он скучал и уходил. А когда рассказывали про врача в местной психушке, который, по первой жалобе, клал солдата в больницу, а потом своими лекарствами доводил до того, что тот на коленях обратно в строй просился, — слушал с увлечением. Или вот совсем недавно в соседнем пехотном полку солдат-чеченец выкрал из караулки автомат, погнался за офицером-грузином, который его обидел, но тот уже куда-то уехал; так солдат ворвался в первую попавшуюся палатку и перестрелял всех, кто там был, без разбору — русских, молдаван, украинцев, литовцев. Или вот еще...

Э-э, да что там — истории. С ним самим что проделывали — с очкариком, с полуевреем, который двух матерных слов вместе связать не умел в первый год службы. Бесконечные наряды вне очереди по чистке гальюнов. Строевая муштра на потеху взводу: "Рядовой Ригель, бегом! ползком! передом! задом! — марш!" Ненасытные печи в казармах, которые ему надо было топить с четырех часов ночи, и мерзлые поленья в вязанках, раздирающие спину даже сквозь ватник. Канцелярские кнопки, насыпанные в сапог, кусок кала, спрятанный в мыльницу, похабное слово, написанное на лбу во время сна, белье, облитое керосином... Шутки про Абрама и Сару шли до тех пор, пока Илья не полоснул одного шутника газовой горелкой по животу. Чуть не загремел тогда в штрафбат, но как-то начальство решило замять, выдать за несчастный случай на производстве.

— А твои чего пишут? — спросил Коля.

— Мои, знаешь ли, далеко. Пока письмо сочинят, пока марку наклеят, пока до ящика донесут, — тут и служба кончится.

Говорить про родню загадками — ничего лучше Илья так и не смог придумать. Переписка его была ограничена одним письмом в два месяца, которое он должен был адресовать на имя некоего лейтенанта Мышеедова в Москве. Но в первые полгода он даже этим куцым правом не воспользовался ни разу. Каждый раз, как он брался за письмо к матери, перед глазами всплывал глухой, без окон, кабинетик в Берлинском аэропорту, портреты пролетарских вождей на стенах и два вежливых чиновника, которым он с усмешкой объяснял, что нет, никаких документов он не подделывал, это недоразумение, ошибка, ему действительно еще нет восемнадцати, если кто и изменил дату рождения, так только сам ОВИР, можете справиться у них, а ему нет никакой нужды возвращаться для выяснения обратно, нет, он не может им поверить, просто потому что это вздор и нелепица, а уж самый нелепый и невозможный вздор это то, что фрау Ригель, его мама, могла улететь без него. Он не верил в это, даже когда его запихнули в московский самолет, и когда по возвращении сидел несколько дней на гаупвахте, и когда тянулась вся процедура его зачисления в армию, и затем — долгий переезд на Север, в толпе бритоголовых неразличимых призывников. Только когда ему переслали открытку от нее с панорамой Рима — тогда поверил. И только тогда отчаяние захлестнуло его с головой.

Докурив, они разобрали нагревшийся на солнце накатник, отложили на бетонный пол треснувшие детали, подтянули кабели. Сквозь черное стекло сварочной маски электрическая дуга была похожа на крохотный смерч, ползущий по склону внутри светящегося облака из пара и пыли. Запах выгорающего мазута быстро слизывало залетающим с моря ветерком. До моря отсюда было рукой подать.

Перевод в мастерские считался у солдат большой удачей. Здесь и кормили получше, и муштрой не изводили, и даже давали подзаработать, и спирт перепадал довольно часто, а если не было спирта, ловкачи ухитрялись захмелеть на тормозной жидкости. Может быть, Илье и самому удалось бы добиться этого перевода — у него и десятилетка была почти закончена, и с механикой он был в ладу, на батарее всякую мелочь чинил охотно и умело. Но не исключено, что и тут сказалось то особое внимание начальства к нему, которое он порой — с неловкостью и неудобством — подмечал. Не то чтобы ему часто делались поблажки или предоставлялись какие-то льготы. Скорее наоборот. Но ни отправить его в командировку, ни выписать увольнительную в город, ни даже выдать чистую тетрадь для занятий командир батареи не решался, не позвонив сначала в штаб полка. И конечно, этот особый порядок с перепиской — он давил только на него.

Несколько раз Илья пытался писать старым школьным друзьям в Таллин, отцу в Ленинград и незаметно опускать в почтовый ящик в городе. Но ответа ни от кого так и не получил. Пытался звонить с городской почты — "номер не отвечает" говорили ему всегда. Где-то, как-то, чья-то невидимая рука пережимала все тонкие проводки, связывавшие его с прежней жизнью. Месяца два назад демобилизовался его приятель — ленинградец, — и он дал ему телефон Виктории, просил позвонить и потом все ждал вести. Но так и не дождался — запретил себе думать об этом.

Два истребителя вылетели из-за отрога горы, низко прошли над морем, исчезли, и только после этого приплыл рев их моторов и стрекот пулеметов. В короткие летние месяцы маневры шли почти непрерывно. По ночам было трудно заснуть — пол в казарме вздрагивал от дальних и ближних разрывов, стекла дребезжали. Одеяло, натянутое на голову, не спасало ни от грохота, ни от белесого света, лившегося с северного неба во все окна.

Солдат, работавших в мастерских, редко посылали на учения. Но за два первых года Илья и насмотрелся на эту игрушечную войну, и наслушался ее грохота вблизи, и настрелялся. Хотя так и не научился подавлять странное волнение, которое вызывало в нем прикосновение к оружию. Приклад автомата, пистолетная обойма, рукоятка гранаты, пушечный снаряд так тяжело и властно ложились в ладонь, словно вливали через нее слепую и безжалостную силу, заключенную в них. И сила эта незаметно начинала пьянить, заполнять грудь, напрочь вытесняя повседневные тревоги, тоску одиночества, горечь разочарования, а главное — жалость к себе и к другим.

В дни артиллерийских стрельб их обычно привозили на батарею часа за два, чтобы все расчеты могли отрепетировать еще и еще раз. Чем напряженнее и дольше ждали сигнала "тревоги", тем неожиданней он вонзался в нервы. Подчиняясь замаскированному, зарытому на высотке радару, все шесть пушечных стволов дружно начинали подниматься, поворачиваться навстречу невидимой угрозе, заряжающие с лязгом кидали снаряды в лотки, автоматическая железная рука высовывалась на мгновение, хватала нос снаряда, взводила взрыватель на нужное число секунд полета, после чего снаряд исчезал в стволе и залп ударял по перепонкам сквозь забитую в уши вату. Потом высоко в небе вспыхивали комочки разрывов, висели там, притворяясь игрушечными облачками, оставляя невидимой тучу летевших на сотни метров осколков, а новая шестерка снарядов уже шла вслед, чтобы изрешетить рваным металлом следующий кусок прозрачной голубизны. И хотя обстреливаемые самолеты летели с другой стороны незримой зеркальной плоскости, возведенной в небе радаром, хотя снаряды настигали только их изображение на мерцающем зеленом экране и хотя сами их пушки считались уже устаревшими, несравнимыми с батареями зенитных ракет, стоявших в соседней лощине, ощущение безжалостной серьезности происходившего сквозь дым и грохот так полно захватывало душу, что собственная жизнь начинала казаться смехотворно ничтожной, не стоящей всех защитных и сберегательных хлопот.

Вспоминая потом эти минуты, Илья снова и снова думал, что и следующая война, как, наверно, и все предыдущие, начнется, скорее всего, не из-за куска спорной земли, не из-за козней политиков и заправил мира, а просто из-за того, что в какой-то очередной стране отвращение людей к собственной жизни станет таким нестерпимо сильным, что перехлестнет стены страха за себя и начнет закипать пьянящей пеной в душе, облегчающей жаждой разрушения. А кому своей жизни не жалко, — разве смогут они пожалеть чужую?

Себя-то он давно уже ощущал вполне дозревшим до этого, готовым.

2

Они так споро и аккуратно закончили ремонт накатника в тот день, что довольный капитан расщедрился — выписал

увольнительные на все воскресенье.

Город Кемь стоял на опилках. Каждое весеннее половодье наносило с окрестных лесопильных заводов новые тонны древесной трухи, и вся она оседала слоями, уплотнялась, тихо подгнивала, зыбко пружинила под ногой. Дощатые пешеходные мостики тянулись вдоль всех улиц, возвышаясь на метр-полтора над землей, и многие предпочитали ходить по ним, даже когда вода спадала.

Почта, вокзал, клуб, порт — вырваться из этого круга было некуда. (Разве что — клуб, вокзал, порт, почта.) Сегодня их привезли слишком рано, до скорого поезда Ленинград—Мурманск оставалось часа два, до начала киносеансов в клубе — все четыре. Илья отправился в порт.

Еще от ворот он увидел, что норвежский лесовоз уже ушел. В прошлое воскресенье он стоял в отдалении, у южной части пирса, ослепительно чистый, сине-желтый, возвышающийся над прочими судами, и краны опускали в него связки бревен так бережно, словно боялись задеть край трюма, запачкать. А потом случилось маленькое чудо: по трапу на причал спустились двое. Мужчина и женщина. У него на белом кителе и на фуражке мелькала форменная позолота. Она была в белом жакете и в белых брюках. Когда Илья увидел, что это ослепительное видение собралось выйти в город, ему захотелось крикнуть, что нельзя. Что там грузовики проносятся по улицам, разбрызгивая лужи до окон домов. Что пьяные рыщут по всему городу, обнимают, рыгают в лицо, целуют, бьют, заставляют пить одеколон, петь песни из кинофильмов, плакать с ними, танцевать, смеяться, драться. Что из каждого окна глядят почерневшие от времени старухи и ненавидящим оком высматривают того, кто поломал их судьбу. Что выжить в этих дощатых джунглях можно, только слившись с ними, впитав их кисловатый запах, окрасившись в их серо-бурые краски, надев на лицо маску непреходящей похмельной тоски.

Но нет, все обошлось. Двое вернулись через час — ничуть не изумленные увиденным, такие же спокойные, мирно беседующие, без единого пятнышка. И вот теперь уплыли обратно к себе, в тот неведомый мир, где сине-желтые корабли и красно-серебряные самолеты и всех-всех цветов автомобили развозят улыбающихся людей по их необременительным делам. Мчат их по горному, осенне-желтому шоссе, как на последней маминой открытке, переправленной ему мос-

ковским лейтенантом. В тот мир, к которому он, Илья, в какой-то момент был так нестерпимо близко. В мир, презрительное равнодушие которого, казалось, можно было пробить, лишь послав на него ракеты, снаряды, пули, гранаты, какие случились бы под рукой.

Вместо норвежского лесовоза сегодня было другое. Два моряка с рыболовного сейнера искали свой корабль. Они начали поиск основательно, издалека, обходя по нескольку раз каждую цистерну с мазутом, исследуя все проходы между штабелями досок, заглядывая под автокары и грузовые прицепы. Одному наконец посчастливилось выйти к краю причала, и он, гордый и счастливый, принялся звать товарища, показывая на плескавшуюся внизу черную зыбь и нависая над ней под головокружительными углами. Снова обнявшись, друзья двинулись вдоль бетонной кромки, мимо выстроенных в ряд корабельных форштевней. Если в какое-то мгновение причудливый ритм их раскачки совпадал, они дружно валились в сторону, вперед, назад, но ни разу — в воду. Илья с любопытством ждал, что же случится, когда они начнут подниматься по трапу. Несколько раз казалось, что вот, все уже: физические законы тяжести, равновесия должны взять свое и сбросить их в черно-мазутные объятия закона Архимеда. Тем не менее, они все же благополучно добрались и поползли по пружинящим доскам к бортовым поручням. Вахтенный с красной повязкой на рукаве поджидал их наверху. Сочувственный интерес на его лице мешался с гордостью человека, который знает больше других. Он дал приятелям ступить на палубу и лишь там тычками и словами объяснил, что они попали на чужой корабль. Обратный путь по трапу бедолаги проделали на четвереньках, но, достигнув земли, снова поднялись и побрели искать дальше.

Резкий вспарывающий звук раздался слева. Илья перегнулся и увидел, что груда тюков в густой тени между стеной склада и штабелем досок, на которых он сидел, начала оживать. Вихрастый парень раздернул до конца молнию спальника, выпростался наружу. Достал из-под изголовья синие кеды, кое-как натянул их, притопнул, повесил на шею полотенце, побрел к торчащему неподалеку крану.

Зашевелились и другие тюки. Из одного показались сразу две женских головы — большая и маленькая. Маленькая

принадлежала девчонке лет десяти. Она выползла первой, перелезла через мать, через рюкзак со складной байдаркой, застучала кулачком в следующий мешок:

— Эй-эй, кто тут на гитаре разлегся? Тетя Вика, ты? Папа никому не позволяет на гитаре спать.

Тетя Вика села, кутаясь в одеяло, повела сонным взглядом, попыталась стереть со щеки отпечаток пуговицы. Нашарила сумку, извлекла расческу, начала приглаживать волосы. Вдруг застыла, уставясь на Илью, затрясла головой.

— Нет, — сказала она. — Так нечестно.

Илья отер о штаны вмиг вспотевшие ладони, передвинулся поближе к краю штабеля. Глаза и память, ошалев от неожиданности, еще не справлялись с узнаванием, но звук ее голоса прорывался мимо них напрямки, гнал жаркую волну по груди, шее, рукам.

— Зачем? Ты все испортил. Это я должна была тебя найти. Найти и изумить.

Илья, непрерывно сглатывая пересохшим горлом и безудержно улыбаясь, сползал с досок сапогами вперед.

— Ни умыться, ни губы подрисовать, ни глаза подвести.

Она выползла из спальника и стояла, поддергивая джинсы, заправляя в них выбившийся подол ковбойки. Остальная компания тоже постепенно вылуплялась из мешков, глазела на них, стряхивала сонливость.

Илья приветливо кивал направо и налево.

Потом снял очки и начал протирать их пилоткой.

И словно воспользовавшись этой его минутной слепотой, пытаясь наверстать отнятое у нее удовольствие заготовленного эффекта-сюрприза, Виктория прыгнула ему на шею, повисла, стала целовать, тереться щекой, тянуть за волосы, стискивать шею.

3

— ...Да нет же, я вчера еще приехала... Сама по себе... К компании этой только в поезде пристала... Они на Соловки едут, будут катер ловить или буксир… У интеллигенции теперь Соловки стали, как раньше Крым… Если не побывал там, с тобой и разговаривать не о чем... А я решила: переночую с ними, а наутро пойду искать... У солдатиков бы порасспрашивала, у клуба пошаталась бы, у пивной… Как-нибудь нашла

бы... Но чтобы вот так, в первую же минуту!.. Как судьба играет иногда, такие штучки подстраивает...

Они шли по деревянным мосткам, стараясь не провалиться в щели. Илья взял у Виктории тяжелую сумку, перекинул через плечо. В некоторых местах оставалась только одна целая доска, Илья пропускал Викторию вперед и за ее спиной незаметно наклонялся к ней, воровато втягивал ноздрями волшебный запах. Силуэт трусиков проступал сквозь тугие джинсы. Старухи смотрели на них из окон с такой злобной радостью, словно погубитель жизни был наконец-то найден.

— ...И мы же не знали ничего про тебя, не знали, что тебя вернули... Как я тебя ненавидела первый год! Вот, думала, хорош братишка: ни открытки, ни весточки... Удрал за границу и все... Отец-то твой, по-моему, даже рад был, что от вас ничего не слышно. Сейчас заграничные связи очень не одобряют, с работы запросто можно слететь. И когда этой весной одно письмишко от Лейды Игнатьевны все же прорвалось, ох, он перепугался! ох, за спички сразу схватился! Я едва успела...

— Было письмо от мамы? когда?!

— Да я же говорю: этой весной. Видимо, какой-то иностранец, ее знакомый, приезжал, потому что брошено было прямо в почтовый ящик, без марки. Я его едва успела вырвать и прочесть — так отец рвался сжечь поскорее. Из письма-то мы и поняли, что с тобой случилось. Зачем же ты возраст подделал, а? Потом-то я тебя жалела, плакала даже, когда представляла все, каково это тебе было, такой дубиной по голове. Но в первый момент — не сердись — только прыгала от радости. Что, значит, живой! И не обязательно — забыл, забросил! И что еще, может, увидимся. А может, и письмо все же пришлет. Когда армейская тоска подопрет — и старым друзьям иногда приветы шлют.

— Я писал. Честно. Несколько раз — и тебе, и отцу, и в Таллин приятелям. Но от меня ничего не доходит. Я вроде как под спецнадзором здесь.

— Ну, конечно. У тебя же мать и сестра за границей. Сколько ты им теперь военных секретов можешь разболтать. Нет, это никак нельзя.

— Что еще было в письме?

— Что устроилась она хорошо, много работает. Оля — в частной школе, там и живет. Бабка тоже устроена неплохо, кажется, в Бостоне. У нее там уже своя старорежимная компания, вспоминают золотые денечки.

— А про меня?

— Да, ну и про тебя тоже. Чтоб передали, если доведется увидеть, что она тебя о-бо-жа-ет. Что разлучили вас обманом, а по доброй воле она бы ни за что не улетела. Но теперь уж ничего не поделаешь, надо ждать конца службы, а потом добиваться, чтобы тебе к ней приехать.

— Не могло там быть "обожает". Мама этого слова не переносит.

— Ну, "очень любит", "скучает", "ждет не дождется". Не было у меня времени наизусть заучивать, когда твой отец над душой стоял и спички зажигал.

— Как это — "ждать конца"? После армии людей еще лет пять держат, не отпускают ни за что. Забыла она что ли?

— Я, конечно, как прочла, сразу кинулась писать тебе. Полписьма накатала, и тут только дошло: адреса-то у меня нет. Но у судьбы так бывает: если начнет подарки дарить, сразу не остановится. Через две недели после письма приятель твой объявился. От него мы и узнали, где ты, да как, да что. Я и решила: поеду, назовусь сестрой, — наверно, пустят повидаться. Хотя родство наше так, видно, и не сладится. Потому что если наши родители поженятся, половину жилплощади потеряют. Так — и у него, и у нее по квартире, а у женатых — вмиг отнимут, заставят жить в одной.

Улица постепенно твердела, выползала из-под слоя опилок и трухи, превращалась в загородный большак. Булыжник на нем был грязный и неровный, темнел прорехами, как зубы в старческом рту. Они свернули на мягкий проселок, обогнули поросший травой и березами холм, поднялись по нагретому склону.

— Да, здесь, — сказала Виктория. — Здесь годится.

Цветастая клеенка появилась из сумки и, брошенная вниз, повисла, закачалась на травяных стеблях цирковым тентом. Виктория прыгнула на нее коленями, перекатилась взад-вперед, приминая, взяла у Ильи сумку, поставила посредине. Из-под отстегнутой крышки потянулся парад заезжих гастролеров: венгерский абрикосовый компот, кра-

ковская колбаса, латвийская редиска, финские яйца, марокканские сардины, бутылка болгарского вина, грузинские яблоки и в довершение — "у тебя есть консервный нож?.. дай-ка... отвернись, не смотри" — неизвестно чья уже, международно-валютная русско-экспортная, солено-бело-розовая вермишель крабьего мяса в крошечной жестянке.

— Ты что это?.. Ты что?.. — бормотал ошеломленный Илья. — Добить меня хочешь? Я к местной овсянке, может, три месяца поначалу привыкал. От ихней селедки у меня весь желудок солью зарос. На первое — суп картофельный, на второе — котлеты картофельные с пюре! — это не хочешь? И сколько же ты на все это угрохала, безумная? Месячную зарплату? Премию? На что сама жить будешь?

Но говорил он это все более и более невнятно, потому что рот уже был набит, подбородок замаслен, гимнастерка закапана, за голенищем расползался кусок творога. Она почти не ела — только потягивала "тракию" и возбужденно хихикала, глядя на его обжорство.

Он не помнил, в какой момент они начали целоваться, но точно помнил, что начал он. И раздевать ее тоже начал он сам. Потому что между ним и тем мальчиком, который трясся когда-то под одеялом в ленинградской квартире, пролегло не три года и тысяча километров, а все ночи тоскливой пустоты, леденящего сердце одиночества посреди храпящей и смердящей казармы. И все те редкие субботы, когда очередная знакомая на клубных танцульках так распалялась, что соглашалась уйти с ним в темные проходы между штабелями бревен, и там на подстилке из стружек в очередной раз подтверждала ему, что одержимость осталась в нем с той единственной ночи, все живет, что почувствовать что-то он может только тогда, когда закроет глаза и представит себе, что с ним сейчас все та — нелепая, первая, невыносимо банальная и ни на кого не похожая самозванка-сестра, вынимательница сорин и заноз.

Прячась от надсадного шума проезжавшего внизу самосвала, они отползли в тень кустов и там продолжали целоваться до тех пор, пока не увидели кровь. Комары и слепни шли на них волна за волной, опускались, мешались живые с уже размазанными по плечам и спинам. Они снова натянули — она ковбойку, он гимнастерку, — побросали в сумку остатки заморского пира. Спустились вниз, побрели по большаку.

Но день, начавшийся таким абсурдным счастьем, видимо, просто не мог принять в себя неприкаянность и бездомность. За первым же поворотом он показал им небольшой домхуторок в отдалении, на опушке леса, а в памяти у Ильи тотчас вспыхнуло узнавание: ну, конечно же он бывал здесь несколько раз, гарнизонная повариха тетя Луша зазывала его залатать крышу, протянуть лампочку в сарай, починить утюг, помочь с дровами, и за это подкармливала его в столовой. Сказочный день продолжал выбрасывать удачу за удачей, потому что тетилушина малышня ловила в огороде поросенка и так глохла от собственного и поросячьего визга, что им удалось незаметно, кустарником, пробраться на зады, к лесной баньке. И он знал, в какой щели прячут ключ (сам ведь замок навешивал), и кто-то, видимо, подтапливал баньку с утра, потому что и жару, и воды было еще вдосталь.

В черной банной жаре они поначалу натыкались на скамьи, на ведра, на горячую каменку. Но когда разделись, от них самих стало светлее. Через некоторое время он почувствовал, что одними ладонями ему не обойтись, что они слишком задубели и измозолились от работы, мороза, стрельбы и не чувствуют полной мерой. Тогда он начал гладить ее лицом. Лбом, щеками, губами, носом — по плечам, груди, животу. Посадил на полок и принялся оглаживать ноги — сверху донизу, одну и другую. Перевернул на живот и стал скользить мокрой от пота щекой сверху, прижимаясь там и тут, как к подушке. Она все выполняла послушно, тихонько постанывала, но потом перевернулась, сильно притянула к себе, и дальше все пошло по ее, и он с готовностью подчинился, потому что здесь только она могла знать, когда, что и как.

Потом они поливали друг друга из ковша, смывали пот и хлопья насыпавшейся с потолка сажи. Она что-то бормотала, он переспрашивал, она отмахивалась, смеялась, но продолжала бормотать. Потом он понял, что она уже не бормочет, а плачет. Она плакала и твердила одно слово: "дура, дура, дура..." Он стал говорить, как все теперь будет по другому, как он станет писать ей письма от имени приятеля, Коли Чешихина, и она пусть тоже пишет на колино имя, и так они обманут надзор, прорвутся друг к другу хоть на бумаге. А потом она приедет опять, если накопит денег на дорогу, и он уже будет готов заранее, и они тогда — ого-го-го! А там, глядишь, и служба кончится, немногим больше полугода

осталось, и тогда он приедет в Ленинград и первым делом — к ней, и они отправятся вместе — куда? куда бы ей хотелось?

Она замотала головой и зарыдала громко и некрасиво.

— Никуда... ничего... не будет этого... Из-за меня... из-за дуры дефективной не будет... Потому что не дождалась я тебя... Киномеханик один давно за мной ходил... И так припекла тоска в один день, что я взяла и согласилась... За два дня свадьбу справили, а расписались уже потом... И дочка у меня уже... дочка Катя...

Он понимал, что, наверно, потом от ее слов, от этой новости и ему станет больно. Но это произойдет после, когда она уже уедет и он снова спустится в казарменную скуку и пустоту. Сейчас же, пока он витал там, куда его забросила эта самая высокая в его жизни волна, этот тридевятый вал, ничто не могло задеть его или ранить, все оставалось далеко внизу. Он сидел рядом, гладил ее по плечу, убирал со лба мокрые волосы, утешал. И ему страшно было подумать о том, что были минуты, когда ему хотелось посылать на кого-то ракеты и снаряды, стыдно, что дал довести себя до такого, но тут же оправдывался перед самим собой, думая, что трудно ведь устоять, что вот только на это о н и и мастера — нарочно разлучать их, восемнадцатилетних, так надолго казармами, колючей проволокой, номерами подцензурной почты, чтобы вытравить из них эту опасную для военного дела придурь — сочувственную нежность к своей и чужой жизни.

СЕНТЯБРЬ, ТРЕТИЙ ГОД ПОСЛЕ ОЗАРЕНИЯ, БОСТОН

1

Картинка на обложке меню изображала мечтательную девицу у окна старинной башни, которой конный рыцарь протягивал снизу на копье поднос с дымящимся ланчем. То ли безвестный художник правильно уловил атмосферу кафе, то ли, наоборот, его картинка (она же была в красках повторена на рекламном щите снаружи) так избирательно завлекала посетителей, но зал второго этажа, действительно, был заполнен в основном одинокими дамами, и они, действительно, время от времени отрывались от своих тарелок, чтобы

бросить мечтательный взгляд на речную даль, блестевшую в просвете между домами. Поймав себя на том же самом, Ленда подхватила свой кофе и рюмку с коньяком, пересела подальше от окна.

Сильвана явилась оживленная, похудевшая, загоревшая за лето. Чмокнула ее в щеку, плюхнулась рядом.

— Ну что? Как прошла встреча дочери с отцом? Сколько они не виделись? Почти три года? Объятия, слезы, поцелуи?

— Все было лучше, чем я ожидала. По-людски. Эмиль не пыжился, не поучал, пришел в штатском. И Оля так кинулась к нему, так целовала. Хотя утром, когда я забирала ее из школы, шепнула, чтобы я не проговорилась, кто у нее отец. Она там, кажется, наврала, что он у нее заправляет международной флотилией, плавающей во всех океанах. Или что-то в этом роде.

— И правильно сделала. Я девчонок знаю. Чуть что скажут ей: "Убирайся в свою Россию!" Здесь не принято вопить "бей жидов!" Все, что осталось любителям погромов, это кричать: "Бей красных!".

— А где-то мой Илья должен скрывать от приятелей, кто его мать.

— "Ах-ах, я разбила детям жизнь!" Кончай ты это. Я вот, например, своим ничего не разбивала, была образцовой матерью, ни разу не разводилась, за границу не удирала — и что? Они ли меня не презирают? Просто за то, что прислужница капитала, католичка, никаких связей с "Красными бригадами".

— Я ведь тебе рассказывала про Эмиля. Что он весь — из полос. И даже не скажешь, что как зебра, потому что не только черно-белый. Полно и других цветов. И сегодня, кажется, приехал цвета семейной нежности. Я так испугалась. Потому и позвонила тебе.

— Вот удовольствие, которого у меня никогда не будет: разобрать по косточкам б ы в ш е г о мужа.

— Он задумал провести день в нашем т е с н о м кругу. По-семейному. Отправиться к бабке Наталье, посидеть, вспомнить старое. Сейчас они с Олей пошли погулять, но вот-вот вернутся.

— Судя по твоим же рассказам, не все было плохо в этом "старом".

— Но я-то знаю, какая полоса пойдет дальше. Любовно-романтическая. А "старое" со всем хорошим, что в нем было, предъявят как счет, подлежащий оплате. В любовно-романтической валюте. Ох, не выношу.

— Какой смысл в разводе, если и от бывшего мужа никуда не спрятаться.

— Сильвана, умоляю — побудь с нами. Я скажу, что у нас с тобой давно было условлено, что тебе некуда деться. А? Не могу я с ним остаться один на один. Что-то у него на уме, что-то он затеял. Какой-то из своих фокусов. Ты же понимаешь: не до того мне сейчас.

— Честно сказать, — именно этого я про тебя не понимаю. Чего ты боишься? Почему так прячешься? Что это за паническое затворничество ты себе устроила? Все эти годы в Америке — ни с кем, ни с кем. Я знаю, что сам Умберто за тобой увивался, — ты и от него отвертелась. Почему? Дала обет отцу Аверьяну? Не хотела обидеть Джину? Готовишь дело жизни к сдаче в Архив?

— Сильвана, умоляю…

— Да в другой раз я бы с готовностью. Но сегодня — никак. Клянусь. Даже на ланч с тобой еле вырвалась. Ты же знаешь: филиал здесь только что открылся, работы — невпроворот. И без меня никто не хочет пальцем о палец ударить. "Миссис Тосканти, подпишите это, миссис Тосканти, распорядитесь о том-то…"

— Сильвана, ты врешь.

— Как смеешь ты, о дерзкая…

— Ты здесь уже три недели. И позавчера доложила Архиву, что Бостонский филиал налажен и работает исправно. Что ты здесь больше не нужна и можешь вернуться.

— Позавчера доложила, а вчера знаешь, что случилось? Самоубийство в помещении филиала. Меня три часа допрашивали в полиции.

— Этого нам еще не хватало.

— Явился один старикан-сицилиец. Судя по всему, крупный мафиозо. Привел с собой двух свидетелей. Ну, знаешь, как они делают: жизнеописания сдают здесь, а в Архив едут налегке, только для сдачи крови. Не тащить же свидетелей с собой. И жизнь у сицилийца, конечно, чистая и непорочная. Только и делал, что трудился, помогал близким, ходил в церковь, платил налоги. Причем по лицу видно, что сам во все это уже верит.

— Да, я тоже таких навидалась.

— Свидетели расписались на бланке сдачи, передали его в окошко. И тут один из них, совсем дряхленький, спрашивает: "Синьора, это именно тот документ, который будет храниться у вас до Страшного суда?" — "Да, — говорю, — вместе с жизнеописанием". — "Я очень прошу вас сделать к нему одно небольшое добавление". И преспокойно так кидает в рот какую-то капсулу. И тут же падает. Потом оказалось — цианистый калий.

— Силы небесные!

— И что теперь делать? От полиции я кое-как отвязалась. Но мафиозо требует назад текст и деньги. Добавление его совсем не устраивает. А мы? Должны мы выполнить последнюю просьбу покойного?

— Без отца Аверьяна тут не решить.

— Вот и я так думаю. Послала запрос.

— Видишь. Все равно тебе нужно ждать ответа.

— Лейда, сегодня не могу. Клянусь.

— Ты не бойся, он бывает очень милый. Особенно в первый день знакомства. Будет стараться тебя очаровать. А завтра его корабль уходит, я увезу Олю обратно в школу — и все.

— Нет, вижу от тебя так просто не отвяжешься. Только клянись, что не проболтаешься?

— На кресте? на крови?

— У меня у самой свидание. Через час. А в моем возрасте, сама понимаешь, это не так часто выпадает.

— Неужели с Джерри?

— О-хо-хо — теперь она головой качает. Осуждающе.

— Ты же знаешь, я не ханжа, просто…

— С Аароном мы видимся даже реже, чем в Европе. Умберто старается держать его подальше от отца Аверьяна (держит, как козырь в рукаве), гоняет по филиалам. А когда встретимся, разговоры только об одном: чтобы я подействовала на Фанцони, уговорила их не прекращать финансирование Фонда. Но, что я могу поделать, если они утратили интерес. Архив захватил их обоих с головой.

— Я слышала, что Силлерсу не продлили контракт в этом году.

— Знаешь, Аарон — это самое серьезное, что было у меня в жизни. И так и останется. Я все сделаю, чтобы его ничем не ранить. Только ведь и от серьезного устаешь. И начинает снова хотеться того же, о чем мечталось в детстве. Чего мы все в глубине души хотим. Чем нас можно взять безотказно. Чего мы все безусловно заслуживаем: на старости лет... Не знаю, чем я его приворожила. Может быть, тем, что так круто обошлась при первой встрече в Париже. Но в общем, ты понимаешь...

— Я понимаю, — сказала Лейда.

Она обвела взглядом посетительниц кафе, реку за окном, официанток, одетых по той же моде, что и девица в старинной башне. Печальной негритянке, сидевшей неподалеку, принесли какие-то колбаски, потрескивавшие в синем пламени. Судя по мощным объемам, распиравшим ее платье, колбаски были всего лишь началом большого дня, легкой пристрелкой. В глубоком вырезе большие черные груди от одиночества прижимались друг к другу.

На секунду Лейда зажмурилась от фотовспышки.

Потом из-за темных кругов, плывущих перед глазами, появилось смеющееся лицо дочери.

— Давно, давно мечтал об этой игрушке, — говорил Эмиль, вертя в руках полароид, бережно извлекая из него наливающийся красками снимок.

Оля смущенно поглаживала новенький магнитофон, висевший у нее на плече, разводила руками, показывала глазами на отца — "он, все он". Другая обновка красовалась на ногах: модные плетеные босоножки, из которых острые ноготки выглядывали, как жадные птенцы из гнезда.

Лейда взлохматила ей волосы, улыбнулась.

— Как поживать матюшка-Россия? — спросила Сильвана, протягивая руку. — Кэптан на корабль поживать неплох, вижу сама. Дают много валюта.

— Увы, больше не капитан. Второй помощник — только и всего. Понижен в должности за плохое воспитание дочери. Как мне сказал на собрании один высокопоставленный деятель: "Да я бы скорее своими руками задушил, чем дал за границу удрать".

Оля, держась за его локоть, пританцовывала на месте, по балетному оттягивая носки. В свои четырнадцать лет она уже была одного с ним роста. Поездка в большой город, встреча с отцом, подарки — всего этого оказалось достаточно, чтобы растворить обычную надменно-загадочную мину на ее лице. Девочка, падкая на игрушки, без труда побеждала неприступную снобку из дорогой частной школы. В другое время Лейда только порадовалась бы этому. Но сегодня даже веселье дочери оборачивалось чем-то тягостным: лишней петлей, подтягивавшей ее навстречу неумолимости семейного торжества.

Они вчетвером вышли на улицу. Эмиль продолжал щелкать полароидом. Снял дам на фоне рекламы кафе. Попытался заставить Олю повиснуть у них на плечах, нацелился снизу, присев на корточки. Но в это время Сильвана с воплем "wait a minute!" ринулась на контролера, который подсовывал штрафной билетик под стеклоочиститель ее машины. Перепалка, спор вокруг счетчика, циферблаты часов протягиваются под нос противнику... Она проиграла, пихнула в сумочку штрафной билет, сердито прыгнула за руль, уехала.

Лейда со вздохом взяла бывшего мужа под руку.

2

Бабка Наталья сумела вывезти с собой так много памятных безделушек, картинок, пепельниц, старых фотографий, что ее бостонское жилье стало похоже на умелую декорацию, изображающую их старую таллинскую квартиру. Разговор за обедом перелетал по кругу, как волейбольный мяч, — не падая. Все четверо так долго не виделись, что как бы получали возможность покрасоваться друг перед другом в бесценном и недолговечном наряде новизны.

Мяч у каждого был свой.

У Эмиля — морские байки, российские анекдоты, его новая семья, "да-да, Оля, надо бы тебе повидать когда-нибудь сводную сестренку". У бабки Натальи — все трамвайные маршруты, которые она уже освоила в Бостоне, все окрестные магазины, где ее знали как "найс рашн лэди", все новые знакомые, которые у нее завелись. Она даже ни разу не попыталась подсунуть в свои истории какое-нибудь доотъездное старье. Оля с жаром просвещала свою темную родню, втолковывала им разницу между джазом, попом, роком и свингом. ("Вы только послушайте, как она шпарит английские имена!.. Совсем без акцента... В магазине ее все принимают

за американку... А русские слова начинает забывать...".) Разговорный мяч у Лейды был самый маленький (Архив и Илья — запретные темы, — а о чем еще говорить?), но и она время от времени завлекалась, подбрасывала что-то в семейный гомон.

После обеда настала очередь бабки вести внучку в супермаркет за подарками. Обе так возбужденно предвкушали этот поход, что удержать их дома — об этом нельзя было даже заикнуться. Когда они ушли, Лей да попыталась сбежать на кухню, спрятаться за мытье посуды. Но Эмиль взял ее за руку, привел обратно, усадил за стол.

— Ну что ты? Что?.. Не съем же я тебя... Почти три года все же прошло... Я все... Почти излечился... Просто посидим, поговорим по-дружески...

Он стал рассказывать, каким целебным оказался для него ее отъезд. Все же верно говорит народная мудрость: "с глаз долой — из сердца вон". Как не стало адреса, куда письма писать, и окон, под которыми торчать, — так и начало утихать, забываться. Вообще-то на пятом десятке начинаешь что-то понимать про все это. Что любовь любовью, а есть еще голод сердца. И их очень легко спутать. Хотя голод, может быть, посильнее любви и долговечнее. Видимо, у него как раз так. Любовь уходит, начинается голод. Потому что он, хотя и счастлив с новой семьей, а снова начал встречаться с одной...

— Тоже докторша, как и ты, наваждение какое-то... Только красивая... Ой, прости... Я хотел сказать, что в ней меня лицо сильнее волнует, чем все остальное. С тобой было не так. С тобой: голос и как ты двигалась. Помнишь, ты сердилась, когда я к тебе приставал, что мол трубку телефона неправильно положила или шлепанцы не туда поставила? Хочешь сознаюсь? Мне просто хотелось, чтобы ты еще раз прошла передо мной. Хотелось посмотреть, как протянешь руку к трубке, как нагнешься за шлепанцами. А помнишь, мы жили неделю на Украине, снимали домик у коваля? У того, который заранее днем кричал из кузни жене, что будет делать с ней ночью? Оле тогда сколько было?.. Год?.. два?.. Мы тогда еще...

Все оборачивалось именно так, как Лейда и опасалась, за исключением одного: не было тягостного чувства. То ли тон Эмиля был таким непривычно спокойным, искренним, не назойливым, то ли нежный мучитель-саксофон в оставленном Олей магнитофоне так успешно справлялся с делом, для которого был изобретен, с оттаиванием сердца, то ли все месяцы щемящего одиночества незаметно поразмыли стену, отделившую ее когда-то от этого человека... Ей не пришлось делать над собой усилия, когда он встал и шагнул к ней, — тоже встать, положить ему руки на плечи, прижаться щекой к щеке.

Они постояли, обнявшись, вслушиваясь в медленное срастание оборванных когда-то нитей, в схождение невидимых мостиков. Она позволила ему расстегнуть пуговицы платья, только перехватила руку, когда пальцы его дошли до "роланда". ("Осторожнее... дай, я лучше сама отцеплю... А то может случиться большой переполох, примчатся суровые люди с пистолетами..."). Он гладил ее по голым плечам, по спине, шептал над ухом:

— Как хорошо... Как раньше бывало... Когда нам было только хорошо друг с другом... Знаешь, мне всегда хотелось отплатить, отблагодарить тебя. Но никогда не знал — чем... Что я мог? Ты была так самостоятельна... Все, что тебе было нужно, брала сама... А теперь еще хуже. Даже подарить ничего не могу... Ты, наверно, раз в десять богаче меня... Можешь купить, что душа пожелает... Здесь сейчас русские иконы в моде — я тебе, пожалуй, икону привезу... Уж на корабле найду, где от таможни спрятать... А хочешь: разрешу снова выйти замуж?.. Не смейся, не смейся... Захочется ведь рано или поздно, не век же одной здесь доживать. А хочешь, добьюсь, чтобы тебе разрешили посылки Илье посылать? И чтобы письма — без ограничений и напрямую, а не через Москву.

Она вздрогнула, осторожно высвободилась из его рук, попятилась.

Он стоял, прикусив губу, досадливо морщась.

Не отрывая от него изумленного взгляда, она натянула на плечи платье, стала застегиваться.

— Ты?.. Ты знаешь про Илью?.. Ты — с ними?

— Ну что ты? Зачем так сразу?.. Как ты все умеешь в самую худшую сторону... Конечно, я собирался тебе сказать... Просто не хотелось начинать с этого... С неприятного...

— Я бы могла догадаться... Загранплаванье, визит к дочери... Задаром такое не могли разрешить...

— Но пойми: не я — приехал бы кто-то другой... Специальный агент, которому все пришлось бы устраивать заново, тайком, с риском для тебя... А тут такой натуральный повод для встречи. Повидать дочь... Они ни за что не хотели упустить такую возможность...

— Но ты?! Как ты мог согласиться?

— "Согласиться" — на что? Что в этом такого? Они же не бомбы меня заставляли везти. Всего лишь новые инструкции, новые контакты для тебя в Америке.

Лейда устало опустилась на диван, согнулась вперед, как от боли.

— Я думала... Надеялась, что про меня забыли... За два года никто от них не появился. И вот, надо же — ты...

— Они не забывают, нет... Мне, конечно, всего не объяснили, но я понял, что полковник этот, Ярищев, — он был по Европе. А когда Фонд ваш так внезапно переехал, он как бы остался у разбитого корыта. Но ты была "его кадр", и он с коллегами делиться не собирался. У них ведь там тоже грызня между собой — не дай и не приведи. А теперь его повысили, переключили на Америку.

— Они обещали: на три года. Пока не кончится срок службы Ильи.

— Может, так оно и будет. Увидят, что от тебя проку нет, и отпустят. Этот ваш Архив — там же ни военных секретов, ни промышленных. Одно околпачивание масс.

— Что они хотят от меня?

— Мне не сказали. Главное пока: чтобы ты оставалась на работе, не ссорилась там, не вызывала неудовольствия. А там мол видно будет.

— Но если что-то случится? Допустим меня заподозрят или начнут расспрашивать о чем-то. Мне надо будет хотя бы узнать, как себя вести, что отвечать.

— Вот здесь, они просили передать. Два телефона. По первому звонить, но ничего говорить не надо, только дождаться, чтобы прогудело восемь раз. После этого через полчаса — только уже не из дома, а из какого-нибудь кафе — звонишь по второму. Код Нью-Йорка, а дальше всего пять цифр. Две последние будешь брать по дате — вставлять, так сказать, сегодняшнее число. А там уж человек будет знать, к какому из автоматов ему идти. Вот и все дела.

— Действительно. Все так просто.

— Лейда?

— Да.

— Посмотри на меня.

— Нет.

— Я их тоже ненавижу. И презираю.

— Зачем же. Люди как люди. У них своя работа, у тебя — своя.

— Никогда не увидеть Олю, тебя... Не мог я с этим смириться...

— Не надо было тебе так тратиться на магнитофон.

— Вы — кусок моей жизни. Может, самый важный кусок. Не мог я дать вас отрезать.

— У нее ведь ни в чем отказа нет. Ты бы лучше своей семье что-нибудь купил. Или хоть докторше этой.

— Лейда, посмотри на меня!

— Я смотрю, смотрю...

— Да не на ботинки — в лицо мне посмотри. Ты веришь, что я не с ними?

— О, слышишь — звонок. Это наши уже вернулись. Я пойду открою.

ОКТЯБРЬ, ТРЕТИЙ ГОД ПОСЛЕ ОЗАРЕНИЯ, НЬЮ-ХЭМПШИР

1

Умберто позвонил перед самым концом рабочего дня.

— Лейда, что вы наделали? Зачем?! Старец рвет и мечет. Требует уволить вас в двадцать четыре часа. Не знаю, смогу ли я вас отбить. Приходите сейчас же.

Она не стала спрашивать, в чем дело, догадалась сразу. В сущности она предчувствовала беду с самого начала, когда согласилась взять телефон мистера Джэксона. Он знал, что делал, принося с собой снимки. Снимки ее доканали.

На первый взгляд, он казался самым обыкновенным паломником. Слегка нервничал. Всматривался в зеркало перед собой, поправлял галстук. Перекладывал с места на место принесенные папки. Из бумаг следовало, что мистер Джэксон оплатил пока только первый разговор с консультантом,

хочет расспросить, как нужно составлять жизнеописание. Чиновник, аккуратист, привык любое дело начинать с просмотра инструкций — все сходилось с внешним обликом. Единственная странность: он требовал, чтобы его направили к консультанту с русским языком, но, когда Лейда заговорила с ним по-русски, показал, что не понимает.

— Позвольте мне начать с показа нескольких фотографий.

На первой была изображена девочка лет тринадцати, лежащая навзничь на откосе, в залитом кровью платье, с ужасной вмятиной с правой стороны груди.

— Цинтия Кронид из Сиракьюса. Возвращалась домой с каникул. При крушении поезда получила удар в грудь осколком вагонной рамы. Умерла восемь часов спустя в больнице... Это — мистер и миссис Кронид. Им только что сказали... На следующей фотографии — Кэтрин Борчевски. Она счастливо отделалась — всего лишь потеряла глаз. Но рядом с ней, на земле, да, такой холмик, накрытый одеялом... Это все, что осталось от двух ее детей... Мистер Горсман, механик, сорок восемь лет... Его сдавило между креслами, и он кричал все пять часов, пока сварщики разрезали обломки, чтобы добраться до него... Питер Феликрон, семнадцать лет, умер от ожогов...

Растерявшаяся Лейда дала ему продемонстрировать еще полдюжины фотографий и попросила перестать, когда было уже поздно: изуродованные и обожженные тела плыли перед глазами даже за закрытыми веками.

— Это была вторая катастрофа за последние три месяца, — говорил мистер Джэксон. — В первой погиб только машинист, потому что поезд был грузовой. Зато расколовшаяся цистерна выпустила столько ядовитых паров, что пришлось выселять людей из трех окрестных городков.

— Вы каким-то образом виновны в этих крушениях? — осторожно спросила Лейда.

— В этих двух — нет. Но буду виновен в третьем. И во всех последующих. Так же, впрочем, как и вы.

— Я?!

— У нас есть предположение, что поезда пускают под откос два молодых человека. О которых мы очень мало знаем. Судя по внешнему виду, — выходцы из Южной Азии. Может быть, из Индонезии. Или Полинезии. Почти не говорят по-английски. Они останавливались в мотеле неподалеку от места второй катастрофы. Хозяйка обратила внимание на то, что один из них читал русский журнал. В мусорной корзине их номера были найдены рекламные брошюры вашего Архива. На английском, испанском, русском.

— Вы ведете расследование?

— Были эти двое у вас? Раз они не говорят по-английски, я решил, что они могли обратиться к русскому консультанту.

— Вы, наверно, знаете, мистер Джэксон, что никаких сведений о наших паломниках мы никому не даем. Это — как тайна исповеди.

— Я хотел бы подчеркнуть, что тем двоим не нужна даже взрывчатка. Они просто снимают рельс и ждут, что получится. Работа нелегкая, но они трудолюбивы. Тем более, ночью, где-нибудь среди леса или кустарника — никто не помешает. Предпочитают те места, где дорога делает изгиб или одолевает подъем. Чтобы машинист, даже заметив, не успел остановить.

— Я, право, не знаю, чем я могу вам помочь.

— Потом они посылают письма в редакции газет. Требуют независимости Мурабельских островов. То ли от Индонезии, то ли от Филиппин, то ли от мирового империализма, — я уже не помню. Да-да, такие острова существуют где-то в Индийском океане. А в московском университете имени Лумумбы, где эти ребята, видимо, учились, им объяснили, что нет никакой нужды захватывать заложников. Что это старомодно и опасно. Что можно просто бить не глядя, в густую толпу, и таким образом держать заложником целый народ. В этом случае шансы быть пойманным — ничтожны.

— Мистер Джэксон, поверьте, я целиком на вашей стороне. Но ничего не могу сделать. Нам лучше закончить этот разговор.

— У вас есть дети? муж? близкие друзья? Правда, вы можете посоветовать им не пользоваться поездом некоторое время. Да они, наверно, и без того предпочитают автомобиль и самолет. Поезд — транспорт бедняков. Это они должны расплачиваться своей кровью за то, что Мурабельские острова до сих пор не имеют независимости. А кровь двух юных мурабельских героев будет между тем бережно храниться в подземельях Архива. И сознание своего бессмертия придаст

им сил для новых подвигов. А шесть тысяч долларов, полученных ими из кремлевских подвалов, нашли свое место в карманах людей, свято хранящих тайну исповеди.

— Если вы не замолчите и сейчас же не уйдете, я вызову охрану.

— У меня заплачено наличными, и мой час еще не истек. Слушайте, я ведь не прошу, чтобы вы открывали мне секреты их полового созревания или драму шатаний между ленинизмом и троцкизмом. Мне бы хоть что-нибудь, хоть какую-то зацепку. Может быть, имена? Хоть они наверняка вымышлены. Может, они упоминали, откуда приехали и как: по туристской визе? по студенческой? пробрались нелегально?

— Я ничем не могу помочь вам.

— Давайте так: я оставлю вам свой телефон, а вы подумаете, как вам с ним обойтись. Через несколько дней в газетах может появиться сообщение о новой аварии. Возможно, с фотографиями. Почем знать, может быть, вы увидите и вам захочется что-то предпринять. Да нет, я не подсовываю вам снова Цинтию Кронид... Просто роюсь в бумагах, ищу свою карточку с телефоном... Кстати, Цинтию дома ждал сюрприз. Мальчик, с которым она поссорилась летом, прислал ей очень нежное письмо. Но прочесть его она уже не успела. Ага, вот и телефон... Так вы возьмете?

Она взяла.

Конечно, она сразу вспомнила тех двоих. Оба были так возбуждены, так счастливы пустить в дело свой русский. О себе почти ничего не рассказывали, только самые общие сведения. Зато засыпали ее всеми теми заученными, зачумленными словами, которые ее сознание давно уже не воспринимало: пролетарский — солидарность — империализм — борьба — несгибаемый — идейный — беспощадный — светлый — цепи — человечество — знамя — пролетарский. Они были разочарованы ее равнодушием. Видимо, привыкли, чтобы их хвалили за правильно отбарабаненный русский урок. Нет, про планы свои тогда тоже ничего не рассказывали. Но почему-то у нее сразу возникла уверенность, что мистер Джэксон угадал правильно. Они.

Примерно неделя ушла у нее на то, чтобы вытеснить из памяти образы раздавленных, обожженных, сплющенных в лепешку людей. И почти удалось, когда вдруг на адрес Архива пришла маленькая бандероль. Кассета с добавлением к жизнеописанию. И плата — почтовый перевод. В кассете были расплывчатые сообщения о нанесенных империализму ударах, завернутые в стандартные лозунги, и обещание, что борьба будет продолжаться. Тогда она впала в такую панику, что не выдержала — позвонила мистеру Джэксону. Хотя понимала, что — нельзя. Быть беде. Она не открыла ничего, никаких подробностей. Сказала только про почтовый штемпель. Послано из Милана, штат Мичиган. Мистер Джэксон сказал: "спасибо". С тех пор она ничего больше не слышала об этой мурабельской истории. И вот теперь...

2

Умберто сидел, откинувшись в кресле, босые ноги торчали далеко вперед из-под рясы. Последнее время ему нравилось появляться в таком наряде даже в коридорах Архива. Даже выезжать в город. Он не встал Лейде навстречу — только протянул пачку газет. Джина полулежала на кушетке, укрытая пледом. Выпуклые глаза ее смотрели с состраданием, как на приговоренную.

Лейда развернула газеты, стала читать:

"На процессе двух нелегальных эмигрантов в Мичигане, обвиняемых в попытке устроить крушение поезда и в двух других диверсиях, приведших к железнодорожным катастрофам в этом году (14 человек погибло, материальный ущерб оценивается в 18 миллионов долларов), сегодня слово взял адвокат. Он не стал оспаривать факта преступных намерений (обвиняемые были захвачены с инструментами в руках, ночью, на железнодорожном полотне), но выстроил защиту на сенсационном заявлении: его подзащитные, по молодости и неопытности, подпали под сильное влияние секты "Подзащитных христовых" и были настолько сбиты с толку проповедниками этой секты, что решили обеспечить себе воскресение из мертвых любой ценой. А так как борьба с империализмом является, по их убеждениям, самым святым делом, сулящим вечную благодарную память потомков, они и ступили на путь этой борьбы, как умели.

В доказательство он представил суду расписку, выданную центральным учреждением секты — Архивом Страшного суда — о получении от обвиняемых 6500 долларов за право

"сдачи дела жизни в Архив". Хотя в проповедях секты невозможно найти прямых призывов к насилию, адвокату удалось привести несколько цитат, имеющих смысл утверждения: мы не знаем, какие поступки будут одобрены на Страшном суде, какие — осуждены. Ибо "что высоко у людей, то мерзость перед Богом".

Более того, чтобы охарактеризовать циничность руководителей Архива, он высказал убежденность в том, что они сами и выдали обвиняемых властям. То есть нарушили тайну исповеди. Действительно, агент ФБР, выступавший свидетелем, отказался ответить на вопрос адвоката, каким образом ему удалось так безошибочно выйти на подозреваемых в маленьком городке и поймать их на месте преступления.

Конечно, адвокат оставил в тени многие немаловажные вопросы: откуда у обвиняемых взялись такие деньги (при аресте у них обнаружили еще восемь тысяч наличными)? С какой целью они приехали в США? Где получили поддельные документы для въезда? Чем занимались в своей прежней жизни? Все эти вопросы, надо надеяться, всплывут в сознании присяжных. И тем не менее, существующее в общественном мнении глухое раздражение против "Подзащитных христовых" может сыграть на руку защите. Во всяком случае, другие религиозные группы и общины немедленно подхватили обвинения адвоката и десятки газет на следующий же день перепечатали его речь".

Умберто сложил кончики пальцев, вздохнул, почесал босую ступню об угол стоявшего на полу проигрывателя.

— Вы же понимаете, ваш разговор с этим мистером Джэксоном остался на пленке. Найти ее не составляло труда. Старец был взбешен тем, что вы не прогнали его. Как только поняли, что это агент, — надо было тут же все оборвать. Вернули бы ему деньги, и дело с концом. Вы же знаете правила.

— Но, Умберто, может быть, Лейда так и не звонила ему потом. Может быть, это лишь домыслы адвоката.

— О'кей, о'кей. Лейда, я даже не спрашиваю, звонили вы или нет. Я спрашиваю: хотите, мы скажем старцу, что до этого не дошло? Что вы выбросили телефон агента и больше не имели с ним дела?

Лейда молчала.

— Поймите, есть вещи, в которых даже я не смею перечить отцу Аверьяну. Уже не смею. Тем более, когда речь идет о нами же установленных правилах.

Лейда подняла на него глаза, пошевелила губами, но опять ничего не сказала.

— Ну хорошо, между нами. Звонили или нет?

Она вздохнула, посмотрела на них с тоской.

— Вы бы видели эти снимки, которые он мне принес. Этих изувеченных, расплющенных людей. Одна девочка была чем-то похожа на Олю.

Умберто оперся о подлокотники, выбросил себя из кресла. Подошел к ней, взял за руки, заставил подняться, повел рядом с собой по кругу.

— Я понимаю, Лейда, все понимаю... И вообще... У нас с Джиной недавно был разговор... Что-то об измельчании человеческой породы — как никому нельзя теперь доверять ни в чем, как откусывают руку с протянутым пальцем. И потом как исключение мы в один голос назвали вас... За эти годы мы вас очень полюбили... Могу теперь сознаться: я долго боялся, что сбежите. От выматывающей нервы работы, от жалкой анонимной роли, от моих истерик. И ведь могли бы, в любой момент. Но вы тянули так честно, так упорно, день за днем, так вжились в мою Большую игру, в мой сценарий... Верьте — мы вас не оставим. Фонд выделит средства на лабораторию. Вы сможете наконец заняться тем, ради чего уехали на Запад. Хотите — в другом штате, хотите — даже здесь поблизости. Но так, чтобы не попадаться на глаза старцу.

— Нет, — сказала Лейда. — Я не хочу.

Умберто застыл на месте, повернул ее к себе, заглянул в глаза.

— Как это? почему? Хотите остаться в Архиве? Тянуть лямку, как до сих пор? На науке поставить крест? Неужели и вас засосало?

— Да-да... Я чувствую, что не смогу без Архива... Без всех вас... Пожалуйста... Поговорите с отцом Аверьяном... Ведь это в первый раз... Больше я никогда...

Она чувствовала, что с непривычки клянчит и оправдывается неубедительно, фальшиво, что кому-то подражает, — может быть, Оле, той прежней, доотъездной, умоляющей не выключать телевизор, потому что она больше никогда-никогда не будет брать для игры челюсть бабки Натальи, а будет толь-

ко пай-девочка, пай-пай-пай. Умберто всматривался недоверчиво, покусывал прядь волос, оглядывался на Джину.

— Ну хорошо. Я попытаюсь. Хотя вряд ли что-нибудь выйдет. Вы же знаете, как он с Архивом… Если бы вы убили тех двоих, — это он бы еще мог понять и простить. Но предать их исповедь... Нет, по телефону и думать нечего. Пойду сам.

Он осенил себя крестным знамением (сначала двумя перстами, потом — тремя), пошел к дверям. Босые ступни сверкали из-под рясы.

Джина подвинулась на кушетке, похлопала по пледу рядом с собой, приглашая сесть, взяла за руку.

— Как я вас понимаю! И я бы на вашем месте... Но куда уж мне... То, что вам приходится выслушивать в этих кельях... Нужны особые люди, подготовленные священники, чтобы все это выносить... Когда-нибудь так и будет, а пока приходится вам, необученным... Не знаю, подумайте все же. Может, действительно, воспользоваться этим случаем и вернуться к науке? Мы не будем считать это предательством, правда, не оставим вас.

— Нет, Джина, я не могу. Здесь происходят очень важные вещи, мне нужно остаться. Хотя бы еще на полгода. А там видно будет.

— Но вы верите, что Умберто тут не при чем? Он и сам переживает... С ним что-то происходит последнее время. Какие-то припадки необъяснимого страха, кошмары по ночам... Проповеди отца Аверьяна захватывают его все сильнее. Я уже не помню, когда последний раз он осмелился в чем-то возразить ему.

— Да, я замечала.

— И этот монашеский наряд, и босые ноги, и волосы, которые он завязывает в поповскую косичку… Он начал учить русский… Недавно он сказал мне странную вещь: "Знаешь, я так привык двигать людей, как шахматные фигурки. А тут вдруг почувствовал, что кто-то ходит мною. В какой-то очень большой, не моей игре".

— Вам обоим тоже нужно бы передохнуть... Уехать недели на две во Флориду.

— Я бы очень хотела на Гаваи. Но Умберто просто не вырвать отсюда.

— Сильвана недавно ездила в Мексику, вернулась — будто десять лет там сбросила.

— Да, Сильвана умеет устраивать себе антракты…

Заполнять яму ожидания словами становилось все труднее, но обе честно старались, расспрашивали друг друга про мелочи, сплетничали о сотрудниках. Джина время от времени откидывалась на подушке, пускала взгляд блуждать по старинному гобелену. Его привезли из их итальянского дома лишь недавно, были трудности с таможенным разрешением — национальное достояние, сокровище искусства. Гобелен не пострадал от переезда через океан, но Лейду не оставляло ощущение, что кавалькада всадников стала меньше, теснее, а вепри, тигры, носороги, удавы выползли из кустов гораздо дальше, наглее и свирепее.

Умберто вернулся через час — задумчивый, почти мрачный. Положил руку на плечо, надавил вниз. Потом, будто насытившись испугом в ее глазах, блеснул улыбкой, кивнул.

— Уговорил.

Джина захлопала — "браво! браво!" — Лейда рванулась встать, но он не дал, держал за плечо крепко.

— Больше всего на него подействовало то, что вы так хотите остаться в Архиве. Ну и то, конечно, что признали свою вину, покаялись.

Лейда все же вывернулась из-под его руки — вскочила, обняла.

— Но он поставил одно условие.

—Да?

— Чтобы вы наконец сдали каплю крови в Архив.

— Действительно, Лейда, это давно пора. С вас все началось, вы создали теорию, отработали методику, мы применяем ее на других, а сама создательница все отсиживается в стороне. Вера может прийти позже, ей это, во всяком случае, не помешает.

— Да, хорошо, я согласна. Умберто, вы не представляете, что вы для меня сделали.

— И еще до этого надо исполнить как это... Такое адски трудное слово... Не эпидемия, но похоже…

— Епитимья?

—Да.

— Но какая именно?

— Я не знаю. Этим всем распоряжается теперь попадья. Зайдите к ней завтра в "Дом покаяния". Она вам пропишет

что-нибудь. Так сказать, во искупление вины, для восстановления душевного здоровья.

3

Медсестра взяла протянутый ей конверт, вскрыла, прочла записку. Потом улыбнулась паломнице, подвинула ей пустой бланк.

— Прежде всего я попрошу вас заполнить... Да, вот здесь... "Я, такая-то" и дальше... Теперь, пожалуйста, прочтите напечатанное здесь вслух. Мне нужно записать на магнитофон. Начиная со слов: "...добровольно и без всякого принуждения прошу помочь мне исполнить наложенную на меня..." Потом идет пропуск — в него перепишите из письма матушки Ирины... О, вы не знали, что вам назначено?.. Вам не сказали?.. Но вы понимаете, что вы свободны уйти? Обдумать свое решение снова или вообще отказаться... Это очень важно, чтобы момент добровольности был ясно выделен и зафиксирован документально. Знаете, я ведь даже не имею права запереть дверь кабинета до того, как вы подпишете бланк. Люди бывают такие разные. Некоторые могут впоследствии начать жаловаться, даже подать в суд.

До поступления на работу в Архив, в Дом покаяния, медсестра пять лет работала у дантиста и научилась обращаться с людьми, ожидающими боли. Разница, конечно, была немалая, потому что там боль была неизбежной помехой в работе, которую следовало преодолевать, здесь же, наоборот, она считалась лечебным средством, используемым для лечения души. Но и там и здесь — она усвоила это из опыта и гордилась своим умением — и с пациентами и с паломниками следовало говорить, по возможности не умолкая, не давая им сосредоточиться на предстоящем.

— Ну вот, бумаги я прячу в картотеку, теперь все в порядке... Дверь кабинета запираю, чтобы никто не помешал. Вы можете раздеться там, за ширмой... Вообще-то нужно только от пояса вниз, но я вам очень советую снять все... Вы так вспотеете, все будет мокрым... Там на стеклянном столике рубахи в полиэтиленовых мешках:.. Наденьте одну из них, так будет лучше... И лягте на бок, на кушетку... Нет, что вы? Вы испугались, подумали, что я? Избави Боже... Я здесь только для того, чтобы помогать вам и поддерживать... Мне просто нужно промыть вам желудок... Как перед операцией...

— ...Вообще, знаете, я не устаю восхищаться: как хорошо здесь все было продумано. Отделить паломника от помощника покаяния так, чтобы они не видели и не слышали друг друга, — психологически это было очень важно... У паломника не может возникнуть отвлекающего чувства личного озлобления, протеста, унижения. Помощнику не надо преодолевать жалость и сострадание... Вы ложитесь на стол, да, вот на этот, он похож на гладильную доску, не правда ли?.. Люк в стене открывается, я задвигаю стол до середины, и пневматический пояс отделяет вас от соседнего помещения наглухо... Ваши ноги и тазовые части — там, а сами вы — здесь...

— ...Вообще, существует мнение, что голод и холод и бессонница помогают лучше, чем бичевание. Что покаяние получается более глубоким и серьезным... Человеку легче сосредоточиться на чувстве вины... Но другие говорят, что им совершенно необходимо чувство страха, а в посте этого нет... Да и не у всех есть время, чтобы провести неделю-другую в холодной келье...

—...Ну вот, теперь все готово... Лягте на стол лицом вниз... Ноги я пристегиваю у щиколоток — это само собой разумеется... Но с недавнего времени мы начали пристегивать и руки. Потому что некоторые пытаются кусать их... Может остаться шрам... Сюда я наклеиваю датчики, чтобы следить за пульсом и давлением... Вообще вы не должны беспокоиться, в случае чего я немедленно приду на помощь... Если станет очень больно, говорите себе: "через четыре минуты все кончится... через три минуты все кончится..." Иногда это помогает... Помощнику разрешается наносить пять ударов в минуту... Значит, для вас — всего пять минут.

Медсестра ушла в свою кабинку, плотно закрыла стеклянную дверь, села к пульту. На экране телевизора ей была видна соседняя комната, голая стена с овальными дырами люков, дежурный монах, зачитавшийся каким-то журнальчиком. Лицо его, как и положено, было скрыто хирургической маской. Вряд ли это правило было вызвано соображениями гигиены. Скорее — для сохранения анонимности. Но по тому, как он встал, как подошел к выдвинувшейся из люка консоли стола, как взглянул на лежавшее перед ним тело и потом на табло с назначенным числом ударов, как

поднял руку с плеткой, медсестре показалось, что она узнала. Ну да, это был тот самый, на которого она написала жалобу два месяца назад. Потому что он явно терял контроль над собой, слишком входил в раж. Два раза доводил паломниц до обморока. С тех пор его больше не присылали. А теперь вот — снова. И длинные волосы, упрятанные под шапочку, и манера смотреть, откидывая голову назад, — конечно это он.

Медсестра перевела взгляд на осциллограф. Пульс быстро дошел до ста двадцати и продолжал расти. На лицо паломницы, лежащей там, за стеклянной дверью, она старалась не смотреть. Напрасно она не вставила ей резиновую распорку в рот. Может искусать себе губы.

Цифры на счетчике ползли вниз слишком медленно. Семнадцать... Шестнадцать...

Все же какое-нибудь механическое устройство было бы гораздо лучше, чем человеческая рука. Слишком много зависит от характера, от настроения, от физической силы. Ей говорили, что попытки сконструировать делались, но до сих пор безуспешно. Как глупо! Существуют машины, умеющие думать за человека, а для такого простого дела...

Нет, все же этот длинноволосый невозможен. Восемь... Семь... Пульс между тем дорос до ста шестидесяти. Медсестра нажала на кнопку предупредительного сигнала. Вспышки красной лампочки замелькали на экране. Монах поднял блуждающие глаза, застыл с занесенной рукой… Потом, похоже, пришел в себя, переменил позу, убрал выбившуюся прядь.

Три… два... один...

На нуле пневматический пояс выпустил воздух, и стол автоматически въехал обратно в кабинет.

...Смазывая вздувшиеся рубцы на бедрах остужающей мазью, смывая с лица влажной губкой пот, слезы и расплывшуюся ресничную тушь, медсестра думала, что и эту женщину она тоже видела где-то раньше. В толпе паломников? В церкви на проповеди? В приемной Архива? В кафе? Впрочем, она уже чувствовала, что здесь считалось самым дурным тоном пытаться разузнавать что-то о встреченном человеке, запоминать, делать заключения. Тайна, анонимность — все это соблюдалось очень строго, даже старательнее, чем у врачей и адвокатов. А так как ей нравилось это место работы, она инстинктивно старалась подлаживаться и не запоминать женщин, проходивших через ее кабинет. Тем более что все они были почти одинаковы после того, что им приходилось здесь испытать, все нуждались в простейших утешениях, советах, подбадривании.

—... Все, теперь все уже позади. Вы были молодцом… Я дам вам с собой баночку этой мази, она очень помогает. Как вы себя чувствуете? Пульс постепенно успокаивается — это хорошо… Что вы сказали про боль? Очень сильная? Могу себе представить... Ах, ушла из груди… Да, вы знаете, мне и другие это говорили… Почти теми же словами... Что это оттягивает боль из души, из сердца — наружу, на кожу… Как лекарства оттягивают жар... А внутри наступает облегчение... Во всяком случае, на время... Оно и понятно: когда человеку так больно, он не может чувствовать себя виноватым… Ни в чем... Вы пока полежите, придите в себя... Потом я вызову вам такси… Нет, о машине своей пока забудьте... Некоторое время водить вы не сможете. Это исключено. Все будете делать только лежа или стоя…

АПРЕЛЬ, ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОСЛЕ ОЗАРЕНИЯ, НЬЮ-ХЭМПШИР

1

Под башмаком Джерри неоновая вывеска дискотеки в луже раскололась на сотни красно-синих блесток. Сильвана, взвизгнув, отскочила в сторону. Довольный Джерри вышел на середину лужи и подпрыгнул, ударяя обеими подошвами. Красно-синие брызги полетели до верхних ступеней крыльца. Сильвана вздела ладони к небу и пошла к стоянке машин.

— Ты видела, как та черненькая прижималась ко мне? — крикнул Джерри. Мы с ней могли переплясать всех этих прыщавых недорослей.

— Смотри, как холодно еще, — сказала Сильвана. — Тоже мне, апрель называется.

— Теперь мы поедем в пинбол. Я научу тебя катить шар без промаха. Ты еще не видела, как я катаю шары. Ого-го!

— Очень хорошо. Только дай мне ключи. А сам садись с другой стороны. После всех этих "мартини"…

— Знаешь, что та черненькая про тебя сказала? "Как заме-

чательно сохранилась ваша матушка". Я чуть не упал! "Как, говорит, замечательно, что вы возите ее поразвлечься".

— Замолчи. Не буди во мне расистку.

— Все мое детство родители повторяли две фразы: "Так нельзя говорить" и "Так не принято поступать". Иногда мне кажется, что только это они и твердили. "Почему так нельзя говорить?" — спрашивал я. — "Потому что так не принято". И все. Точка. Ты вот, небось, и понятия не имеешь, что принято, что — нет. Потому что тебе что ни скажи, — все как с гуся вода. Никакого воспитания, никакого понятия о приличиях. Ты не моя матушка.

— Воображаю, как мой Марио расписывает меня своим подружкам. Тоже, наверно, всех собак вешает. Это ведь так упоительно просто — все свои комплексы свалить на родителей.

— Но, с другой стороны, ведь и хорошо, что так! Зато у нас никаких склонностей к инцесту, никакой эдиповщины. Психоаналитики на нас не разживутся.

— Все же мне в дискотеке меньше понравилось, чем в баре с танцульками. Слишком все были целеустремленные, спортивные. И слишком молодые.

— Э-э, куда это ты заехала? Это не то место, где шары.

— Нет. Это наш мотель.

— Но я хотел тебе показать, как я катаю шары!

— В другой раз.

— Ол райт, ол райт. Будем катать другие шары — ха-ха! Но тоже без промаха.

— Джерри, ты совсем надрался. Подожди я помогу тебе вылезти.

— Мой верный кий! Ее тугая луза! Слышишь, получаются почти стихи. Если бы меня не одергивали в детстве на каждом слове, мог бы вырасти замечательный поэт.

— Зачем тут два ключа? Ты что — снял два номера?

— Я раб еврейских предрассудков, я всех условностей — холоп...

— Пойдем-ка лучше в твой... Иначе мне потом тебя не перетащить...

Они вышли из темного каре выстроившихся машин, перешли освещенную площадку. Уворачиваясь от его поцелуев, кое-как, вслепую, она попала ключом в замочную скважину, толкнула дверь. В номере было душно и голо. Два стакана, запечатанные бумажной полоской, стояли на двух тумбочках по обе стороны двуспальной кровати.

— Из-за твоих танцев на лужах у меня ноги мокрые насквозь.

Она присела на кровать, скинула туфли. Он плюхнулся перед ней на колени, запустил руки под платье — "колготки, чур, я, тебе самой не справиться, не спорь". Она легла на спину, выгнулась, помогая ему. Он вдруг прижался лицом к ее ногам и сказал внятно и трезво:

— Я люблю женщину, которая не боится слов. Я люблю женщину, которая не боится непринятого. Я люблю любить эту женщину.

— Она растроганно запустила ему пальцы в волосы, прижала его голову чуть сильнее. Он взял в руки ее мокрые ступни, начал растирать.

— Подожди-ка, у меня где-то были теплые шлепанцы. Куда я их сунул? Кажется, под кровать.

Он начал шарить вслепую, но вдруг сморщился и выдернул руку.

— Эй! Кончайте эти шутки!

— Что случилось?

— Меня кто-то укусил.

— Перестань.

— На, погляди.

Прижавшись голова к голове, они стали вглядываться в белое пятнышко, проступившее на пальце.

— Больше похоже на ожог, — сказала Сильвана.

Джерри откинул покрывало кровати, лег на пол ничком.

— Ничего не вижу. Дай-ка лампу с тумбочки. Ага, кажется, вон там...

— Будь осторожнее... Дай я сама посмотрю...

— Нет, оно не живое... Оно... Он... Ага, вот так-то лучше...

Он вытянул из-под кровати угол какой-то тряпки и вслед за ним выехал белый дымящийся брус размером с обувную коробку.

— Мотель с сюрпризами... Что это за штука — ты не знаешь? Никогда раньше не видел. Что-нибудь вроде озонатора? Но будто ничем не пахнет. Ты куда?

Сильвана пятилась, прижав палец к губам, качая головой. Потом кинулась к окну и попыталась выглянуть в темноту

сквозь щель в занавесях. Потом подбежала к стенному шкафу, сорвала с вешалок плащи, подхватила туфли, стала поспешно и неуклюже обуваться.

— Э-э, да что с тобой? Чего ты испугалась? Что это за штука — ты знаешь?

— Да, милый, да... Одевайся скорее... Это сухой лед... Твердая углекислота... Нет, он не ядовит... Но если заснуть в одной комнате с таким бруском, то уже не проснешься... И выглядеть будет очень натурально... Вроде сердечного приступа.

— Давай просто выбросим его на улицу и дело с концом.

— Не сходи с ума.

— Я так ждал этого викенда. И так все удачно складывалось. Мне в понедельник опять уезжать на месяц. Когда мы еще вырвемся друг к другу.

— Джерри, приди в себя. Кто-то пытался убить тебя — понимаешь? Кто-то пытался убить тебя незаметно и очень умело. Такие не останавливаются на полдороге.

Она уже была одета и помогала ему попасть в рукава плаща. Шоколадные пломбиры, суматоха ярмарки, заледеневшие жестянки с пивом — только это приходило на ум при взгляде на белый брусок, невинно дымивший на полу.

— Я выйду первая, — говорила Сильвана, — огляжусь, а ты стой внутри наготове. Если все будет спокойно, я подам машину к самым дверям, и ты прыгай в нее без задержки. Как на футбольном поле — о'кей?

— Такой викенд испортили, гады... Ну, попадись они мне...

— А я-то, дура... Думала, хоть в Америке они оставят нас в покое.

— Может быть, позвоним в полицию?

— Давно не попадал в газеты? "Как развлекаются служащие Архива!" "Райский викенд задолго до воскресения!" Как раз, чтобы твоя жена прочла за утренним кофе.

— Я не хочу, чтобы ты выходила одна.

— Пусть они думают, что мы ничего не заметили. Что их ледышка сработает. Тогда они будут спокойно ждать...

Она оторвала его руку от своего локтя, чмокнула в щеку, вышла на крыльцо. Оглядела безлюдный двор мотеля. Освещенный участок подъездной дороги обрывался в стриженом кустарнике. Еще дальше редкими рядами стояли безлистые осинки, но их уже почти не было видно — черное на черном.

В приоткрытую щель Джерри смотрел вслед уходившей Сильване. Досада была так велика, что не оставляла места страху. Он увидел, что в рассеянности она протопала своими мокрыми туфлями по большой луже, и с детства вбитое представление о том, что нет на свете беды страшнее простуды, еще сильнее разожгло злобу на тех, кто все это так не вовремя и гнусно им подстроил.

Она уже подошла вплотную к поблескивавшему строю автомобильных задов, уже доставала ключи, когда дверца стоявшего рядом с их машиной "пикапа" резко распахнулась, встала у нее на пути и чьи-то руки рванули ее внутрь.

С каким-то вскриком облегчения правый полузащитник сборной Иллинойского университета вылетел во двор, помчался наискосок. Он видел только болтающиеся ноги Сильваны, слышал ее крик и не заметил юнца в спортивной курточке, выскочившего с другой стороны "пикапа", не разглядел мелькнувшего в его руке ножа, не почувствовал боли. Просто что-то выросло между ним и жалобно кричащей Сильваной — и он принялся крушить эту помеху, рвать, давить, кусать, все ниже оседая с каждым тычком ножа, все слабее нанося удары. Даже упав лицом на асфальт, он все еще сжимал разодранную курточку с такой судорожной силой, что юнцу ничего не оставалось делать, как выскользнуть из нее и в одной рубашке прыгнуть за руль.

"Пикап" подскочил два раза, переезжая через лежащее тело — задними колесами, передними — и помчался в сторону шоссе. На минуту стекло опустилось, и мужская рука в перчатке выбросила на дорогу медальон с порванной цепочкой.

Хозяйка мотеля, выбежавшая в шлепанцах и халате на крыльцо, успела увидеть только красные огни, мелькнувшие в гуще кустарника.

2

— Теперь вы видите, шериф, что Архив и наша проповедь, и наша вера тут ни при чем. Обычное уголовное дело, похищение ради выкупа. Они требуют три миллиона, — значит, профессионалы, уверенные в себе. Если бы здесь по-прежнему размещалось Ай-Си-Ди, они бы похитили кого-нибудь из

служащих Ай-Си-Ди. В Европе директоров компаний похищают чуть не каждый месяц.

Ради встречи с полицией Умберто сменил рясу на обычный костюм, обулся, причесался. Большелобый грузный шериф то надевал, то снимал профессорские очки, с сомнением качал головой.

— Слишком много они знали, мистер Фанцони, слишком хорошо подготовились. Знали, что Сильвана Тасконти занимает у вас высокое положение. Знали о ее связи с мистером Ньюдрайвом. Даже знали, что сигнальный медальон надо выбросить. И это при всей секретности, которой вы окружаете свои дела.

— Уж не думаете ли вы, что кто-то из служащих Архива помогал им?

— А почему нет? Что в этом невозможного? Вот, смотрите, что мы нашли в куртке, сорванной покойным мистером Ньюдрайвом с одного из нападавших. На этом фотоснимке миссис Тасконти смотрит прямо в объектив и улыбается. Такой снимок нельзя получить во время тайной слежки или скрытой камерой. Он сделан другом. Как он к ним попал?

Снимок поплыл из рук в руки вокруг стола и застрял в дрожащей двупалой руке Аарона Цимкера. Покрасневшими от бессонницы глазами он всматривался в него с какой-то придирчивой жадностью, словно надеялся узнать что-то новое о похищенной. Он прилетел только утром, был небрит, голоден, измят всеми мягкими и жесткими креслами, в которых провел ночь.

— Сухой лед — тоже не очень обычно для простых уголовников, — сказал Макс, начальник охраны. — Возможно, поначалу они не думали о выкупе. Хотели тихо избавиться от Джерри — естественная смерть, сердечный приступ. А Сильвану бы вынули из постели без сознания и увезли подальше, может быть, даже за границу. И об ее исчезновении мы бы не скоро узнали. Но раз уж все обернулось для них с таким шумом, решили хоть нажиться на всей операции.

Шериф глянул на него сквозь очки с едва заметной ревностью, но все же пересилил себя, признал коллегу-профессионала, кивнул.

— Этот телефонный звонок, мисс Фанцони? Было в нем что-нибудь необычное? В голосе или тоне говорившего?

Джина сидела понуро, как студентка, провалившая экзамен.

— Не знаю... Мне трудно судить, но все же... Голос был типично американский, без акцента. Когда он требовал, чтобы деньги были готовы завтра к шести вечера, сначала употребил слово, которого я не поняла. Похоже на "тесто"... Потом несколько раз повторил, что на доставку нам будет дан ровно час. Они позвонят и скажут, куда и как.

— Значит, они до сих пор где-то неподалеку, — вскинулся Цимкер.

— Это может быть один из сообщников. Миссис Тасконти они могли уже увезти очень далеко. Кроме того, джентльмены, надеюсь, вы понимаете, что об уплате выкупа не может быть и речи.

— Да, да, конечно, — закивал Умберто.

— Мы будем делать все возможное, чтобы освободить вашу сотрудницу. Создана специальная группа, которая занимается только этим делом. Но вы должны держать нас в курсе всех действий, ходов и предложений преступников. В случае же попытки тайно уплатить выкуп, по новым законам, вы можете быть привлечены к суду как сообщники.

— Вы можете рассчитывать на нашу полную коллаборацию, шериф, — сказал Умберто, пристально глядя на ерзавшего от возмущения Цимкера.

— Значит, договорились. Но, кроме того, коль скоро я уже здесь, позвольте поговорить и о другом. — Шериф протер очки розовой тряпочкой, аккуратно уложил ее обратно в футляр, обвел взглядом сидевших за столом. — Меня очень тревожит ситуация, сложившаяся вокруг вашего м-м-м... учреждения.

— Всякий успех поднимает волну зависти и клеветы. Не следует верить и десятой доле того, что пишут о нас в газетах и журналах.

— О нет, до всего этого мне нет дела. Я говорю только о том, что вижу своими глазами. Об этом городе, что вырос вокруг вас. Обо всех этих передвижных домах, палатках, трайлерах, которых с каждым днем становится все больше. По нашим оценкам, там сейчас скопилось от десяти до двенадцати тысяч человек. А летом наверняка станет вдвое больше.

— Не понимаю, что вас тревожит, шериф. В Таборе — так

мы называем этот самодельный городок — живут самые мирные и набожные люди. В большинстве — беднота, у которой не хватает денег купить место в Архиве. Они слушают по местному радио проповеди отца Аверьяна, молятся, читают наши брошюры, пытаются честно подработать то тем, то этим.

— Тревожит, мистер Фанцони, очень тревожит. Разноплеменная толпа, без своего места, без работы, без корней — это всегда пороховая бочка. И не так уж безмятежно обстоят дела в этом вашем Таборе. Случались уже и драки, и грабежи. Была попытка поджога. Самый распространенный заработок: прицепиться к кому-нибудь из паломников в качестве свидетеля и за деньги подтвердить все байки, которыми тот захочет разукрасить себя в своем жизнеописании.

— Мы боремся с этим. В каждой проповеди отец Аверьян обязательно упоминает об опасности лжесвидетельства. Но мы не можем запретить паломникам приводить свидетелями, кого они пожелают. По нашим верованиям, отделять правду от лжи будут на Страшном суде — не раньше. Нам — самим, здесь, сейчас — это не по силам.

— Проповеди плохо помогают. Я говорил с некоторыми из таборян. Они верят, что лучше предстать на Страшном суде свидетелем, чем не попасть туда вовсе или попасть слишком поздно.

— Честно сказать, нам сейчас больше досаждает другое их увлечение. Они нашли в горах тропинку, по которой попадают к объездной дороге. О, не делают ничего плохого. Просто стоят на коленях вдоль обочины и молятся. Если проезжает машина в сторону Архива, молча протягивают какую-нибудь записку или средний палец со свежим надрезом и каплей крови. Но на наших служащих это действует угнетающе. Нельзя ли как-нибудь перекрыть тропинку?

— Перекроете эту — они найдут другую. Во всем Нью-Хэмпшире вы не наберете достаточно полицейских, чтобы перекрыть тропинки в горах. А всякие таблички — "частная собственность!", "штраф за вход без разрешения!" — на них не подействуют. Повторяю: число таборян будет расти и сохранять порядок там будет все труднее. Не говоря уже о том, что ни школ, ни врачей в нашем графстве уже сейчас не хватает на такую толпу.

— Нам говорили, что Архив и приток паломников увеличили доходы графства вдвое.

— Паломники — да, но не эта голытьба. Они занимают все площадки, предназначенные для публики, и тысячам обычных туристов просто негде приткнуться. Они едут дальше — в Вермонт, Массачусетс, Канаду. Раньше туризм приносил штату гораздо больше.

— Сейчас мы обсуждаем возможность временно снизить цены на место в Архиве — специально для бедных. Если мы продадим, скажем, пять тысяч мест этим несчастным хотя бы за полцены, население Табора уменьшится вдвое. Устроим, так сказать, летнюю распродажу.

— Да на такую распродажу сюда слетятся десять тысяч новых! Боже вас упаси. Этого нельзя делать ни в коем случае.

— Так или иначе, мы обсуждаем эти проблемы и будем принимать меры.

— Держите нас в курсе. И если что-то новое от похитителей — немедленно звоните. Мы оповестили полицию соседних штатов. Наблюдение ведется на всех дорогах и в аэропортах. Надеюсь, миссис Тасконти будет освобождена в ближайшее время. Но вот Табор, Табор... Поверьте, это более серьезное дело. И что здесь предпринять — я не знаю.

Шериф надел фуражку, поклонился, двинулся к выходу. Умберто проводил его до дверей, потом вернулся к столу, сразу направился к Цимкеру, зашел сзади, обнял за плечи.

— Я все понимаю, Аарон, все знаю... Но вы слышали, что сказал полицейский? Это запрещено категорически... Мы не можем себе позволить ссориться с законом. Все наши враги только того и ждут... Да и не смог бы я собрать три миллиона наличными за такой короткий срок.

— Сильвана... Она верой и правдой служила вам десять лет. Среди всех ваших миллионов не найдется доллара, в который она не вложила бы свой труд. И теперь вы готовы бросить ее?.. Оставить в руках этой банды?..

— Кто сказал — "оставить"? Мы будем вести переговоры, тянуть время, обещать, заманивать... Вы же знаете: у нас много всяких ходов и трюков в запасе... Они еще пожалеют, что связались с нами, мы им не по зубам. Вспомните свою историю. Вы уже с жизнью прощались, когда Макс вас выцарапал. Верно я говорю, Макс, старина?

— Главное, чтобы полиция нам не помешала в последний момент. У американской полиции первая забота теперь — не оцарапать, не дай Бог, преступника. Но боюсь, без них нам не выйти на след. Очень большая страна.

Цимкер попытался подняться, но Умберто держал его цепко, сыпал словами, склонившись к уху — "терпение... выдержка... мы переживаем не меньше вас... все возможное и невозможное... вы не знаете еще, сколько у нас козырей в запасе..."

— Лейда, Джина! — крикнул Цимкер. — Вы-то что молчите? Неужели и вы? Неужели дадите ему сыграть и в эту рулетку?

Джина откатила свое кресло от стола, подъехала к Цимкеру, взяла его изуродованную руку, положила на свой протез.

— Аарон, поймите... Вы не можете сказать, что я не знаю, каково сейчас Сильване, не пережила, не имею представления, что это за люди. Но и я скажу: Умберто прав. Уплатить выкуп — это навлечь на себя всех гангстеров Америки. Объявить себя легкой добычей. Сидящей уткой. Вы же израильтянин — вам ли не понять? Никаких уступок шантажу, никаких переговоров с террористами — это единственный путь, единственное спасение. Они должны знать, что соваться к нам, — это все равно, что соваться через Иордан. На верную смерть.

— Если бы я был здесь, с нею...

— Но вас не было с нею! — с непонятным торжеством воскликнул Умберто, вдруг отпуская его, отходя к своему креслу, падая в него, задирая ноги на стол. — С ней был совсем другой мужчина. Молодой. Веселый. По-американски беспечный — на нем не было даже "роланда". Как показало вскрытие — сильно пьяный. Так что я вообще не понимаю, на каком основании вы так активно пытаетесь вмешаться в это дело.

— О, этот ваш прием я уже знаю. Ударить по больному месту, вывести противника из себя, выбить из игры, сорвать очередной куш, а там — пусть на Страшном суде решают, по правилам выиграно или нет. Но не воображайте себя неуязвимым. У меня тоже есть кое-что в запасе... Я тоже кое-чему от вас научился.

— Интересно будет послушать.

— Если вы к завтрашнему утру не соберете выкуп...

— Заранее говорю: не соберу.

— ...если не вручите его мне и не пошлете меня уплатить бандитам...

— Вам мало было одной встречи с ними?

— ...причем без всяких трюков, без засад, без Макса и его ребят со снайперскими винтовками где-нибудь невдалеке...

— Ну уж, телевизионные боевики мы копировать не будем.

— ...то я тут же отправлюсь к отцу Аверьяну и расскажу ему в деталях, кто и как "ниспослал" ему меня в Париже.

В кабинете стало тихо. Джина медленно отъехала на свое место, потянулась за сигаретами. Лейда подтолкнула их ей, чиркнула зажигалкой. Умберто откинулся вместе с креслом, запустил обе пятерни в свесившиеся пышные волосы, провел несколько раз, как гребнем. Потом качнулся вперед, упал грудью на стол и сказал, почти прижавшись лицом к телефону:

— Отец Аверьян, вы слышали, какой оборот приняло наше совещание. Боюсь, дальше нам не продвинуться без вашей помощи.

Трубка негромко зашипела. Потом раздался смущенный голос священника.

— Да, конечно. Я сейчас приду... Я давно уже собирался... как только ушел полицейский...

Умберто и Цимкер просидели почти неподвижно — взгляд во взгляд, глаза в глаза — те три минуты, что понадобились отцу Аверьяну на дорогу от одного крыла здания до другого.

— Не делайте этого, Аарон, — тихо попросила Джина.

— Молчи, маловерка, — сказал Умберто. — Рано или поздно он все равно проболтался бы. Пусть уж лучше сейчас.

Цимкер с грохотом отодвинул кресло, встал. Пошел навстречу отцу Аверьяну и, обрывая его улыбки, приветствия, соболезнования — "я так рад вас видеть снова... но при столь печальных обстоятельствах... будем надеяться на лучшее..." - сказал грубо и с вызовом:

— Да-да, это правда. Я давно хотел перед вами повиниться, это тяготило меня изрядно... — Он в последний раз оглянулся на Умберто, увидел презрительную гримасу на его лице, брезгливо-надменный изгиб рта... — Когда я приехал к вам тогда в Париже... Мой костюм... Каким-то образом мистер Фанцони узнал, как выглядел посланец в вашем видении... Это он устроил весь маскарад, заставил меня одеться таким образом... Тогда я не понимал, но теперь вижу... Все было

подстроено, чтобы убедить вас, заманить, подчинить влиянию... Я не смел сознаться вам в этом раньше, но теперь... Я хочу, чтобы вы знали, что это за человек, с кем вас связала судьба...

Отец Аверьян обвел изумленным взглядом понурые затылки сидевших за столом. Умберто встал, отошел к окну, начал выбивать ногтями на стекле какой-то невеселый марш. Джина подтянула плед так высоко, словно хотела нырнуть под него с головой. Рука, священника растерянно скользнула по черному шелку рясы, нащупала крест, подержала его. Потом легла на плечо Цимкера.

— Мне не доводилось еще говорить с вами о вере... Наверно, мы верим по-разному. Но вы же знаете из книги Бытия, что о чуде рождения Исаака Господь возвестил Аврааму, послав трех мужей... А фараона предостерегал, требовал отпустить народ ваш, не держать в плену — через кого? Даже не через Моисея, а через брата его, вашего тезку. Я к тому это говорю, что посланники Божии в человеческом облике — не редкость... Они могут быть кем угодно... Даже юродивыми, как это часто случалось в России...

Он незаметно для себя начал впадать в тон и ритм проповеди, но голос звучал мягко, без обычных звенящих нот.

— И если Господь считал мою веру недостаточно крепкой, если решил подкрепить достоверность сообщенного вами несколькими штрихами костюма, внешнего облика, — почему он не мог воспользоваться маленькой хитростью синьора Умберто? О, ирония Господня бывает непредсказуема и очаровательна. Он может избрать своим орудием кого угодно. И человек будет воображать, что он лишь ловко обделывает свои делишки, не догадываясь ни о конечной цели своей мышиной возни, ни об источнике удач, выпадающих ему. И тем не менее, фальшивки здесь невозможны. Ибо главной верительной печатью остается всегда неожиданная вспышка счастья в груди того, к кому обращено послание. Или отсутствие ее. Именно благодаря этому я могу с такой уверенностью сказать: тогда в Париже вы были посланником. Сейчас — говорите от себя.

Умберто с облегчением вздохнул, быстро отошел от окна, опустился на колени перед отцом Аверьяном, прижал к губам его руку. Тот продолжал вглядываться в лицо Цимкера, все не отпускал от себя.

— Я знаю, что вы жили в греховной связи с похищенной, понимаю, как вам тяжело сейчас. Особенно тяжело потому, что вы не верите в воскресение и во встречу любящих после Страшного суда. Если она погибнет, вы не сможете себе сказать вслед за поэтом: "Покойся, милый прах, до радостного утра". Но я только хочу заверить вас: никогда наша вера не послужит оправданием тому, чтобы мы бросили ее без помощи. Мы не безвольные фаталисты, которым Господь нужен только как оправдание их собственной лени и беспомощности. Прав ли я, синьор Фанцони?

— О, безусловно. Я ведь говорил ему то же самое: мы не будем заниматься ничем другим, пока не освободим Сильвану.

— И он может и должен довериться вам. Потому что более смелого и талантливого ловкача в делах земных ему не найти. — Священник, усмехаясь, поднял Умберто с пола, повел его к столу. — Но должен признаться, друзья мои, слова шерифа сильно разожгли мои тревоги по поводу Табора. Вид этих бедняков, умоляюще протягивающих руки с обочины, действительно надрывает душу. Мы проповедуем счастье воскресения из мертвых, а оно оборачивается отчаянием для тысяч живых.

— Полиция любит сгущать краски, запугивать заранее...

— Но здесь довольно и наших собственных глаз. Может быть, есть теперь какая-то возможность снизить наши расценки? Я понимаю, что давать место в Архиве даром невозможно, но как мечта...

— В этом как раз шериф абсолютно прав: цена — единственный клапан, единственный способ пока отбирать наиболее горячо верующих, давать им место в Архиве в первую очередь. Да и не так уж она высока. Отказавшись от пьянства, от наркотиков, от азартных игр, каждый может накопить года за два-три. А уберите сдерживающий фактор цены — и сюда хлынут миллионы бездельников, для размещения которых не хватит и Нью-Йорка.

— Да-да, все это так. И тем не менее, как только решится судьба похищенной, мы должны будем немедленно собраться и обсудить проблему во всех деталях. Я хочу выслушать ваши советы и соображения и потом обратиться к жителям Табора со специальной проповедью. Кроткие, плачущие, нищие духом, алчущие и жаждущие — все это сказано о

них. И не они ли названы блаженными, не им ли заповедано Царствие Небесное? Мы должны что-то сделать для них.

3

Обиженный песик понуро брел по дороге. Хозяин медленно ехал за ним и умолял вернуться. Песик качал головой и брел дальше. Тогда хозяин показал ему пакет с новыми, по научному рецепту сделанными, специально для собак, фрикадельками. Песик повеселел, прыгнул на сиденье и лизнул хозяина в щеку. Фрикадельки были сочные, упругие, песик с удовольствием ел их из миски, на которой красовалось название фирмы, осчастливившей миллионы собак.

Последнее время Лейда ловила себя на том, что ей стали нравиться телевизионные рекламы. Полуминутный переход, совершавшийся в них от неприятности, неудачи, к полному и блаженному счастью, был похож на маленькую сказку, заражал надеждой. С каким облегчением улыбалась женщина, которую спасли от головной боли таблетки тройного экседрина! Как ликовал обладатель усовершенствованной газонокосилки! Насколько быстрее обошел конкурентов владелец конторы, купивший новый ксерокс! Какие девушки целовали молодого человека, догадавшегося наконец одолеть дурной запах изо рта бесподобным "хлоретом"! Без ровного потока этих счастливых микроисторий зверства боевиков и ужасы последних известий были бы просто непереносимы. Особенно, если к ним добавлялось что-нибудь столь же чудовищное из собственной жизни. Как сегодня. Как эта фотография Сильваны, принесенная полицейским.

Хотя снимок был расплывчатый, черно-белая перепечатка с цветного оригинала, Лейда сразу разглядела на заднем плане витрину кафе и грустящую девицу в старинной башне. Сама она вместе с Олей должна была быть на левой, отрезанной, половине. Сейчас оставалась только ее рука, просунутая под локоть Сильваны.

Коттедж стоял на улице столь тихой, что сброшенная ветром с дерева сухая ветка была здесь крупным событием. В открытое окно тек апрельский, пахнущий тополем воздух. Лейда сидела в кресле-качалке, туповато глядя в экран, почти не понимая хода кино-драмы, а только пытаясь вытолкнуть из сознания фразу, сказанную кем-то из героев в самом начале: "...жизнь подходила к концу".

Каждый раз, мысленно повторяя эту фразу, она ощущала какой-то болезненный отзвук в груди. Герой произнес ее с таким искренним и усталым приятием, что, повторяя ее про себя, она словно бы пыталась через заучивание интонации научиться настрою, чувству, состоянию. Но в то же время и боялась, что это ей удастся и что тем самым простой и короткий выход из ловушки, в которой она жила последние годы, придвинется еще грознее, соблазнительней, неизбежней.

Зазвонил телефон. Извиняющийся голос телефонистки спросил, закончила ли она свой разговор с Хельсинки. Она сказала, что не только с Хельсинки, но вообще ни с кем не говорила сегодня по телефону, что трубки в руки не брала. Потом вспомнила, что это не совсем так. Что приехав домой из Архива, начала было набирать нью-йоркский номер, оставленный ей Эмилем. Но это можно было не считать. На третьей цифре она поняла, что ничего из такого звонка не выйдет, — бросила.

Кинодрама кончилась отъездом героя на Аляску. Начались автогонки. Снаряды на колесах неслись по дуге автодрома к невидимой цели. Голос комментатора переливался всеми оттенками хорошо отработанного самозабвения. Толпа на трибунах вытягивала свою многотысячную шею.

Лейда попыталась думать о том, зачем Эмиль сделал это. Никто в Москве не мог предвидеть, что он встретится с Сильваной, никто не мог приказать ему фотографировать ее, привозить снимки. Это было сделано уже из чистого энтузиазма, сверх программы. Кажется, она проговорилась тогда, что-то рассказала ему тогда о Сильване и об Архиве, когда размякла после домашнего застолья и нежного саксофона. И в то же время он, наверно, не врал, говоря, что презирает пославших его. Местные психиатры, кажется, называют это комплексом заложничества, стокгольмским синдромом. Да она и сама это видела раньше не раз, даже в своих больницах и институтах. Жизнь забрасывала человека в подчинение какому-нибудь бандиту-директору, и человек, скрипя зубами и извиваясь, пытался разыграть независимость единственным оставленным ему путем: с лихвой, с творческими добавлениями перевыполнив бандитские приказы.

"Жизнь подходила к концу..."

Мысли ее неожиданно соскользнули на отца. Может быть,

потому что Игнациус Ригель никогда никаким подобным синдромам не поддавался, ни нацистам, ни большевикам служить не стал. За то и сгинул в лагере. Ей было пять лет, когда его забрали, но память о нем осталась яркой и именно как о чем-то самом надежном, теплом, как о крепком доме, куда можно было укрыться от любой бури и все найти на своих местах. А потом с востока пришла буря такая страшная, что смела дом. И с тех пор, что бы Лейда ни делала, она подсознательно пыталась отстроить этот домик заново. Для себя, для детей, для своих больных. Похоже, что не удалось. Хотя почему же тогда так много людей жаловалось, что она не пускает их внутрь, что все время остается за прочными стенами?

"Жизнь подходила к концу…"

Снова зазвонил телефон. Другая телефонистка тоже начала что-то спрашивать о Хельсинки. Голос был размыт расстоянием, искажен акцентом.

— Мадам Ригель?.. Кто-то пытается звонить вам отсюда из Хельсинки... Я говорю этой леди, чтобы она положила больше денег в автомат... Я говорю ей на трех языках, но она не понимает... Я думаю, она русская… Я думаю, не захотели бы вы оплатить разговор?

— Да, конечно, — рассеянно сказала Лейда. — Я заплачу. Пожалуйста, соедините.

— Але! Але! Мне нужна миссис Ригель. Могу я наконец говорить с миссис Ригель?!

— Да, я слушаю.

— Лейда Игнатьевна, это вы? Это, правда, вы?

— Ну конечно. Кто говорит?

— Ой, я с ума сойду. Это Виктория. Ну, помните, я жила у вас. А потом Илья останавливался у нас в Ленинграде. Ой, это чистое безумие!

— Виктория?! Как ты попала в Хельсинки? Ты получила мое письмо?

— Откуда же я номер бы взяла? Ой, как я рада вас слышать! Я тут со съемочной группой, исторический фильм про вечную дружбу, финны такие смешные, а денег нам почти не дают, я в этот автомат столько уже перекидала, а он, подлец, выплевывает обратно, только не все, а телефонистку я не понимаю...

— Не надо денег, не бросай больше. Говори сколько хочешь, я плачу. Что там с Ильей — ты не знаешь? Я ничего не получаю вот уже три месяца. Его ведь должны были демобилизовать в январе, но до сих пор…

— Я знаю! Я ездила к нему! Два раза уже! Второй раз — как раз перед тем, как ехать в Финляндию.

Лейда вскочила, ринулась за сигаретами, но короткий телефонный шнур не пустил ее, по дуге, как на натянутом поводке, вернул назад. Зачем-то она сорвала со стены фотографию Ильи, поставила перед собой.

— Вы не бойтесь, Лейда Игнатьевна, с ним все хорошо. Он стал такой здоровущий! Честно вам говорю. Он очень здоровый. Только они не демобилизовали его, нет. Оставили на сверхсрочную.

— Этого не может быть. Они обещали. Тут какая-то ошибка. Три года, и потом — все! Они сами мне это сказали.

— Вы не волнуйтесь. На сверхсрочной и кормят лучше, и обмундирование — не в пример. И можно комнату снимать на стороне, не обязательно жить в казарме. Он уже сержант, а скоро может стать прапорщиком. Будет настоящий офицер.

— Нужно что-то делать, Виктория, что-то делать... Так нельзя это оставить... Невозможно…

— Он сам, конечно, расстроен, но виду не подает. Против стенки лбом не попрешь. Особенно у нас. Особенно, если очки на носу или другая какая помеха.

— Я очень прошу тебя, Виктория, очень... Ты должна для меня это сделать... И для Ильи...

— Я — все! все на свете, Лейда Игнатьевна.

— Ты вот что... Ты, как только вернешься в Ленинград, выбери время съездить в Москву. И позвони там одному человеку... Сейчас я тебе скажу телефон, запиши... Павлик, Павел Никифорович... Объясни ему все. Только с глазу на глаз. Может быть, у него есть знакомые в верхах, какие-нибудь связи… Все же он живет в столице. Передай, что я умоляю его добиться демобилизации для Ильи... Мальчик отслужил свое, это против всех их законов… Они должны отпустить...

— Я, конечно, я сразу же... Съезжу и позвоню. Но вы не волнуйтесь, Лейда Игнатьевна. Ему пока неплохо... И не так уж там холодно. А в больших городах сейчас жизнь для маль-

чишек даже опаснее, чем в армии. Хулиганья развелось — просто жуть.

— Передай Павлу Никифоровичу, что всезнайки не отпустили меня... Так и скажи: "всезнайки". Он поймет. Скажи, что они меня замучили совсем. Держат в руках, заставляют делать всякие гадкие дела. А чуть я попробую рыпнуться, грозят отыграться на Илье. Послать его в урановые рудники. Скажи: "Жизнь подходила к концу..." То есть нет, это я уже путаюсь. Просто скажи, что я пропадаю совсем. Что пока Илья у них в руках, мне не жить.

— Лейда Игнатьевна, родненькая, вы не думайте, что я совсем глупая, но я все боюсь, что нас прервут и я не успею сказать, как я вас люблю. Я вас очень люблю, Лейда Игнатьевна.

— Передай, что я помню его, что я совсем одна, но, наверно, не протяну долго. Если все останется, как сейчас, мне не вытянуть. У меня нет больше сил, нет сил, нет сил...

...Потом она сидела перед умолкшим телефоном, перед погасшим телевизором, гладила пальцем рамку фотографии. Илья выходил из парадной их таллинского дома, на ходу натягивая пальто, смеялся. Она увеличила почти все его фотографии, какие удалось вывезти, и время от времени меняла их в рамках, по новому развешивала на стенах. Она жалела, что не было фотографии Павлика.

Она чувствовала, что с каждой минутой в ней нарастает злобная решимость. Пошла в ванную, натянула резиновую шапочку, приняла холодный душ. Теперь в голове звучало уже другое:

"Вы так — и мы так!.. Вы так — и мы так!.."

Завязав пояс халата, издалека — как на врага — пошла к телефону. Записка с оставленным Эмилем номером лежала тут же на тумбочке. Она отсчитала восемь гудков в трубке, бросила ее и продолжала одеваться. Наложила тон, подвела брови. Проверила сумочку — чеки? кредитная карточка? За полчаса она как раз доедет до ресторана, в котором не была почти год. А зря. Даже в Америке немного попадалось ей мест с такими омарами.

Когда полчаса спустя в вестибюле ресторана она набрала второй номер (заполнив датой две последние цифры), трубку на том конце подняли сразу. Она сказала, что звонит по неот-

ложному делу. Что ей было приказано любой ценой удерживаться в Архиве, но теперь это вряд ли возможно. Она не знает, зачем нужно было убивать одного сотрудника и похищать другого. Но знает, что сделано все было топорно. Что даже фотографию Сильваны не сумели отрезать грамотно. Что по оставшейся на снимке руке — ее, Лейды Ригель, руке — ее опознали, и в Архиве назревает скандал. И если похищенную не вернут немедленно, чтобы она могла снять возникшие подозрения, ей не избежать увольнения. А тогда уже полковнику будет в деталях доложено, что послужило тому причиной и как проводилась эта нелепая операция.

Она говорила довольно спокойно, но, видимо, внутреннее напряжение осталось в стискиваемых челюстях. Потому что официант явно опешил и с удивлением вгляделся в лицо дамы, заказывавшей омаров с таким презрением, почти с ненавистью.

ИЮНЬ, ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОСЛЕ ОЗАРЕНИЯ, КАРЕЛИЯ

1

Народу в зале ожидания было немного. Местный поезд уже ушел, до скорого Ленинград—Мурманск оставалось часа три. Илья пристроился на скамье у окна, положил на колено новенький блокнот, достал карандаш.

"Дорогая моя! Вот и до нас добралось лето. Или весна. Во всяком случае, у нас есть настоящая трава, настоящая листва, почти настоящие цветочки. Лед сошел. Солнце греет так, что на мой обгорелый нос никто уже не обращает внимания — он перестал быть редкостью..."

Он знал, что письмо никуда не дойдет, что он, скорее всего, просто порвет его и выбросит, как все предыдущие. Но ему нравилось так коротать время увольнительной. Тем более что теперь каждое воскресенье было окрашено лучиком надежды. Слабым, полуреальным, один шанс из тысячи. Но когда-нибудь этот шанс выпадет, когда-нибудь Виктория вырвется и приедет снова, и он сможет отдать ей письмо из рук в руки. Да и не имел он в виду непременно Викторию. "Дорогая моя" — это было гораздо шире, "дорогая" вообще, не обязательно даже кто-то, кого он знал.

"...Также прилетели новые птицы. Многих из них я не знаю. Не знать имен того, что растет, плавает, бегает, летает вокруг тебя, как-то грустно и неловко. Все равно, что жить в доме, не зная названий того, что висит на стенах, стоит по углам. Никогда не станет родным..."

Какая-то сезонница, замотанная в зеленый платок, села рядом с ним на скамейку. Ватник ее пах скипидаром. Ребенок на руках у старухи, сидевшей напротив, начал жалобно поднывать.

"С птицами труднее всего. Рыб можно взять в руки, на базаре, например, и спросить. Веточку куста или дерева принесешь тете Луше, и она скажет, как называется. На птиц почти всегда смотришь издалека и в одиночку. И слышишь их тоже где-нибудь в лесу — один. Не у кого спросить. Наверно, только тот, кто с детства ходил в лес с отцом и матерью, будет знать местных птиц. А мы, хоть всю жизнь тут прослужим, так и останемся пришельцами, чужаками. Птицы нас не признают".

Ребенок стал плакать громче. Сезонница что-то сказала, не поворачивая головы. Илье почудилось, что она назвала его по имени. Он наклонился, пытаясь заглянуть ей в лицо. Она отвернулась. Но при этом нащупала, не глядя, его руку и вложила в нее какую-то бумажку. Потом встала и быстро пошла из зала.

Илья удивленно посмотрел ей вслед. Разгладил бумажный комочек. Ряды букв ломались и скакали, как охваченная паникой очередь.

"Ильюша, не беги за мной сразу. Не надо, чтобы нас видели сегодня вместе. Приходи на то место на холмике, где мы сидели в первый раз. Я тоже туда приду. В."

Сначала ему стало стыдно, что он не узнал ее. Потом стыд сменился досадой, почти злобой на то, что она всегда появлялась так неожиданно и своевольно. Что он не мог ни приблизить ее появление, ни отдалить, ни хотя бы подготовиться. И только потом радостная волна прошла по груди, плеснула в горле. Но все же его хватило на то, чтобы продержать себя на скамье еще минут пять и только потом не спеша подняться, запихнуть блокнот в карман, поправить пилотку, двинуться к выходу на привокзальную площадь.

По городу он шел быстро и озабоченно — как бы по делу.

Кивал знакомым, козырял попадавшимся навстречу офицерам.

Лишь на большаке припустил бегом.

Но когда взлетел по склону холма, увидел, что место их занято.

В кустистой низинке, невидимая с дороги, стояла палатка. Грузный бородач в штормовке и резиновых сапогах сидел перед ней на корточках, разжигал бензиновый примус. Он улыбнулся, призывно помахал рукой.

Илья застыл в растерянности.

Сзади захрустел прошлогодний черничник.

Виктория подошла без улыбки, притянула за шею, осторожно поцеловала в щеку. Потом за руку повела вниз к палатке.

— Познакомься. Это Павел Никифорович. Близкий мамин друг. Твоей, конечно, мамы, не моей.

— Мы немного знакомы, — сказал Павлик. — Говорили несколько раз по телефону.

— Да, — рассеянно откликнулся Илья. — Я припоминаю.

— Ильюша, мы должны тебе кое-что рассказать. Очень важное. Сядь вон туда. Я недавно ездила от студии в Финляндию. И оттуда дозвонилась до Лейды Игнатьевны... Да-да, прямо в Америку... Да, я знаю, что я молодец... Но ты не представляешь, что ей приходится выносить ради тебя... Теперь стало ясно, почему тебя здесь держат... Почему переписку не разрешают, в отпуск не отпускают, а теперь вот не демобилизовали...

Илья слушал и постепенно ему начинало казаться, что какая-то веревка опутывает его виток за витком, туже и туже. Или скорее так: он приходит в себя после какой-то аварии и понемногу начинает пробовать руки и ноги — работают или нет — и обнаруживает, что спеленут тысячью повязок, что все, что ему осталось: поднимать и опускать веки, дышать, шевелить мизинцем, торчащим из гипса. Они говорили по очереди, иногда поправляли друг друга, но все поправки и уточнения сводились к тому, чтобы не дать ему увлечься какой-нибудь обнадеживающей химерой, не пропустить и капли света в глухую, убийственную черноту. Лишь в конце Павлик обронил что-то несуразное, чего он не мог поначалу даже понять.

— Как это уйти? Куда?

— Я думаю, другого выхода нет. Тебе надо уйти отсюда. Уйти за границу.

— По морю что ли? По воздуху?

— По земле. По травке, по камушкам, по кусточкам, по лесочкам. До финской границы я тебя доведу.

— Но Финляндия выдает!

— А ты и там не показывайся. Иди себе и иди, пока не придешь к шведам. Шведы хорошие люди. Москвы не боятся, беглецов прячут.

— Не знаю... Это какое-то безумие... Никто еще так не убегал... Надо все обдумать... Чистая авантюра...

— В том-то и беда, что на "думать" у тебя времени нет... Минут десять разве. Или пятнадцать. Зато у нас с Викторией времени было много. Не один вечер мы просидели. С циркулем и линейкой, по карте, все шансы подсчитывали. И вышло не так уж плохо. Я бы сказал: пятьдесят из ста.

— Это правда, Ильюша. Я тоже сначала не верила. Но Павел Никифорович и в одиночку через тайгу ходил. По двести километров и даже зимой. Он все умеет, всему тебя научит.

Павлик развернул карту, придвинулся ближе.

— Смотри. Через полтора часа приходит поезд. Мы садимся в него. Ты, конечно, переодеваешься в гражданское — там в палатке все припасено. Едем на север до Мончегорска. Вот билеты. Оттуда — пешком на запад. У Верхнетуломского водохранилища попробуем найти лодку. Если нет — обойдем по земле. А дальше, между двумя речушками там небольшая возвышенность — по ней и потопаем. Места такие глухие, что и захочешь человека встретить — не найдешь. А нам-то это вообще ни к чему. Так незаметно до границы и доползем. Думаю, дней за восемь.

— А если поймают?

— Судить будут. Тебя — за дезертирство, меня — за сообщничество. И не известно еще, кто больше получит.

Павлик всмотрелся в его растерянное лицо, взял за плечи.

— Предприятие, конечно, рискованное. Скажем, как удаление опухоли. Но без этого ваши дела и вовсе швах. Либо они маму твою до смерти затравят, либо тебя на уран пошлют. Причем одно не исключает другое. А так есть шанс на выздоровление. Но последний. Потому что я больше приехать не смогу. И эти три недели с трудом на работе выпросил. Хорошо, они мне два месяца отпуска задолжали. Так что надо решать. И сразу.

Илья задумчиво потер корочку засохшей крови на пальце. Царапина была свежей — болела. Вчера он неосторожно дернул скобу карниза, который прилаживал над окном. Зато плотная занавеска, повешенная им, впервые отрезала белесое ночное небо, дала им выспаться нормально. Они с Колей Чешихиным жили теперь не в общей казарме, а в отдельном домике для сверхсрочников, в своей комнате. У них была электроплитка, будильник, приемник "Сельга", репродукция с картины "Княжна Тараканова", по две подушки и по два матраса на каждой кровати, полка с книгами, настольная лампа с абажуром. Уборная стояла во дворе, но очень близко от дома, и у них был фонарик, чтобы зимой освещать тропинку. Им платили небольшую зарплату, а кормили и обмундировывали бесплатно. Начальство относилось к ним уважительно и часто посылало их на самые трудные и серьезные поломки, случавшиеся на батареях. Им не надо было участвовать в строевой подготовке или в занятиях на штурмовой полосе, где несчастные первогодки, извиваясь, ползли под низко натянутой проволокой, а потом карабкались на досчатые стены препятствий. Они поднялись на несколько ступенек вверх по лестнице чинов и со временем имели шанс подняться еще выше. В сущности, это была налаженная, спокойная жизнь, в которой все было расписано, предусмотрено, определено цепью приказов и правил. Расстаться с ней было очень страшно.

Илья медленно начал расстегивать пуговицы гимнастерки. Павлик глубоко вздохнул, похлопал его по спине. Полез в палатку за мешком с одеждой.

— Главное, чтобы сапоги были впору. Мы не знали твоего размера... Я на всякий случай захватил две пары... Можно накрутить побольше портянок... Ты, небось, с портянками теперь умеешь обращаться...

Виктория помогла ему натянуть свитер, штормовку, застегнула ремень.

— Хорошо, что волосы у тебя уже отрасли. В поезде никто не подумает... Геолог как геолог... Или турист... Главное, чтобы по дороге на станцию никто не узнал тебя... Ты капюшон натяни вот так, пониже...

— Ничего, сейчас в клубе концерт. Солдаты все там собра-

лись. На улицах вряд ли кого-нибудь встретим.

Все трое старались теперь говорить вполголоса, почти шепотом. Павлик быстро и умело укладывал снаряжение обратно в рюкзаки, скатывал спальники, палатку.

— Ильюша, я на станцию с вами не пойду... У меня семья, ответственность — нельзя с преступными элементами показываться... Ну, вот. Но ты не волнуйся. Я уверена, что все пройдет хорошо. Вы справитесь, дойдете. Павел Никифорович, не смотрите на часы. И на нас не смотрите. Мы только попрощаемся, и вы пойдете...

— Я ничего... Минут пять еще есть... Я вот форму его пока заберу, зарою в сторонке...

— Я, конечно, надеялась немножко, что ты испугаешься, не станешь уходить.. Но это потому, что эгоистка. Только о себе думаю. А уходить тебе надо. Все равно хуже не будет. И потом, я все больше и больше в судьбу верю... Ничего у нее не бывает н а в с е г д а . Это так только кажется, что ты уйдешь сейчас, и все кончится... Вовсе не обязательно. Может, и меня выпустят поехать. Анкета у меня замечательная. Пустили же в Финляндию... А может, и тебя обратно каким-то ветром занесет... А может быть и, не дай Бог, поймают вас... Тогда я в тюрьму к тебе приду.

— Никто нас не поймает, — сказал Павлик. — Руки коротки. Недели через две я вернусь — позвоню, передам привет.

Он подбросил рюкзак на спину Илье, помог накинуть лямки на плечи. Потом отвернулся, давая им поцеловаться в последний раз. Потом посмотрел на часы и начал мягко, но решительно оттаскивать их друг от друга.

Виктория села на землю, обхватила колени и стала смотреть им в спины. Горбы рюкзаков колыхались, скрывая головы уходивших.

2

Илья никогда не думал, что земля под ногой может быть так многообразна и коварна. Моховая подстилка могла притвориться прочной ковровой дорожкой и вдруг, без всякого предупреждения, превращалась в зыбкую хлябь. Поросшие осокой кочки неожиданно вырастали до колена, делались жесткими, как валуны, больно толкались. Мелкий валежник подстраивал западни и ловушки, россыпи упрятанных под травой

камней пытались вывернуть щиколотку. Редко-редко попадалась полоска плотного песка, на которой ноги получали недолгий отдых. Потом снова шли кочки, мох, валуны, валежник, переплетенные северным бездорожьем в бесконечное число непредсказуемых сочетаний.

На третий день Илья почувствовал колющую боль в подошве. Сначала он пытался терпеть, но Павлик заметил его хромоту, накричал, заставил разуться, проколол вздувшийся волдырь, забинтовал.

— У тебя нет сейчас другого транспорта, кроме собственного тела — запомни. Это единственная машина, на которую ты можешь рассчитывать. Люби его, заботься, откликайся сразу на всякую жалобу. Не вздумай насиловать — отомстит страшно.

Послушный ученик кивал, мотал на ус, не позволял вслух признаться, что "не насиловать" — это значило бы остаться лежать на весь день в палатке, пощадить нестерпимо ноющие по утрам мышцы. Ему казалось, что этот грузный человек никогда не сможет понять его, — так легко и бодро выскакивал он из спальника, сбегал к ручью за водой, растирался, рубил сухостой для костерка, готовил завтрак, а потом неутомимо шел и шел впереди, останавливаясь лишь для того, чтобы свериться с компасом или подождать поотставшего Илью. В движении было особенно заметно, насколько он сильнее своего веса, насколько не обременен им, с какой легкостью может присесть, перепрыгнуть через яму, нагнуться до земли, не снимая рюкзака. Но в то же время была в его движениях и осторожность, и бережность, и охранная заботливость о себе — заботливость, которой он пытался заразить Илью с самого начала похода.

Они старались по возможности не оставлять следов. Заваливали прошлогодней листвой примятую спальниками траву. Костер позволяли себе разводить не на каждой стоянке, ждали полосы тумана. Перед уходом закапывали остатки золы, укрывали сверху мхом. Случайно оброненные бумажки, окурки, консервные банки, остатки чайной заварки — все это тоже тщательно сгребалось в ямку вместе с углями. Потом неиспользованный кипяток сохраняли в термосе до следующего привала. Запасы старались экономить. У Павлика в рюкзаке была припасена спининговая катушка и несколько блесен, и однажды утром Илья, проснувшись, увидел, что тот си-

дит гордый и довольный у ручья и разделывает двухкилограммового лосося. Но хранить его было негде, пришлось наедаться, не откладывая на будущее, и вкус вареной рыбы остался во рту надолго.

К вечеру четвертого дня они разбили палатку на берегу большого озера. Они надеялись, что это то самое водохранилище, которое они искали. Ночью похолодало, с открытой воды задул сырой ветер. Илья был так измотан переходом, что едва смог кинуть под спальник несколько пучков сухой осоки. Видимо, этого было недостаточно — земля внизу была слишком влажна. Он проснулся от ощущения леденящей сырости. Днем начался озноб. Павлик заставил его лечь в освещенной солнцем прогалине, сам куда-то ушел. Было хорошо лежать там в полузабытьи, следить за полетом чаек, упиваться чувством поражения, беспомощности, невиноватости. Да, он старался, он сделал все, что было в его силах. Теперь с этим покончено, можно больше не напрягаться, не мучить себя. Пусть другие делают с ним, что хотят.

Павлик вернулся к вечеру, взвалил на плечи его рюкзак, заставил подняться, повел вниз. В камышах темнела лодка. Илья забрел в воду, переполз животом через борт, лег на корме. Павлик навалил на него оба спальника и одеяло, взялся за весла. Озноб не проходил. Розовая рябь пошла в стороны от бортов, стало больно глазам. Гигантская малиновая монета вдали медленно протискивалась в невидимую щель. Вечерние птицы с криками разлетались на ночлег.

Когда он проснулся, было опять светло. Скрипели расхлябанные уключины. Прибрежный лесок толчками уходил влево. Сил хватало только на вдох, потом — на выдох. Болело в висках.

— Ну как, солдат? Отоспался?

Голос у Павлика был хрипловатый и сдавленный. Неужели греб всю ночь?

— Я ничего... Озноб, кажется, кончился. Еще немножко отдохну, потом подменю вас...

— Лежи уж, подменщик.

— А откуда лодка? Мы украли ее?

— Считай, одолжили.

— Долго еще плыть?

Не знаю. Но все равно такую погоду лучше переждать. Слишком заметно.

Он повернул лодку в гущу прибрежного камыша. Орудуя веслом, как шестом, загнал ее до упора, потом вылез в воду — лодка облегченно хлюпнула, поднялась — и он руками протащил ее еще дальше.

День они провели в еловой поросли, то впадая в сонное забытье, то просыпаясь ненадолго, подставляя жиденькому солнцу то спину, то бок, почти не разговаривая, бездумно глазея в небо. К вечеру оба почувствовали себя настолько окрепшими и отоспавшимися, что решили даже заняться туалетом. Илья избавился от многодневной щетины. Павлик спустился к воде, кое-как раздвинув камыши, выстирал пропитанную потом рубашку.

Отплыли в сумерках. Для весел Илья еще слабоват, но вырванное сиденье держал под мышкой крепко и рулил им довольно уверенно. Белая ночь пронизывала висевший над водой туман, света вполне хватало на то, чтобы разглядеть стрелку компаса. Капюшон штормовки делал Павлика похожим на монаха, без устали кладущего мерные, размашистые поклоны. Под утро на волочившуюся за кормой блесну попались один за другим двое щурят. Они отпраздновали высадку на западный берег водохранилища шикарным завтраком: уха, две шоколадные конфеты, горсть прошлогодней клюквы, собранной на лесной болотине.

— Теперь смотри сюда, — говорил Павлик. — Карта, конечно, слишком крупная, курам на смех, но ведь других не достать. Мы сейчас примерно здесь. Видишь эти две речки? Между ними должен быть какой-то хребет, водораздел. Он идет на запад до самой границы. Его и надо держаться. Если мы потеряемся или со мной что случится, помни одно: держаться хребта и следить, чтобы солнце было слева. Если выйдешь к какой-нибудь реке, значит сбился с пути: поворачивай назад.

Что поражало Илью больше всего — бесконечность незанятой человеком земли. Только в самом начале, вблизи Мончегорска попались на их пути две полузаброшенные деревеньки. Дальше все было только мох, тундра, мелколесье, ручьи и озера, щемящая сердце пустота.

Он чувствовал себя почти здоровым, но Павлик, не слушая его протестов, переложил часть поклажи в свой рюкзак. После озера земля стала плотнее, нога легче находила твердую

опору. Илья издали научился замечать осыпи мелких камней, заранее обходить их стороной.

Однажды во время дневного перехода они услышали далекий шум мотора. Шедший впереди Павлик остановился, махнул Илье рукой. Они поспешно скатились вниз, укрылись в мелком березняке. Вертолет мелькнул в просвете между холмами, ушел дальше на север. В другой раз они услышали шум слишком поздно. Все, что им оставалось: упасть тут же на землю, вжаться в кочки, ждать с колотящимся сердцем. Вертолет вылетел из-за гребня, прошел прямо над ними, и они лежали, не смея поднять головы, вслушиваясь в оттенки рева, ожидая, что вот-вот он начнет нарастать снова, возвращаться.

Нет, пронесло и на этот раз.

Но с тех пор они стали осторожнее, старались идти по самой опушке березняка. Они не представляли, как далеко им еще идти, но вертолеты были явно военные, и они думали, что граница близко.

Шторм подкрался незаметно, под видом мелкой мороси, разрозненных облачков. Потом словно гигантская черная штора надвинулась с севера через все небо. Струи дождя, выносимые из-под нее сильным ветром, летели почти горизонтально, далеко обгоняя саму тучу. Стало трудно дышать. Вода хлестала по глазам. Они упрямо пытались брести вперед, пока видели землю под ногой. Когда исчезла и она, Павлик ухватил Илью за лямку рюкзака, повел вниз. В углублении за большим валуном они стали разбивать палатку, пуская в дело все веревки, какие у них были, цепляя их за корневища и стволы карликовых берез, стлавшихся под ветром. Колья с трудом входили в каменистую почву. Вода успела пробраться под одежду во многих местах, прежде чем они заползли внутрь, скрючились в тесном мраке двухместки.

Ночью проснулись от звуков пальбы. Верхний шов палатки лопнул под напором ветра, и угол полотнища нещадно хлестал себя, издавая оглушительный треск. О том, чтобы снова заснуть, не могло быть и речи. Они лежали, сглатывая голодную слюну, коченея в мокрой одежде, теряя силы от вынужденной неподвижности.

Шторм продержал их в палатке весь следующий день и еще одну ночь. Потом ветер начал слабеть, небо чуть просветлело.

Они кое-как свернули отяжелевшую мокрую парусину, съели остатки размякших в рюкзаке галет, двинулись дальше. К вечеру проглянуло солнце. Пар от их одежды мешался с паром, идущим от земли. Хуже всего было то, что вода пробралась до карты, и та расползлась под пальцами. У них остался только компас и школьный "Атлас мира".

Они подолгу разговаривали теперь на привалах, и рассказы обоих делались все откровеннее. Приближающийся момент расставания, расставания навсегда, развязывал языки. Вкусы их расходились почти во всем, но тяжкую обязанность культурного человека — выслушивать бред собеседника — они, скрепя сердце, выполняли, отыгрываясь потом язвительностью и сарказмом. Про птиц Павлик тоже почти ничего не знал, зато про камни — о, тут его было не унять. Часто заговаривали и о женщинах. И здесь, осторожничая и заметая следы, каждый исподволь, по кусочкам выколупывал из другого ответ на самый жгучий вопрос: для Ильи — правда ли, что влюбляются не только в двадцать лет, что все это продолжается так долго, что есть жизнь и после сорока?; для Павлика — о чем говорила, чего хотела, кого любила, о чем мечтала, вообще, какой была женщина по имени Лейда Ригель?

3

Изгородь выползала из перелеска, тянулась через поляну, исчезала за гребнем холма. Жерди были старые, побуревшие, косо, на поморский манер, набитые на столбики-колья. Полоса голой земли шириной метров пять послушно следовала всем извивам ограды. Из размытых дождем, давно не обновлявшихся борозд пробивались пучки молодой травы.

Павлик толкнул в бок лежавшего рядом Илью, заглянул в его обросшее щетиной лицо, нерешительно хохотнул.

— Дошли что ли? Хочешь жмурься, хочешь щипай себя, но вот она — змея долгожданная! Небось и не верил уже?.. Я и сам, честно сказать, начал бояться, что сбились. По моим расчетам, выходило, что еще позавчера должны были выйти,

Илья не улыбался в ответ, молчал, смотрел серьезно, почти испуганно.

— Теперь главное — не распускаться. У них много всяких фокусов в запасе. Могут мину где-нибудь подложить. Или сигнальный провод натянуть. А то еще, я слышал: распаха-

ют вот так контрольную полосу, а настоящая граница на три колометра дальше. Человек перейдет, сядет, дурачок, отдыхать или праздновать — все, думает, свобода, безопасность! Тут они его и царап. Я, пожалуй, с тобой перейду. Досмотрю, чтобы уж наверняка.

— Может быть, выдернуть несколько жердей и положить через вспаханное? Чтобы следов не осталось.

— Прогнутся до песка, отпечатаются. Да и лишнее это. Не каждый же день они здесь проходят проверять. Ведь глушь — ни души. Я первым пойду, а ты просто ступай за мной след в след. Потом вернусь, перейду назад. Получится один след туда, тот же самый — обратно. Заблудился человек, забрел куда не следует, потом вернулся. Ну что — двинули? Пешком — за границу.

Он первым перелез через изгородь, ступил на размытые борозды. На рыхлом песке каждый отпечаток оставлял все рубчики подошвы. Попасть в них точно, не разрушив рисунка, было невозможно. Трюк явно не проходил, но Илья честно старался. Лесной сумрак глядел в спину тысячью невидимых глаз.

Он оперся на протянутую Павликом руку, вспрыгнул на жесткий дерн.

Ничего не случилось.

Корявые березки, стланник, трава так же тихо шелестели по обе стороны полосы, словно насмехаясь, сбивая с толку своей похожестью, неразделимостью, неучастием в людских разгораживаниях.

— Не расслабляться, — скомандовал Павлик. — Марш.

Они двинулись дальше на запад. Шли полчаса, час. Камни под ногой были так же коварны, небо — так же бесцветно, кочки — так же упруги и жестки, мох — так же мягок и пестр. В начале второго часа шедший впереди Павлик вдруг остановился на возвышении, снял рюкзак, сел на землю. Подошедший Илья проследил за направлением его указующего пальца и увидел в низине цепочку телефонных столбов: тонких, выкрашенных в зеленый цвет, с жестяным колпачком наверху. В России таких столбов они не видали.

— Ну что — теперь уж точно. Заграница, самая пересамая... Ты первый раз? И я тоже. Ничего особенно, скажу тебе... Ладно, нечего. Давай-ка вываливай все из рюкзака — будем делиться... Палатку я забираю с собой. Тебе только лишний вес, хватит и спальника... Вот здесь остатки риса, две банки тушенки, пакет вермишели, соль, чай — это все тебе... Мне хватит, не бойся. Только на три дня, а там я прятаться перестану, выйду к жилью, разживусь. Да и спининг у меня, тоже что-нибудь добуду. А тебе, может, еще столько же придется идти, не показываясь... Аспирин, антибиотики, йод... Это от живота, это от нарывов — все держи в полиэтилене... Клюквой не объедайся, может развезти. О, гляди — еще сухофрукты на дне завалялись... Забирай, не спорь... А здесь, в конверте, — тебе от Виктории. Финские марки — все, что у нее оставалось после поездки. Их, наверно, и в Швеции можно будет обменять, там пригодятся...

Чем больше он суетился, чем сильнее напускал на себя озабоченность и деловитость, тем труднее ему было скрыть за ними распиравшее его ликование. Илья же был словно в трансе: все исполнял с послушностью и аккуратностью автомата, равнодушно опускал в рюкзак протягиваемые ему припасы. Потом вдруг выронил моток веревки, встал, шагнул вперед, задев зазвеневший чайник, обхватил Павлика руками, зарылся лицом в штормовку.

Тот умолк на полуслове, уставился в белый воронкообразный просвет на солдатском затылке.

— Ого, ты вот как... Ну, ты ничего теперь, ты ведь молодец... Вон как протопал... Всему научился быстро. Не бойся ничего, дойдешь и один. Если напорешься случайно на финнов, говори только по-английски. Что, мол, турист-любитель, сбился с дороги... Они привыкли ко всяким чудакам-бродягам, поверят. А ты иди себе и иди. Атлас все же тебе поможет. Главные-то реки на нем обозначены. Рано или поздно дойдешь вот сюда: Муонио, пограничная со Швецией река. Один из трех городков: Каресуандо, Муонио или Колари. В каждом из них — паром. Никаких документов не спрашивают, плату берут только за автомобиль. А ты пешеход, тебе много не надо. Зашел на паром и через двадцать минут — в Швеции...

Илья понемногу успокаивался, выходил из транса. Смотрел осмысленно, кивал, улыбался.

— А из Стокгольма пошли мне открытку. Без текста, без подписи... Нарисуй рожицу какую-нибудь — я пойму. Я этой открытки, знаешь, как буду ждать? Как конца заезда на ипподроме. Такого заезда, на который все деньги поставил. Я на тебя очень много ставлю, Илья. Если ты дойдешь, это

мне до конца дней будет — ого!.. Из такой бульдожьей хватки парня вырвать! Ну и для мамы твоей... Ей передай, что я тоже... все эти годы... Не могу ее забыть. Что желаю ей счастья такого... такого, как она мне дала... Только не такого короткого, а надолго... Передай, что след в душе такой глубокий...

Еще не успев понять, откуда приплыло надсадное жужжание, оба дружно повалились на землю.

Биплан шел низко над кромкой леса.

Приближался или удалялся?

Во всяком случае, было до него не больше километра. Вполне мог заметить.

— Если это финский, могут вызвать патруль, — сказал Павлик.

— Нет, это наш. В береговой охране — я видел — точно на таких летают.

Биплан, словно подтверждая, накренил крылья, скользнул на восток, исчез за лесом.

— Да, тогда мне лучше не мешкать.

Они поспешно закончили упаковку, подобрали и зарыли весь мелкий мусор, затянули поистершиеся и выцветшие завязки штормовок Рюкзаки были все еще достаточно тяжелы, сильно перегибали их вперед, так что обняться как следует не удалось. Они просто подержали друг друга за плечи, улыбнулись в последний раз, пошли в разные стороны.

Расставание вышло таким поспешным и скомканным, что Илья как-то не воспринял его всерьез. Он бодро спустился в низинку, прошел под телефонными проводами, мимо диковинных столбов, поднялся на следующий холм, перевалил через него и оказался перед плотной стеной кустарника. Слева его было не обойти — тянулся далеко. Но и справа не было видно просвета. Значит, что же? Продираться напрямик?

Только тут паника начала брать свое.

Да, он выучился всем хитростям и приемам походной жизни. Он научился правильно укладывать вещи в рюкзак: тяжелое — к спине, легкое — по краям. Он знал, каким слоем наносить антикомариную мазь и как дышать при подъеме в гору. И как растирать мышцы по утрам, и как находить сухое место для ночлега, и как находить воду для питья. Лишь одному он не успел научиться: куда направлять следующий шаг. За весь поход ему ни разу не пришлось даже задуматься

над этим. Единственное, о чем надо было заботиться: не потерять из виду спину вожатого.

Теперь он остался один.

В чужой стране, без настоящей карты, без документов, без денег. Даже без права позвать на помощь. Неужели люди, умеющие так надежно и любовно протягивать ниточки проводов друг к другу, смогут выдать его назад? Может, они просто не знают, что такое лагерь, вышки, колючая проволока, уголовники, избивающие новичков, насилующие их всем бараком на нарах? А если подвернется нога? Сколько раз уже он едва успевал поймать ускользающее равновесие, сколько раз испытывал судьбу?

От внезапной слабости он пошатнулся, осторожно опустился на землю, снял рюкзак. Отполз обратно к вершине холма. Телефонная линия внизу была первым знаком человеческого присутствия на земле, увиденным ими за девять дней. В проводах перекатывались неспешные финские новости, кто-то кого-то, наверно, звал в гости, торговался, расспрашивал о здоровье, хвастал охотничьей удачей. Расстаться с этим так сразу, снова уйти в одиночество леса и тундры не было сил.

Илья лежал так тихо, что лемминг, высунувшийся неподалеку из травяной подушки, повертел острой мордочкой, ничего не заметил и спокойно уселся чиститься и умываться. Воробьи чирикали, перелетая по жестяным шапочкам столбов. Белая полярная сова плавно скользнула вдалеке к поваленной ели. И донесшийся издалека собачий лай тоже как-то вписался в череду мирных звуков и шевелений близкой человеческому жилью природы, не вызвал поначалу никаких мыслей об опасности

Лай усиливался, делался все более азартным.

Потом как-то очень обрывисто смолк.

И тогда с той стороны, куда ушел Павлик, донесся отчетливый знакомый треск — автоматная очередь.

Чей-то оклик, свист — и еще одна.

Илья, забыв про рюкзак, забыв про все приемы осторожной хотьбы, вскочил и ринулся вниз, проскочил под телефонными проводами, взлетел по пологому склону, мимо примятого мха на месте их последнего привала и, задыхаясь, припадая за стволами, не чувствуя хлещущих веток, побежал — вперед? назад? просто, не зная куда? — и так несся, пока не увидел бегущего ему навстречу человека — в изодранной

одежде, с всклокоченной бородой, прихрамывающего, сжимающего в руке окровавленный охотничий нож.

ИЮЛЬ, ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОСЛЕ ОЗАРЕНИЯ, НЬЮ-ЙОРК

1

Сотни кондиционеров надсадно гудели, выкачивая жару из залов и переходов аэропорта Кеннеди, но снаружи она накапливалась пластами, сгущалась, как кисель, зыбкой массой в июльском безветрии. Пассажиры, выходя из дверей, чуть не бегом припускали к своим машинам, автобусам, такси, на ходу сбрасывая пиджаки, закатывая рукава, расстегивая пуговицы рубашек и платьев.

По телефону Лейда заверила Эмиля, что встречать ее не нужно, что она без труда найдет отель "Синий каньон", что все равно она не будет знать заранее, каким рейсом прилетит. Даже приплела что-то насчет возможной промежуточной посадки в Олбани — ненадолго, по делу. Конечно, выигрыш был ничтожен — побыть одной те лишних полчаса, что такси будет пробираться в водоворотах нью-йоркских улиц. Но голос Эмиля так был искажен чересполосицей разных интонаций, так быстро перескакивал от просительной, извиняющейся нежности к тону сердитого и не подлежащего обсуждению приказа, что ей нестерпимо захотелось отсрочить встречу. Раз уж нельзя отказаться совсем.

Такси ей досталось потертое и прокуренное, как старый биллиард. Тройная лента машин на шоссе подмешивала к жаре потоки выхлопных газов. И все же несколько сортов травы и кустарника научились каким-то образом выживать и в такой атмосфере — откос справа уверенно зеленел. Даже какие-то цветочки проглядывали там и тут, даже какие-то птицы вылетали прямо на асфальт, крутились там, сверкая красными грудками, и лишь в последний момент, с увертливостью матадоров, выпархивали из-под несущихся на них машин.

Лейда вдруг поймала себя на каком-то странном нетерпении. Нет, не Эмиля увидеть, еще чего не хватало, а другое: получить привезенные им распоряжения. Да, она получит очередные команды, инструкции и будет знать, как ей прожить следующий день, следующую неделю. В простом подчинении начальству и дисциплине явно крылось неведомое ей раньше освобождение от самой себя. Вечно колебаться, вечно выбирать между тем и другим, вечно вслушиваться в скрипучие качания внутренних весов... Сколько можно, зачем, ради чего так терзаться? Тем более что и весы, похоже, незаметно поистерлись, сломались посредине, и обе чашки упали вниз, оставив ее в полной растерянности, — кораблик без компаса, обломок крушения, который любая волна и любой порыв ветра крутили как вздумается.

Безоглядное подчинение, оказывается, имело и другие выгоды. Ведь стоило ей принять правила, установленные далеким московским начальством, заговорить его языком — и удалось добиться того, что было не под силу ни Архиву, ни полиции штата Нью-Хэмпшир. Кажется, за всю жизнь она не испытала такой вспышки счастливой гордости, как в то утро, когда Сильвану, живую и невредимую, нашли в запертом фургоне, брошенном на поле для игры в гольф. Газеты хвалили шерифа за энергичные розыски. Архив пожертвовал пятьдесят тысяч долларов на закупку новых полицейских машин, но Лейда была уверена, что ни усиленные патрули на дорогах, ни специальные проверки в аэропортах и на автобусных вокзалах не заставили бы похитителей отказаться от их планов. Что просто сработал ее звонок из ресторана с омарами, и кто-то крикнул зарвавшимся гангстерам по-хозяйски: "Фу! Оставить! К ноге!"

Она испытывала какую-то покровительственную нежность к Сильване, пыталась чаще видеться с ней, придумывать какие-то общие развлечения. Но та соглашалась неохотно, больше отмалчивалась. О Джерри вообще не хотела упоминать, сразу обрывала разговор. Она и Цимкер почти всюду появлялись теперь вместе — усталая, немолодая чета, поседевшая, много пережившая, все знающая друг про друга. Два раза в неделю Цимкер возил ее на прием к психиатру.

Такси прошмыгнуло в щель между двумя грузовиками, чиркнуло по пуговицам вывешенных на распродажу пиджаков, остановилось. Шофер обругал инфляцию, городской совет, водителя фургона, закрывшего ему выезд, мексиканцев, пролезших во все щели. Деньги принял важно и пренебрежительно. После прокуренной раскаленной коробки даже нью-йоркский воздух показался Лейде волшебным.

Эмиль был в номере не один.

С первого взгляда Лейда не узнала, даже улыбнулась слегка, но когда человек быстренько перетасовал свое лицо в "сколько лет, сколько зим", чуть не отдернула руку.

— Да, вот так, Лейда Игнатьевна, — говорил Мышеедов, успевая поймать и цепко удерживая ее ладонь, — как говорится, "гора с горой, а человек с человеком..." А вы молодцом — не постарели, не растолстели... Да, от полковника сердечный поклон и всякие новости. Большие-пребольшие. Перемены предстоят, Лейда Игнатьевна, и какие!..

Он был все тот же — слабый актер из клубной самодеятельности, — только теперь к каждому штампованному ходу добавлялась почему-то еще и очень заметная порция подобострастия.

— Капитан, — вмешался Эмиль, — давайте уж так, как было уговорено. Не надо забегать вперед. Вы ждете в соседней комнате, мы тут спокойно разговариваем. А уж потом сядем вместе и обсудим детали.

— Я понимаю, я же не против. Тем более дела лирические, как в песне поется — "после стольких разлук"... Вот только...

— Никаких "только". Времени у нас — чуть не полдня. Вполне успеваем.

Мышеедов подхватил со стола пачку "Плэйбоев" и "Хастлеров", попятился, кивая, к дверям, исчез.

Эмиль заставил Лейду сесть к столу, сам сел с другой стороны — прямо напротив, глаза в глаза, без всяких заигрываний. Что ж, и это ее устраивало. Начальник и подчиненная — чего проще.

— Первым делом, про Сильвану твою. Клянусь, я даже не знал, что они сделали себе отпечатки с моих снимков. Хочешь верь, хочешь нет. Они, конечно, когда деньги нужны, не очень церемонятся, пользуются любыми методами. И любым сбродом. Но тут они почувствовали, что с Архива им не перепадет. Да и ты позвонила вовремя. Так что, слава Богу, все обошлось.

— Погиб невинный человек — это называется "обошлось"?

— Ах, тот... Любовник ее... Да, бывает, конечно... Ну да что вспоминать. Ты лучше о себе расскажи. Как тебе там, в Архиве? Ты прижилась, интересная работа? Нашла наконец себя?.. Нет, ты не поднимай брови, я не зря спрашиваю. Мне многое поручено тебе объяснить. Но я еще не знаю, как: коротко объяснять или длинно. Потому и важно понять про тебя.

— Может, просто скажешь, чего от меня хотят на этот раз. А я скажу, по силам мне или нет. Если по силам, я сделаю. Теперь уж понятно, что Илью они не отдадут. Что все разговоры про "три года, а там отпустим" были чистый блеф.

— Нет, ты подожди. К Илье мы тоже еще вернемся в свое время. Но сначала мне важно узнать: ты на работу с легким сердцем ездишь или нет?

— Все лучше, чем одной дома маяться. Люди кругом, разговоры. Отвлекаешься на них... Таборяне, правда, одолели нас последнее время, сильно на нервы действуют.

— Это кто?

— Беднота всякая, которой место в Архиве не по карману. У них целый дикий город вырос, там уже тысяч двадцать скопилось. Всех цветов, всех наций. Теснота, ссоры начались, драки. Вот-вот эпидемия какая-нибудь вспыхнет, а обвинят нас. Настоящие трущобы. Не лучше, чем в Бразилии или Индии. Едешь утром на работу, а они вдоль обочины на коленях стоят и руки тянут. Иногда детей. И так километр за километром.

— Одна жизнь не задалась — хотят попытать счастья в другой?

— Половина специально в Америку приехала за этим — за билетом в воскресение. Многие — незаконно. Теперь еще какие-то самозванные проповедники среди них развелись. Разжигают страсти, кричат о равенстве. Что мол либо всем воскресать, либо никому. Но вообще верят очень сильно. Причем не только христиане. Полно и мусульман, и иудеев, и буддистов.

— А ты?

— Что я?

— Ты сама уверовала? Что-то я не помню, чтобы ты в какую-нибудь церковь ходила.

— Это, знаешь ли, такие тонкие материи...

— Мне не понять? Не дорос, примитивен, неразвит? Но я только хочу знать: в само воскрешение ты веришь? В возможность его, с чисто научной точки зрения? Пусть хоть в далеком будущем?

— Если говорить чисто умозрительно...

— Поверь — я не из праздного любопытства. Это все для дела.

— ...Умозрительно можно допустить, что наука разовьется и до такого. Если научились восстанавливать облик доисторических зверей по обломку зуба, почему не научиться восстанавливать живой организм по капле крови?

— Сколько шансов на это? Один на сто тысяч?

— Если бы Гиппократа когда-то спросили, какой шанс есть на то, что человеку можно будет врезать искусственный клапан в сердце, он бы и такого не дал.

— А твои исследования? Архив до сих пор использует их?

— Да. В методику сохранения крови ворожба включена.

— Ну и все. Это самое важное. Теперь я вижу, что можно говорить "по короткому варианту".

Он приосанился, выпрямился в кресле, надел очки.

— Слушай внимательно. И верь каждому слову. Это не только послание полковника. Со мной говорили и более крупные чины. Но даже они были необычайно возбуждены. Потому что, похоже, всем этим делом заинтересовались на самом, самом, самом верху.

— Каким делом?

— Архивом. Хранением крови. Проблемой воскрешения. Нет, конечно, без всякой поповщины вашей, без крестов и молитв. Так сказать, в рамках материализма. Ведь там, на самых верхах все очень-очень немолоды. Я думаю, в этом главная причина. Когда мне будет за семьдесят, наверно, и я загорюсь этой идеей, наверно, и мой скептицизм поутихнет.

Он помолчал, всматриваясь в ее лицо, выжидая реакции, давая время осмыслить и подготовиться к главному. Из соседнего номера долетал мужской голос, взывавший к какому-то Бобби, уговаривавший его не быть дураком, не соглашаться на двадцать процентов, а требовать тридцать пять. Журчание забытого кем-то крана подлаживалось к фотографии весеннего ручья на стене.

Лейда молчала.

— Сама понимаешь, ездить в ваш Архив из Москвы — не очень-то ловко. Во всех смыслах. Проблема будет решаться с размахом. Решено создать специальный научно-исследовательский институт. В кратчайшие сроки. Конечно, самого слова "воскрешение" в названии не будет. НИИРАЖ — институт

регенерации активной жизни. Уже выделены фонды, перестраивается здание под Москвой. Проект объявлен имеющим первостепенную важность. Идет набор сотрудников. И даже известно, кто будет директором по научной части. Доктор. Лейда. Ригель.

Он очень похоже передразнил торжественную интонацию старого конферансье из таллинской филармонии. Она невольно улыбнулась. Потом до нее дошел смысл сказанного, и она внутренне сжалась, напряглась, как на крутом вираже напрягается, перегибаясь навстречу центробежным силам, пассажир автомобиля. И было такое же чувство холодящей сердце беспомощности, когда не ты выбираешь маршрут, не ты увеличиваешь или сбрасываешь скорость, когда не знаешь ни карты дорог, ни конечного пункта, а держащий руль — упорен, непредсказуем, жесток, силен, насмешлив, неуправляем.

— Ты, конечно, и сама можешь представить, что это значит: институт, создаваемый по прямому распоряжению с самого верха. Вы будете иметь все, что захотите. Лучшего качества, в нужных количествах. Иностранное оборудование? Пожалуйста. Валюта для закупок? Сколько потребуете. Но хранилище, подобное вашему Архиву, нужно будет построить рекордным темпом. Усовершенствование, доводка, разработка новых идей — это все потом. Ибо здоровье некоторых членов высшего руководства весьма неустойчиво. Надо спешить.

Он почтительно кашлянул, приглушил голос.

— Ну, и само собой — твое личное положение. Ты будешь пользоваться таким влиянием... Даже страшно за тебя. Не говоря уже о материальных делах. Квартира, машина, дача, сертификаты, обслуживание — полный набор. И, конечно, Илью демобилизуют, он сможет жить с тобой. Поступит в любой институт в Москве, захочет — в университет. Нам надо еще будет обдумать, как быть с Олей и с твоей матерью. Думаешь, они захотят вернуться? Или их придется уговаривать, убеждать?

— Ты даже не спрашиваешь, захочу ли вернуться я сама.

Эмиль посмотрел в окно, прошелся бегающим взглядом по зигзагам пожарных лестниц.

— Думаешь, у тебя есть выбор?

Она молчала, задумчиво разглядывая неподвижные блестки ручья на стене.

— Я имею в виду не только положение Ильи. Ты должна понять. Если они поверили в то, что воскрешение возможно, их не остановить... Они будут добиваться своего с упорством ваших таборян. Только средств в их распоряжении в миллион раз больше. Если ты им нужна — они тебя достанут, получат.

Да, подумала она, конечно, он прав.

Центробежные силы были слишком сильны, и все что оставалось — послушно наклоняться им навстречу, чтобы удержаться на сиденье. Мысль о возвращении вызывала неудержимую тошноту. Но ведь будет там и что-то хорошее. Увидеть Илью — свободного и спасенного, старых друзей, может быть, Павлика. Для виду она станет потворствовать старческому страху перед смертью, поддерживать надежды дряхлеющих правителей, обещать, что не конец накатывает на них, не черная бездна, а только перерыв и что когда-то смогут они вернуться — к чему? к жизни? или к более важному и единственно понятному им делу — к безудержному загребанию власти? Сама же втихомолку попробует проверить несколько любимых идей. Наконец-то у нее найдутся средства и время.

Тосковать? Скучать?

О да, будет, еще как. По аляповатому американскому комфорту, по кукурузным полям в шахматной сетке дорог, по запаху выкошенной травы на газонах, по беспечным коттеджам без оград, по потокам студентов на дорожках кампусов, по нелепой архитектуре, вырастающей из детского изумления перед простотой и удобством куба, по дыму жаровен на берегах озер и прудов, по рекламным дирижаблям в небе. Но разве когда-нибудь удалось ей хоть на минуту приобщиться к главному здесь — к нелепой вере в то, что человек, оставленный без надзора, сам по себе, все сумеет устроить и переделать к лучшему? что за добро заплатит добром, за знание — пониманием, за помощь — благодарностью? Был ли хоть один день в ее жизни, когда бы она могла по-настоящему расслабиться, внутренне оттаять, слиться с беспечной воскресной толпой. Нет, она всегда оставалась зажатой, душевно скованной, привязанной к невидимому и длинному, но необрываемому поводку. А теперь пришло время, поводок натянули, сделали коротким и жестким. Значит, нечего рыпаться. Пора возвращаться в конуру.

Она подняла глаза на Эмиля, кивнула несколько раз. Спросила "когда"?

Он разжал пальцы, отпустил край стола. Улыбнулся. Пошел к дверям, впустил раскрасневшегося от непривычной периодики Мышеедова.

— Все в порядке, капитан. Как я вам и говорил. У Лейды Игнатьевны возражений нет.

— Ну, уж вы скажете. Возражений?! Главное: в обморок от радости не упала. Такой пост получить! С вас причитается, Лейда Игнатьевна, не забудьте потом старых друзей. Все же и мы ведь вам помогали, сколько сил и времени на вас потратили.

— Значит, так. Отъезд твой решено было обставить, как похищение. Потому что, если все делать законным путем — через посольство, Госдепартамент, — получится жуткая волокита. Да и пресса может вмешаться, и Архив так просто тебя не отдаст. А так — исчезнешь тихо и незаметно. Когда хватятся, будет уже поздно. Отплываем сегодня же.

— Как "сегодня"? Да у меня ничего нет с собой.

— Об этом не беспокойся. Я позабочусь — все найдешь в каюте. Корабль отходит через четыре часа, вполне успею. А вы тем временем с капитаном доедете до одного мотеля на Лонг-Айленде. Искупаетесь, отдохнете. А в час ночи, на резиновой лодочке — в океан. Там мы вас и подберем.

— Но как же Оля, мать?

— Я ведь сказал — привезем и их. Но с ними всегда успеется. Пока доплывем, пока ты квартиру при институте подберешь и обставишь по вкусу — тоже время нужно. Не в коммуналке же новую жизнь начинать.

— А насчет лодки вы не тревожьтесь, — сказал Мышеедов. — Это только одно название — резиновая. Уж не знаю, из чего она сделана, но такой сплав! Нож не прорежет, пуля не пробьет. Последнее слово науки. И про погоду я специально узнавал: обещают полный штиль.

— Ночью, под звездами, в океане... Романтика.

— Нет, — сказала Лейда. — Матери я все же должна позвонить. Скажу, что уезжаю в долгую командировку, чтобы она не волновалась.

Те двое переглянулись. Мышеедов, попуотвернувшись, состроил испуганную мину: "нельзя, не положено, не велено".

— Если я не позвоню, она может поднять шум. Начнет сама звонить в Архив, выяснять, куда я пропала. Мы же не хотим, чтобы Архив взялся меня разыскивать уже сегодня.

— Ну, хорошо, — сказал Эмиль. — Но звони прямо отсюда, при нас. Ты действительно так спокойна? Или это только внешне? Не догадается она по голосу?

— Ты же знаешь маму. Она слышит только себя. Не беспокойся, ничего не заметит.

У бабки Натальи для телефонных разговоров было три интонации, которыми она пользовалась в зависимости от настроения: страдальческая (что еще? что вам от меня нужно в этот раз?), умиленная (Боже, кто-то и меня вспомнил, позвонил!) и обличительная (вот, стало быть, до чего довелось дожить). Но в этот раз было что-то не совсем обычное. Так что Лейда и не сразу вспомнила, к каким случаям включалось это игривое ликование. (Ах да: детство, мать возвращается из похода по магазинам, а она уже знает, что они бедны и ничего ждать нельзя, но мать что-то прячет за спиной, пританцовывает, поет, заставляет и ее танцевать в ожидании сюрприза, так что мелькает безумная надежда — кукла! — а потом горькое, до слез разочарование: очередная пара варежек, теплые штанишки, школьная тетрадка в линейку).

— Лейда! как хорошо, что ты позвонила! Я уж не знала, где тебя искать... Дома телефон молчит, в Архиве говорят — уехала. Я просто не знала, что и думать.

— Ничего страшного, со мной в порядке...

— Нет, ты представить себе не можешь, какая у меня для тебя новость!

"Повысили пенсию? Кошка принесла котят?"

— Я хочу, чтобы ты села покрепче на стул...

— Мама, прости, я очень спешу...

— ... и даю тебе три попытки на угадывание...

— Я хотела только предупредить, что уезжаю в командировку...

— Ты никогда не угадаешь, кто мне позвонил час назад. Ни с пяти, ни с десяти попыток...

— Мама, правда, у меня нет сейчас времени на все эти угадайки.

— Да, ты давно уже, много лет стараешься не слушать меня. Ты вообразила, что ничего важного и существенного от меня больше не услышишь. Надо бы мне повесить сейчас трубку и наказать тебя за все, что я вытерпела, за это унизительное пренебрежение...

— Ну, хорошо, хорошо. Я слушаю.

— Нет, ты действительно сидишь, а не стоишь? Я хочу, чтобы ты села. Я хочу...

Ликование в ее голосе утратило игривость, наполнилось искренним чувством, почти торжественностью.

— Звонил Илья. Живой и веселый. Из Стокгольма.

— Так, — сказала Лейда. — Очень хорошо.

Эмиль с тревогой всматривался в ее лицо, и она нашла в себе силы кивнуть ему: "Да-да, все в порядке, скоро кончаю".

— Ему удалось бежать. Пешком через границу. Это какой-то приключенческий роман. Такого ты не читала ни у Майн Рида, ни у Фенимора Купера, ни у Жюля Верна! И с ним тот человек, который помог ему. Какой-то геолог. Он, правда, не хотел убегать, только Илью провожал, но наши пограничники, то есть бывшие "наши", а теперь — "их", за мою жизнь все это столько раз менялось, я уж запуталась... Там был патруль или дозор...

Лейда внимательно слушала, кивала — "да, я понимаю, это очень славно". Потом почувствовала, что тошнота и слабость начинают одолевать ее, поспешно сказала:

— Все это очень приятно. Я позвоню через неделю. Всем приветы...

Повесила трубку.

Услышала свой голос, говорящий внятно и небрежно:

— Олю выбрали президентом класса. Гордая бабка должна была все описать в деталях.

И еще:

— В Москве, надеюсь, такой жары не будет. Где у тебя ванная? Я, пожалуй, душ приму. Не возражаешь?

2

Вода с шумом хлестала в бежевый кафель. Душ был включен на полную мощность, так что рисунок струй достигал почти геометрической четкости и напряженности: конус, эллипс. Лейда, облепленная влажным от пара платьем, стояла

рядом с ванной на коленях и беззвучно молилась. Молитва была неправильная, слова хватались наугад из детских воспоминаний, из подслушанного от паломников, из проповедей отца Аверьяна, из прочитанного в книгах. Русский мешался с английским, эстонским, старославянским, всплывали даже какие-то куски по-латыни. Чаще всего и на все лады повторялись слова "благодарю... слава Тебе... слава... благодарю". Может быть, только ритм ей удавалось соблюдать какой следует, но и в этом не было уверенности: она не могла слышать своего бормотания за шумом воды.

— Ты скоро? — крикнул из-за двери Эмиль. — Мне пора ехать.

— Поезжай, не жди меня. Увидимся вечером. Вернее, ночью.

— Хорошо. Оставляю тебя на попечение капитана. Если хочешь, вы можете напоследок проехаться по магазинам. Можешь побаловать себя, пустить в ход кредитные карточки. Все равно платить по счетам не придется. Только смотри, чтобы лодка не перевернулась от закупок.

Она заставила себя раздеться, встала под душ. От прохладной воды сердцебиение унялось, мысли начали понемногу яснеть, собираться в цепочки. Цепочки постепенно стягивались к одному, главному: что теперь делать?

Бежать? Но как?

А могло ли все это так совпасть: бегство Ильи и решение отозвать ее в Москву? Может, они узнали о бегстве и задумали выманить ее обратно? Но тогда зачем так громоздко: посылать Мышеедова, Эмиля, сочинять про НИИРАЖ? Проще было просто приказать ей вернуться. Телеграммой, телефонным звонком. Она бы не посмела отказаться. Кроме того, корабль был в пути не меньше двух недель. Значит, все это планировалось довольно давно, считай, за месяц. К тому времени ничего точного они не могли знать. Да и сейчас самое большее: пропал солдат, ведутся розыски. А главное, что было убедительней всех логических рассуждений: не мог такой плохой актер, как Мышеедов, так сыграть услужливость и подобострастие. Да и в тоне Эмиля почтительность была неподдельной.

Она приоткрыла дверь, крикнула Мышеедову, чтобы принес фен из ее чемодана. — Да, кинулся исполнять, как расторопный вестовой. Похоже, в его глазах она, Лейда Ригель, вдруг переместилась по лестнице чинов чуть не выше полковника. Но при всем чинопочитании, уйти добром он ей не даст. Об этом нечего было и думать. Значит, остается "не добром". Но где? когда? как?

Нет, все же голова отказывалась служить с нужной четкостью. Каждого из обрушившихся на нее известий было бы довольно, чтобы довести до шока. А тут два разом. Сначала нелепо-тягостное, потом неправдоподобно счастливое. Илья и Павлик в Стокгольме. Вместе. Пришли пешком. Как какие-нибудь калики перехожие из сказки. Это было настолько нереально, что воображение ее даже и не пыталось заполнить пустоты, снабдить какими-то зримыми деталями эту абстрактную конструкцию. Но при этом ни на секунду не возникало сомнение: да правда ли? не ошибка? Больше трех лет душа ее не жила, а словно бы волочилась вслепую по серым коридорам, не видя никакого просвета впереди. А тут вдруг так рванулась, так понеслась навстречу блеснувшей вдали вспышке. Как же могло это оказаться ошибкой? И внутренние весы тоже вдруг сраслись, ожили, больно качнулись под словом "убить", упавшим на одну из чашек.

Уезжая из Нью-Хэмпшира, она даже не взяла с собой "роланда". Все равно ни филиала, ни охраны в Нью-Йорке у них еще не было. Кто-нибудь из знакомых? Нет, никого из таких, кто согласился бы или смог помочь. Полагаться нужно было только на себя. Как всегда, впрочем. Как всю жизнь. Эта мысль почему-то отозвалась вдруг усталостью и обидой.

Она оглядела себя в зеркале, распушила волосы, затянула кушак платья.

Вышла из ванной.

Мышеедов подбежал, подхватил фен, бережно отнес его к чемодану.

— Знаете, Лейда Игнатьевна, когда запрос пришел сверху про Архив — что мол такое, да с чем его едят? — мы, конечно, все подробно описали, кроме одной детали: что вы, так сказать, не совсем по доброй воле нам служили. Да и службы ведь никакой не было, никаких заданий вам не пришлось выполнять — о чем же тут говорить. Так что, может, и вы по приезде не будете об этом распространяться? Служил себе сын в армии — нормальное дело.

— Я подумаю.

— Это и вам хорошо — все эти годы пойдут в выслугу лет.

Эх, знали бы вы, как полковник вас рекомендовал для института, какими словами расхваливал! Он ведь свой кадр никогда не выдаст. Так что если вы захотите его отблагодарить или порадовать, то лучше нет, чем представить, что мы вас со всякими трудностями похищали. Что погоня была, слежка. Это ему очень в заслугу поставят. Поначалу так и планировалось: ни о чем вас не предупреждать, а просто сгрести в темном месте и увезти на корабль. Но Эмилий Сергеевич очень против был, так что уж решили не пугать вас понапрасну. Вы теперь у нас ценнейший работник, ваши нервы тоже беречь надо.

"Не знает, ни о чем не знает, — думала Лейда. — Не может он так играть".

Рука Мышеедова время от времени подлетала погладить новенький галстук, украшенный жестяной бляшкой с большой синей буквой "М". Казалось, он не представлял, что почтительность может выражаться еще и молчанием. Правда, тема болтовни свелась к одному: необыкновенный человек, собрание всяких талантов и достоинств, заботливый и строгий, страстный и вдумчивый, нежная душа в железной оболочке, их общий незабвенный друг — полковник Ярищев.

"Может быть, просто пойти к дверям и посмотреть, что он станет делать? Или, когда будем выходить из гостиницы, обратиться к портье? Но в этом отеле и портье у них может быть подкуплен. Только выдашь себя, заставишь его быть начеку. Нет, лучше всего в супермаркете. Дать ему денег, отвлечь какими-нибудь тряпками, побрякушками. В супермаркете легко затеряться. А если нет — прямо подойти к полицейскому, попросить защиты от подозрительного типа".

— Я говорю: не пора ли нам, Лейда Игнатьевна?

— А?.. Да, что ж... Я готова...

— Как говорила моя маманя: "На поезд лучше на час раньше прийти, чем на минуту позже".

Он последний раз погладил жестяное тавро на своем галстуке, пошел к двери в соседнюю комнату, засунул в щель голову и сказал по-английски:

— Фрэнк! Пора идти.

Лейда вздрогнула, застыла вполоборота к двери.

Со шляпой в руке, крадучись, улыбаясь, быстро шныряя глазами, нивесть откуда взявшийся Фрэнк протиснулся мимо

Мышеедова, встал на пороге. Мощное туловище было спрятано под широким летним пиджаком, таинственные выпуклости вздымали ткань там и тут. Бумажник? кобура? фляжка виски? складки жира? наборы отмычек? Черные заостренные бачки сползали почти до самых углов растянутого в каменной улыбке рта. Он явно был припасен еще для первого варианта, для "сгрести в темном месте".

— Фрэнк будет нашим шофером, отвезет на Лонг Айленд. По-русски он ни бум-бум, но Нью-Йорк знает, как свои пять.

Шофер подходил вперевалку, и каждый шаг его сияющих кремовых башмаков словно бы крушил песочные замки ее надежд, расшвыривал карточные домики спасительных планов. Не переставая улыбаться, он извлек из внутренних недр пиджака маленький прибор с антенной, ловко очертил им Лейду в воздухе. Потом взял волосатой рукой за плечо, повернул, провел спереди и сзади.

— Так уж он натаскан, Лейда Игнатьевна, не обижайтесь. Пока не проверит человека на металл, не станет иметь с ним дела. Тем более с кем-то из Архива. Они теперь не столько оружия боятся, сколько этих "роландов" ваших.

Фрэнк удовлетворенно хмыкнул, спрятал детектор, кивнул. Мышеедов оглядел цепким взглядом номер, взял пепельницу с окурками, ушел с ней в ванную. Вышел под звук спускаемой воды, подхватил чемодан.

— Ну, двинули? Эх, большой путь, большие дела.

Они зажали ее с двух сторон плечами, повели к дверям.

Отчаяние металось в мозгу раскаленным шариком, не давало сосредоточиться.

Коридор был пуст.

Лифт оказался совсем рядом.

Световой зайчик бежал по номерам этажей: двадцать семь, двадцать шесть, двадцать пять...

Мелодичный сигнал сыграл три ноты из мазурки Шопена. Зажегся треугольник, нацеленный вниз.

Пожилая чета в кабине лифта потеснилась, пропуская их внутрь, блеснула пластмассовыми улыбками. Франтоватый негр в углу скосил желтоватые белки, равнодушно отвернулся.

"Надо сейчас, сейчас, сейчас, — повторяла Лейда. — Пока люди кругом... Потом будет поздно..."

Каждый раз, когда кабина останавливалась, а затем проваливалась дальше вниз, отчаяние и страх распухали внутри тошнотворным комом. Пожилая чета вышла, ее место заняла семья с тремя детьми. Младшая девочка на руках отца перегнулась к матери и сказала строго и картаво:

— И запомни: никогда, никогда больше не смей говорить мне "нет".

Старшие дети завистливо хихикнули.

Негр извлек из кармана алой рубашки платок, вытер углы губ, полюбовался перстнями, маникюром. Судя по запаху марихуаны и духов, на вечер у него были большие планы. Отсутствующий взгляд скользнул по Лейде, по двум мужчинам справа и слева от нее. Все же ей показалось, что в глазах его что-то мелькнуло — недоумение? любопытство? Может, по лицу ее заметил, что что-то неладно. Она готова была уцепиться за любую надежду, но время утекало с катастрофической быстротой. И не было сил решиться на что-то.

Кабина опустилась в подвальный гараж.

Пассажиры один за другим вышли под бетонные своды. Лифт послал свой прощальный шопеновский привет, с шипением закрыл двери. Автомобильное безлюдье сверкающими рядами тянулось по восходящей спирали коридора.

— Насчет магазинов, — сказал Мышеедов, — думаю, Эмилий Сергеевич переборщил немного. Нет у нас времени на такую ерунду. Дело все-таки серьезное. Да и Фрэнка нельзя задерживать. Вы не волнуйтесь: в Москве, в "Березке" теперь все то же самое можно купить. А в валюте вам отказа не будет.

Фрэнк переваливался чуть впереди, вертя на пальце связку ключей.

Сзади послышалось вежливое урчание мотора.

Лейда оглянулась.

Из открытого белого "мустанга" сверкнула красная рубашка. Негр приветливо помахал рукой.

Фрэнк шел прямо по середине проезда, не уступал дорогу.

Ни на что не надеясь, Лейда, незаметно для Мышеедова, отставила руку, оттопырила вверх большой палец.

Мышеедов расписывал проигрыватель, который он купил в "Березке" после последней заграничной командировки.

Белый "мустанг" придвинулся ближе, осторожно посигналил.

Фрэнк нехотя сдвинулся вправо.

Автомобиль поравнялся с ними, замедлил ход.

Негр улыбался, вопросительно оглядывая всех троих.

Фрэнк, не оборачиваясь, сделал жест рукой: проезжай, проваливай.

Черные пальцы в перстнях нежно пошатывали белый руль. Выпуклый яркий глаз смотрел настойчиво, зазывно мигал, обещал нивесть что, рвался начать вечерние приключения хоть сейчас же. Чувство было такое, словно две трапеции сошлись на секунду в верхней точке размаха, позвали: прыгай.

— Я на одну минуту, — сказала Лейда.

Тон был такой спокойный, деловой, так не вязался ни с чем тревожным, неожиданным, что, как и в прежние времена, как и против таллинских шпиков, он сработал, дал ей выиграть необходимые три секунды.

Мышеедов застыл, приоткрыв рот, изогнувшись в сторону чемодана, и изумленно смотрел, как она сделала шаг в сторону и, не тратя времени на открывание дверцы, перевалилась через борт на заднее сиденье.

Взревел мотор, шины скребанули по бетону.

Ее прижало к мягкой спинке, тряхнуло на уступе.

Все же она успела высунуть голову и увидеть, как Фрэнк целится в них с колена, а Мышеедов поддает ногой снизу по его рукам.

От звука выстрела "мустанг" рванул еще быстрее.

Они чуть замедлили ход, выезжая на улицу, проскочили под желтый свет на Восьмую авеню и здесь понеслись, не обращая внимания на возмущенные сигналы справа и слева.

— Хэлло, бэби, — прокричал негр. — Куда едем?

— Аэропорт Кеннеди, — крикнула Лейда. — Сто долларов. Это впридачу к той сотне, что вы уже заработали.

ИЮЛЬ, ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОСЛЕ ОЗАРЕНИЯ, НЬЮ-ХЭМПШИР

1

Ночной охранник поднял глаза от потрепанного томика "Жалоб портного", взглянул на часы, потом на макушку горы, которую он про себя называл Апельсиновой. Во-первых, она была круглой и гладкой, во-вторых, первая дотягивалась

по утрам до солнечных лучей и некоторое время гордо сияла оранжевым полукругом. Дымчатые стекла контрольной будки скрадывали все промежуточные стадии рассвета, поэтому утро наступало всегда неожиданно — будто его включали невидимым рубильником. Охранник был молод, собирался через год поступать в колледж, чтобы изучать что-нибудь связанное с литературой. Фокус превращения увиденной картины в тонкую строчку слов очень занимал его, и он упражнялся в нем любую свободную минуту. Если никакой новой картины не было перед глазами, он извлекал ее из памяти. Ночные дежурства не тяготили его.

Он вспомнил, что мать опять звонила вчера из Провиденса, просила выяснить, будут ли давать скидку близким родственникам служащих Архива. Надо будет задержаться после сдачи дежурства, зайти в административный отдел. Мать уверовала в проповедь "подзащитных христовых" давно, и деньги у нее были уже отложены, но долголетняя привычка экономить на каждом центе и тут держала ее цепко. Сам он еще не воспользовался положенной ему льготой. Его смущала краткость и банальность прожитого куска, бесцветность получавшегося рассказа. Литературные пристрастия требовали хоть какого-то сюжета.

Рыжий кот медленно перешел пустыню служебной автостоянки. В саду, укрывавшем заднюю часть Архива, у него были свои охотничьи тропы. Промежутки между железными прутьями ограды были как раз такой ширины, которая была нужна и удобна им, котам. Слева над деревьями выглядывал купол недавно законченного Храма Воскресения. Он был пристроен почти вплотную к левому крылу, и в соединительной галерее планировалось установить в ближайшее время какие-то особо хитроумные ворота с защитными устройствами. Ночной охранник подумывал о том, чтобы перейти туда, получиться заодно электронике.

Охранник зачитался сценой знакомства Портного с Обезьянкой и пропустил появление солнца на верхушке Апельсиновой. Он читал бы и дальше, но его отвлекло пение. Пение доносилось со стороны служебной дороги. Он увидел пеструю толпу человек в пятьдесят, которые, приплясывая и размахивая руками, двигались в сторону Архива. Из дубовой рощи, покрывавшей западный склон, время от времени выпрыгивали новые фигурки и присоединялись к шествию. То и дело кто-нибудь припускал бегом, отрывался вперед, вызывая волну насмешливо-возмущенных криков. Потом пение и приплясывание возобновлялось. Одеты все были кое-как — наспех натянутые футболки, выбившиеся подолы рубашек, обрезанные джинсы с бахромой и с расстегнутой ширинкой. Но чаще всего мелькали треугольники пончо — любимый наряд таборян.

Инструкция ясно требовала в случае любого чрезвычайного происшествия звонить начальнику. Однако настроение приближающейся толпы было таким праздничным, что у охранника не возникло чувства тревоги. Все же он был несколько смущен и растерян. Опустив прочный массивный шлагбаум, можно было остановить автомобиль, даже грузовик. А что делать с этими? И чего они хотят?

Стараясь выглядеть построже, подняв руку жестом бейсбольного судьи, он вышел навстречу, стал посреди дороги.

Толпа окружила его.

Из-за шума и пения он плохо понимал, о чем его спрашивали. Лица были в основном молодые, — видимо, головной отряд, те, кто вырвался вперед в стихийном, незапланированном марафоне. Из рощи вдали все выбегали новые, прыгали через канаву на дорогу, спешили вдогонку.

— Куда нам идти?

— Когда начнут?

— С главного входа или отсюда?

— А храм открыт уже?

— Я хотела бы помолиться и исповедаться сначала. Можно это устроить?

— Мы увидим отца Аверьяна?

— Неужели за три дня примут всех?

Охранник медленно пятился, пытался сдержать напор.

— Нет, прошу вас... Это служебный въезд, посторонним здесь запрещено... Сейчас начнут прибывать сотрудники... Вы должны подавать заявление в письменном виде... Вам назначат день и час. Иногда, конечно, приходится ждать несколько месяцев...

— Ха, да он ничего не знает!

— Ты что — радио не слушаешь?

— Послание отца Аверьяна: три дня бесплатной раздачи мест таборянам.

— Покажите ему объявление.

— Да плевать на него.

— Скорее всего, пускать будут через храм.

— Надо поторапливаться.

— У главного входа, небось, уже очередь.

Первые машины с медсестрами, громко сигналя, пробирались по запруженной людьми дороге. Их пропускали, дружелюбно похлопывали по крышам, снова смыкались. Два обшарпанных грузовика подкатили по обочине, выплеснули из кузовов новую партию таборян. Дюжина негритянских старух, оказавшись на земле, тотчас воздела руки к небу и затянула "Освободи мой народ". Охранник кинулся обратно в свою будку, сорвал трубку телефона.

— Сэр!.. Простите, что в такую рань... Но здесь собирается толпа паломников. Они говорят, что объявлена бесплатная раздача мест в Архиве. Расклеены объявления и по радио... Да, я говорю им, что это ошибка, чья-то шутка, но они не верят. Мне одному не удержать... Их уже несколько сотен и прибывают новые...

Толпа растекалась по стоянке, стягивалась к железной ограде. Несколько самых бойких попробовали было вскарабкаться на нее, но тут же с возмущенными воплями отскочили. Видимо, второй охранник, дежуривший в служебном вестибюле, включил слабый ток.

Все же настроение толпы было еще благодушным. Там и тут самозванные проповедники с мегафонами пытались собрать вокруг себя слушателей, перекричать друг друга. Кто-то бренчал на гитаре, кто-то, задрав голову, пил молоко из пакета, кто-то надувал воздушные шарики с текстами заповедей и раздавал их в протянутые руки.

Из-за шума охранник не услышал, как к нему в будку вошли двое: коренастый джентльмен, прижимавший шляпу к груди, и остролицый юнец в потертом кожаном пончо.

"Черные бачки джентльмена, — тут же сочинил охранник, — были похожи на концы клещей, охвативших его голову сзади".

— Сэр, мы по поводу этих беспорядков. Нельзя ли что-то сделать? Люди совершенно сбиты с толку, это может плохо кончиться... Да, меня зовут Фрэнк Колман.

Охранник машинально пожал протянутую руку.

Дальше все произошло, как на тех занятиях карате, на которые он потратил несколько сотен долларов в прошлом году. Прием был проведен умело и профессионально: его рванули вперед, он перелетел через подставленную ногу, повис на вывернутом предплечье, вскрикнул. Но крик не помог, эти люди, видимо, не знали или не признавали правил, накинулись вдвоем.

Он почувствовал проволочную петлю на горле, захрипел.

Последнее, что он видел, был томик "Жалоб портного" на полу рядом с бежевыми ботинками.

Став на колени так, чтобы не было видно снаружи, юнец быстро и ловко стаскивал с охранника форму, натягивал ее на себя.

Фрэнк, стоя у окна, приветственно махал шляпой.

Людская река, зажав медленно ползущие машины, втекала под поднятый шлагбаум.

2

Макс, начальник охраны, поспешно одеваясь, натягивая портупею с кобурой, то и дело бросая взгляд за окно, кричал в телефонную трубку, которую Грета-секретарша держала у его уха.

— ...Хорошо, шериф, хорошо, вы были правы — о'кей? Но никто же и не спорил с вами. Вот они, здесь уже — тысяч пять!.. И с каждой минутой прибывают. Что прикажете делать? Полить их из автоматов? Ах, не надо? Тогда шлите всех, кого сможете. Вызовите национальную гвардию!.. Потому что на бесплатную раздачу мест в Архиве народ повалит из всех соседних штатов... Нет же, клянусь вам, никто из нас и не думал этого делать. Провокация чистой воды. И очень умелая. Они не только развесили объявления, но настроились на нашу волну и объявили по радио... Да, мы будем пытаться, будем уговаривать, но... Нас тут человек тридцать, не больше...

Он выбежал в коридор.

На лифте спустился в вестибюль.

У главного входа толпа была еще гуще. Здесь таборяне перемешались с паломниками, с любопытными из городка.

Глухой шум давил на стекла. Солнце било в глаза, мешало разглядеть, где кончалось море голов. Да и кончалось ли оно где-нибудь?

Подбежавший дежурный козырнул, придвинулся вплотную.

— Сэр, они требуют встречи с отцом Аверьяном. Они уверены, что бесплатная раздача была объявлена им, а теперь дирекция вмешалась и пытается ему помешать. Они кричат, что готовы защитить его от нас — пусть только скажет слово.

Макс кивнул, быстро пошел назад, по коридору "перекладины", сбежал вниз по лестнице.

Но отец Аверьян в сопровождении Умберто уже выходил ему навстречу. Оба были в неподпоясанных рясах, босые.

— Ну что, Макс, доигрались? — с каким-то неуместным торжеством крикнул Умберто. — А расхлебывать кто будет? Мы с вами? Или Дух святой?

Макс сощурился, промолчал.

— Ничего, это все ничего, — говорил отец Аверьян, приглаживая венчик волос, передвигая на место крест, заправляя выбившийся ворот рубашки. — Сейчас мы все объясним им, они поймут. Кто-то обманул этих бедняков, конечно... Но все же: какая вера, какая жажда чуда!

Все трое вошли в лифт, поднялись на шестой этаж. Радиорубка не имела окон, и гул не проникал сюда. У радиста все уже было готово, он протянул микрофон священнику, щелкнул тумблером с табличкой: "громкоговорители".

— Братья и сестры мои, — сказал отец Аверьян. — Возлюбленные во Христе...

Было видно, что говорить по-английски, да еще не видя живых, обращенных к нему лиц, ему было трудно и непривычно.

— Какой радостью для меня было бы дожить до того дня, когда каждый верующий, жаждущий Суда и Воскресения, сможет беспрепятственно сделать первый шаг навстречу этому чуду. Когда отделения Архива в любом городе будут открыты и бесплатны, как улицы для идущих, как библиотеки для читающих, как храмы для молящихся...

Лицо его разгладилось, поднялось вверх, приобрело обычный красноватый оттенок и вдруг провалилось в темноту.

Погасли лампы и шкалы радиоаппаратуры.

Только над дверью тускло горело слово "выход".

— Этого еще не доставало!

Умберто выскочил в коридор.

Дневной свет лился в единственное окно в дальнем конце.

Встревоженные лица выглядывали и из других дверей. Снаружи толпа начала скандировать.

— А-верь-ян!.. А-верь-ян!.. А-верь-ян!..

— Дежурного электрика сюда! — крикнул Умберто. — Немедленно!

— Не надо, — сказал Макс, выходя из радиорубки. — И так все ясно. Они перерезали электрокабель. Или устроили аварию на подстанции. Я бы на их месте сделал то же самое. Хорошо еще, до телефона не добрались.

— Но морозильники?! Архив?!

— Начнет размораживаться потихоньку. Весь вопрос — с какой скоростью.

— А аварийные установки?

— Генератор слишком слаб. Его хватит на освещение коридоров, на работу лифтов — не больше.

— Но этого же нельзя допустить! — вскричал отец Аверьян. — Я выйду к ним, я объясню. Все что угодно — только не размораживание. Они поверят, поймут, разойдутся.

— Не делайте этого, — сказал Макс.

— Там, под нашими ногами — самые заветные людские мечты! И они тают и гибнут. Каждую секунду чья-то душа спотыкается на пути к воскресению! Как же они смогут не понять? Ведь они сами жаждут того же, сами верят. Ведь это и их надежда тоже! И она гибнет!

— Вы ничего им не докажете сейчас. Они уже слишком возбуждены. Лучше дождаться прибытия полиции. Поверьте: тогда они станут слушать внимательнее.

— Сколько мы сможем продержаться? — спросил Умберто.

— У нас здесь десять охранников. Да человек двадцать ночевало в Архиве. Да кто-то успел прорваться утром. Оружия хватит на всех. При удаче — часа два, три.

— Вы не станете стрелять в людей, пришедших ради чуда воскресения, — сказал отец Аверьян.

— Боже упаси. Но ведь за их спинами прячутся совсем другие люди. Те, кто развешивает фальшивые объявления, обрывает подачу электричества. Эх, вот до них бы добраться.

Придерживая болтающийся на плече автомат, секретарша Грета бежала к ним по коридору, размахивала телефонограммой.

— Сэр, звонил шериф! Полицейский вертолет уже вылетел

к нам. Второй патрулирует шоссе где-то на севере штата. Но и его срочно отзовут.

— Полицейский вертолет?! На три человека? Он что — спятил? Нам нужны грузовики, набитые полицией! Нам нужны бронетранспортеры!

— О, простите, сэр. Я думала, вы уже знаете. На мосту через реку — авария. Большой грузовик застрял поперек и загорелся. Так неудачно, что перекрыл обе полосы. Полиция вынуждена ехать в объезд по девятой дороге.

— По девятой они и за два часа не доберутся.

— Никто не знает, что стало с водителем грузовика. Его нигде не могут найти.

— Я скажу вам, где он. Я знаю. Вот там, в гуще толпы. И я очень, очень хотел бы, чтобы у него и его приятелей не оказалось под рукой ракетной установки, припрятанной в каком-нибудь фургоне.

Все замолчали, растерянно переглядываясь, вслушиваясь в идущий снизу гул.

— А-верь-ян!.. А-верь-ян!.. А-верь-ян!..

Умберто сделал шаг вперед, обвел взглядом искаженные страхом лица, ткнул наугад пальцем:

— Вы и вы — быстро добудьте большие куски картона. Восемь или десять штук. На каждом крупными буквами: "Проповедь отца Аверьяна через пятнадцать минут в Храме Воскресения". Выставьте в окнах так, чтобы можно было прочесть снаружи. Макс! Собери всех, кого сможешь, и перекройте проход к главному зданию из Храма. Проверьте внутренние ворота, если нужно, укрепите их баррикадой. Чтобы в случае чего... После этого откройте все двери в Храм снаружи. Но не дайте толпе захлестнуть вас, станьте заслоном перед алтарем. Отец Аверьян, дальше все будет зависеть от вас. И от воли Божьей, конечно. Только не начинайте с прямого "нет". Обещайте им что-нибудь, размягчите, расстрогайте. Не говорите о справедливости, о тех несчастных, чья кровь сейчас начинает размораживаться в наших подвалах. Таборяне в таком состоянии, что станут слушать только про себя. Да мне ли вас учить!

Подбодренные его решительным тоном сотрудники разбегались по тускло освещенным переходам.

3

Толпа больше не была просто многотысячным сборищем людей, манимых одной страстью, одной надеждой. Она словно бы превратилась в единое спрутоообразное тело, в котором любой импульс боли или злобы мгновенно прокатывался от пасти до хвоста, по всем щупальцам, клешням, бугам, сочленениям. И тело это проползало повсюду, упруго заполняло проходы между зданиями, пробовало свои когти и присоски то там, то тут.

Появление плакатов встретили торжествующим криком.

И хотя в пятнадцать минут уложиться с подготовкой было невозможно, психологический расчет оказался верным: враждебность и возмущение хоть на какое-то время оказались оттесненными, долголетняя привычка ждать и терпеть взяла свое.

Даже давка у открывшихся дверей Храма Воскресения не перешла в самоубийственное озверение. Проталкивались настойчиво, но без ненависти друг к другу, а оказавшись внутри, даже притихали. Оглядывали свежие росписи, бронзовое распятие на стене, иконы. Теснились к алтарной решетке. Без электрической подсветки внутренняя отделка выглядела мрачнее, торжественнее, отдавала стариной, средневековьем. Косые лучи тянулись от витражей разноцветными столбами.

И когда наконец отец Аверьян поднялся на возвышение, когда обвел ряды поднятых к нему лиц — молодых и старых, черных и белых, раскосых и голубоглазых, гладкокожих и морщинистых, бородатых и размалеванных татуировкой, ждущих откровения и просто жаждущих Невероятного, — на какую-то минуту показалось, что вот — вот уже случилось чудо приручения, чудо слияния пастыря и паствы, которое одно могло спасти их всех, подчинить разумной воле, отвести придвинувшийся вплотную хаос.

— Братья и сестры мои, — сказал отец Аверьян, подняв к губам мегафон. — Как хотел бы я дожить до того дня...

В наступившей тишине выстрел хлопнул отчетливо и звонко.

Остролицый юнец на хорах застыл на мгновение, словно специально для того, чтобы все могли рассмотреть не только ствол снайперской винтовки, но и форму охранника. Потом

вздел два пальца, растопыренные в виде победной рогульки, исчез.

Жалобный вопль попадьи, кинувшейся к телу, на долю секунды обогнал, вырвался вперед, но тут же канул, растворился в захлестывающем реве.

Таборяне подмяли тонкую цепочку охраны, хлынули вперед, обрушили решетку.

Струи слезоточивого газа ударили им в лица.

Раскатисто полоснула автоматная очередь.

Несколько человек в первых рядах упали, о них стали спотыкаться напиравшие сзади. На секунду пространство вокруг алтаря расчистилось, и Макс, ринувшийся в кучу барахтающихся тел, сумел извлечь из нее окровавленного Умберто, за рясу оттащил к подготовленной баррикаде.

Весть об убийстве проповедника стремительно вырвалась за пределы храма, неслась по многотысячному людскому морю, обрывала последние удерживающие стропы — надежды, почтения, веры, — выпускала зверя на волю.

Толпа ринулась на штурм.

4

Лейда приехала в Архив днем раньше только для того, чтобы забрать кое-какие записи и вещи из своего кабинета. Но бумаг оказалось гораздо больше, чем она думала. Некоторыми она зачитывалась, попадались интересные идеи, наброски, которые вдруг захотелось отложить, обдумать потом. Понадобились разноцветные папки, чтобы уж рассортировать все как следует. Кроме того, заходили сотрудники — поболтать, поздравить, попрощаться. Нет, она не увольняется совсем, — возможно, просто уходит в длинный отпуск. Вы же понимаете, такое событие! Предстоит встреча с сыном, хлопоты по его устройству здесь.

Разговоры и сборы затянулись допоздна — она решила заночевать в Архиве.

Рано утром пришла Сильвана, присела рядом на кушетке.

— Не разбудила? Я вчера не могла заскочить, мы вернулись слишком поздно. Аарон все пытается развлечь меня.

Нелегкое это нынче дело. Когда твой самолет?.. А в Стокгольм когда прилетает?.. Они уже знают, будут встречать?.. Ты звонила им?

— Два раза. Первый раз ничего толком не поняла. Потому что ревела весь разговор, не могла остановиться. Как Илья скажет "мама" — у меня слезы. Я ему говорю: "Не произноси этого слова". Он не понимает, думает, и здесь какие-то секреты. Но во второй раз они мне все рассказали. История, действительно, невероятная. Как удалось такое! Корреспонденты их осаждают. Но они решили никаких интервью пока не давать.

— Этот человек, твой друг — у него, кажется, семья осталась?

— В том-то и дело. Он и не думал убегать. Так уж все обернулось. Дошел с Ильей до границы, перевел, а обратно уже не смог. Напоролся на патруль. По нему стреляли. Очень переживает, что овчарку пришлось зарезать.

— Что он теперь? Будет ждать, чтобы семья к нему приехала?

— Сильвана, ты какая-то необучаемая. Водишься с русскими всю жизнь, а простейших вещей запомнить не можешь. К врагам и предателям семьи не выпускают.

— Да, прости. Значит, он на тебе сможет жениться? Сын у вас, можно считать, теперь общий. Он ведь его тебе как бы заново родил. Законный отец.

— Ох, не знаю, не знаю... Как все будет, как встретимся... И без любимых жить страшно, а с любимыми, наверно, еще страшнее станет.

— Я так рада за тебя. Хотя для меня-то твой отъезд уж так некстати. Мне развлечения совсем не помогают. А вот побыть так десять минут с кем-нибудь очень-очень счастливым — и на целый день зарядки хватит. Тут все, как назло, и Джина во Флориду укатила. Совсем поговорить будет не с кем. Ты когда вернешься?

— Думаю, недели через две. А то и через месяц. Им придется оформлять какие-то бумаги — визы, разрешения на въезд. Не знаю, сколько это займет. Слушай, ты не знаешь, что там за шум?

Они встали, подошли к окну.

Далеко-далеко в долине поблескивала река. По лесистым склонам разбредались утренние облачка. Лента шоссе стягивала две половинки холма, как застежка-молния. Другая ленточка, потоньше, ответвлялась в сторону Архива и почти исчезала под бесконечной вереницей ползущих по ней — все

в одну сторону — машин. Паркинг для паломников был уже переполнен, вновь прибывшие останавливались на обочине. И шли, шли, шли, расширяя, умножая, растягивая и без того уже огромную толпу, сгрудившуюся к главному входу.

Встревоженная Сильвана ушла выяснять, что случилось. Лейда быстро оделась, кинулась собирать оставшиеся неупакованными вещи, затягивать чемоданы.

Свет в ванной погас как раз в тот момент, когда она собралась наложить тон на веки. Кое-как пристегнув чемоданы к багажным колесикам, она выкатила их в полутемный коридор.

Возбужденная лаборантка в белых брючках придержала для нее дверь лифта.

— О, миссис Ригель, как вы думаете, удастся их успокоить? О, я так боюсь толпы. Человек забывает, кто он, откуда, когда, зачем. Я по себе знаю. На стадион, на танцы, на каток, на рок-концерт я часто для того и хожу, — чтобы забыть, кто я, откуда, когда, зачем.

Внизу Лейда кинулась было к служебному выходу, но охранник сказал, что не может открыть дверь без разрешения синьора Фанцони.

— Но мне необходимо уехать. У меня через два часа самолет на Стокгольм.

— Да вы посмотрите, что творится. Вы не доберетесь до машины. В этой давке вам и шага не дадут ступить. Какой уж тут Стокгольм. Они ворвутся сюда, как бизоны. Всех затопчут.

Лейда оставила чемоданы, побежала искать Умберто. Но в творившейся неразберихе никто не мог сказать ей точно, где искать.

Она увидела его в последний момент, когда он вместе с отцом Аверьяном в окружении охраны шел по переходу в сторону храма. Она окликнула его, побежала рядом. Он скользнул по ней остекленевшим, ненавидящим взглядом, прошел дальше.

Потом было несколько минут тишины, пауза.

Она медленно побрела обратно к брошенным чемоданам, и в это время со стороны храма донеслись звуки стрельбы.

Толпа рванулась вперед, полезла через обесточенную ограду. Камни и бутылки зазвенели, загрохотали по пуленепробиваемым стеклам.

Охранник угрожающе поднял автомат, попятился.

Из храма отступали уцелевшие, вырвавшиеся из свалки. Кого-то несли на руках. Стальной противопожарный щит со стуком упал поперек прохода, отделил их от преследователей.

Кучка сотрудников собралась в вестибюле, в испуге оглядывая сотни прижатых к стеклу, искаженных ненавистью лиц.

— Все-или-никто!.. Все-или-никто!.. Все-или-никто!.. — начали скандировать осаждающие.

Над ревом голосов вырастал шум мотора.

Со стороны строительной площадки медленно пробирался бульдозер.

— Всем подняться на третий этаж! — закричал Макс. — Быстро!

Сотрудники и охрана ринулись к лестнице.

Толпа таборян распалась на две части, и по расчищенному проходу оранжевая туша бульдозера понеслась на двери главного входа. Одетый в пончо водитель привстал за рычагами, ликующе размахивал бейсбольной кепкой.

Поднятый нож ударил разом в обе створки, разбил их, и бульдозер в облаке стеклянной пыли ворвался в вестибюль. Остатками рамы водителя срезало вместе с кабиной, бросило под ноги набегающей толпе.

Осатаневшие таборяне заливали нижний зал.

Затрещали доски барьера, рухнули полки с журналами и брошюрами, треснула под ударом палки телевизионная камера.

В последний момент второй пожарный щит скользнул в паз, закрыл атакующим вход на лестницу.

Они бросились крушить все, что оставалось внизу.

5

Перевязочную устроили на шестом этаже, в бухгалтерском отделе. Медикаментов не было никаких, но по крайней мере там хватало света из окон.

Умберто лежал на столе главного бухгалтера, стонал. Длинные волосы при каждом рывке головы оставляли новые кровавые полосы на лакированной крышке. Лейда дюйм

за дюймом ощупывала его череп, пытаясь найти рану. Похоже, что, кроме глубоких порезов и ссадин, там ничего не было.

Она взрезала канцелярскими ножницами рясу, рванула. И сразу увидела ее. Не шире спичечного коробка, с левой стороны груди. Черный холмик вздувшейся кожи, ручеек крови толчками выбегает наружу, стекает по ребрам вниз. Что задето — сердце или селезенка?

Она припала к телу, почти касаясь раны губами, начала бормотать.

Снизу, не ослабевая, неслось бессмысленное и упоенное:

— Все-или-никто!.. Все-или-никто!.. Все-или-никто!..

Она старалась не слышать этого настырно-барабанного ритма, уловить свой, полузабытый — колыбельная, причитание, частушка, молитва. И, видимо, удалось: минуты через три корочка стала вырастать на верхушке бугра. Но что там внутри? Льется и льется? Она бормотала и причитала, не останавливаясь, стараясь сосредоточиться только на напеве, не думать о том, что творилось кругом.

— Эй, Макс! — крикнул Цимкер. — Скорее сюда!

Высунувшись по пояс в окно, они успели заметить, как гигантская складная рука подъехавшего крана протянулась к третьему этажу, и несколько человек с автоматами перепрыгнули из проволочной кабины на подоконник.

Цимкер дал очередь, но было поздно.

— Я попробую перехватить их внизу! — крикнул Макс. — А вы смотрите, чтобы никто больше не пролез.

Он выбежал в сопровождении трех охранников.

Умберто что-то выдавил из себя со стоном.

Лейда умолкла, вгляделась в его лицо.

— Он опять... опять... — бормотал Умберто.

— Нет, не вставайте, вам нельзя! Что вы чувствуете? Дышать больно? Вы можете сказать, где боль?

— Переиграл опять... Меня переиграл... Как раньше, как всегда...

— Надо немного потерпеть. Скоро прилетит вертолет, мы отправим вас в первую очередь. И сразу в больницу — на операцию.

— Лейда, это вы?.. Где магнитофон?.. Мне нужно... Одно добавление, очень важное... Я сдаюсь... Пусть... пусть рассказ будет полным... совсем-совсем... Ну хорошо, без магнитофона, передайте сами... с моих слов... Это про Джину... Но ей самой не говорите...

Появилась Сильвана с пачкой зеленых лабораторных халатов. Они принялись нарезать их на полосы, накладывать повязки. На соседнем столе плакала и вскрикивала лаборантка, которой вправляли вывихнутое плечо.

— Взрыв, бомба, — бормотал Умберто. — Это я виноват... Бомба была для аспиранта... Я ревновал ужасно... Все было так продумано... Я не знаю, как произошла ошибка... Просто Он переиграл меня... Он все равно знает, нет смысла скрывать... Карты на стол... Только не говорите Джине...

— Думаешь, это правда? — спросила Лейда, обернувшись к Сильване.

— Не знаю. Да и какое это имеет значение теперь?

В этот момент они почувствовали запах дыма. Дым полз под дверь осторожной струйкой, поднимал головку вдоль косяка.

Они выглянули в окно.

В заднем крыле тоже занимался пожар. Из разбитых окон, сквозь решетки, выглядывали и прятались яркие язычки. Гуще всего дымило то крыло, где была библиотека отца Аверьяна.

Приплыл тугой хлопок взрыва. Было видно, как кусок крыши вспучился, затем рухнул вниз. Как раз над тем местом, где был запасной вход в подземные кладовые.

— Все-или-никто! — ревела толпа. — Все-или-никто!.. Все-или-никто!..

6

Пламя гудело в шахте лифта. От дверей шел жар.

Они перетащили носилки с Умберто дальше по задымленному коридору. Цимкер первый вышел на лестничную площадку, но тут же упал на живот и начал стрелять вниз. Грета выползла к нему, передала запасную обойму, тоже начала стрелять.

Под прикрытием непрерывно стреляющих автоматов уцелевшие сотрудники начали один за другим проскальзывать на лестницу и, прижимаясь к стенам, подниматься вверх. Ноги скользили на стреляных гильзах. Тело Умберто безволь-

но сползало с наклонявшихся носилок. Сильвана и Лейда с двух сторон старались удержать его.

На десятом этаже лестница кончилась. Им пришлось снова выходить в коридор, снова перебегать на другую сторону. Опять была стрельба, крики. Какие-то фигуры мелькали в дыму, кто-то упал и стал кататься по полу, рыча от боли. Был момент, когда Цимкер, отскочив вслед за Лейдой в дверную нишу, прокричал над ее ухом:

— Будь я проклят, если они не за вами охотятся, Лейда! Они перестают стрелять всякий раз, как видят вас!

Последняя лестница была такой крутой, что они не смогли удержать Умберто: тело выскользнуло и покатилось по ступеням. Они не были уверены — жив ли он еще. Рана, видимо, снова открылась: темное пятно расползалось по зеленой повязке. Кое-как два охранника дотащили его на руках, через люк передали тем, кто уже вылез на крышу.

Их собралось там человек двадцать — ободранных, закопченных, заляпанных своей и чужой кровью.

Пожарный вертолет заходил с наветренной стороны, далеко выпустив вперед раздвоенную струю. Судя по густому поясу дыма внизу, пламя добралось уже до середины главного здания. Задняя часть полыхала с такой силой, что ветви окружавших ее деревьев тоже начали чернеть и заниматься огоньками. Дым валил из разбитых витражей Храма Воскресения, из Дома Покаяния, из складов. На строительной площадке то и дело полыхали белые вспышки, — видимо, рвались баллоны с ацетиленом. Исступленная толпа внизу понемногу пятилась от горящих зданий. Ее крик с трудом прорывался сквозь рев моторов. На дальнем лугу один за другим опускались и рушились маленькие грибочки парашютов. Второй самолет с десантниками выползал из-за отрога горы.

Пожарный вертолет, не убирая пенных усов, медленно опустился на крышу.

— Восемь человек! — крикнул пилот. — Раненых и женщин в первую очередь!

Сильвана судорожно вцепилась в плечо Цимкера.

— Ты ранен, молчи... Вот кровь... Нет, никакая не царапина... Я не полечу без тебя... Ты вообще инвалид... Молчи, это невозможно... Вон летит еще один, он всех заберет...

Двухвинтовой армейский геликоптер, высадив на подъездную дорогу взвод национальной гвардии, осторожно пробирался вверх между дымовыми столбами.

Умберто и еще двоих раненых уложили на железном полу. Остальным пришлось стоять. Подброшенный тепловыми струями, вертолет взмыл так резко, что Грету чуть не выбросило в открытую дверь.

Только отсюда, сверху стали видны масштабы катастрофы. Нижние этажи главного здания полыхали с такой яростью, словно под ними прорвался невидимый вулкан.

— Это водород, — крикнула Лейда. — В морозильных установках они пользовались водородом.

Умберто вдруг пришел в себя и стал кричать, чтобы его пустили, чтобы дали посмотреть. Его приподняли, помогли сесть. За шумом винта его всхлипывания были едва слышны. Прорывались только бессвязные обрывки:

— ...Нет, не все еще... Лейда, вот кровь... еще живая... Умоляю — заговорите ее, сохраните... последние фишки, спрятанные в жилетном кармане... Я так хочу доиграть с Ним... Лейда, мы все начнем сначала... Есть деньги... не бросайте игру... Это единственное, что Он не прощает... С Ним надо играть до конца... Даже продувшись в пух... Даже все потеряв...

Армейский геликоптер все же успел забрать с крыши последних людей и отлететь на безопасное расстояние, когда ударил взрыв.

Двенадцатиэтажная башня Архива дрогнула и начала медленно проваливаться в открывающийся ей навстречу пылающий кратер.

ДЕНЬ СПУСТЯ, БОСТОН-ЛОНДОН-СТОКГОЛЬМ

Конечно, это было ошибкой — так сразу пересаживаться в Лондоне и лететь дальше. Ей следовало взять номер в гостинице на одну ночь, нырнуть в прохладные простыни, в спасительный сон. Нервное напряжение последних дней сгустилось в комок непроходящей боли под сердцем. Ныло обожженное дверью лифта плечо. Каждая клетка тела, сбитая с толку авиационными прыжками во времени и простран¬

стве, безмолвно вопила о том, чтобы ей вернули пропущенную — потерянную, украденную при перелете из одного полушария в другое, — ночь.

Лейда с благодарной улыбкой приняла принесенную стюардессой чашку кофе, вылила в него рюмку коньяка, сделала несколько глотков, отвернулась к окну. Равнодушная, бесконечная голубизна кругом — что могло быть лучше для приведения в холодный, равнодушный порядок скачущих мыслей? Даже нет: мысли-то как-то утряслись сами собой, стали ясными уже тогда, когда она, сдав Умберто в больницу, добралась до Бостонского аэропорта. Трудность была в том, как перевести их в понятные другим людям и, в первую очередь тем двоим, к кому она летела, слова. Ибо не было никакой надежды, что Илья или Павлик поймут, примут, поверят тому слову, в которое она отлила теперь понимание себя, своей жизни прошлой и будущей, своей судьбы.

Порча.

Да, для нее это было теперь ясно. Порча, заклятье, ведьмовщина, злое колдовство коснулось ее десять лет назад, и с тех пор все, к чему она прикасалась или что имела несчастье полюбить, рушилось, страдало, гибло. Но ясно, что как только она попытается заговорить вслух об этой горестной инстинктивной убежденности, все моментально утратит глубину и истинность, начнет мельчать, превращаться в цепь простых событий и обстоятельств — обстоятельств, которые можно изменить, с которыми можно бороться. Научная работа зашла в тупик? Скажут, с кем этого не бывает, можно начать сначала, пойти по другим ветвям. Сама идея была профанирована Большой игрой, искажена, навсегда вплелась в страсти и надежды "подзащитных Христовых"? Вспомнят, что десятки великих идей зарождались как новые доказательства премудрости Господней, вплетались в богословие, но ничуть не утрачивали при этом своей значимости. Как говорил покойный отец Аверьян: "Ирония Божия очаровательна и непредсказуема". Ну а что касается московского спрута, который снова протягивал к ней свои жадные щупальца, то не на таких напали. Вот мы какие верткие — если он нас вблизи не сумел как следует ухватить, так вдали тем более не достанет.

Крыло самолета медленно поползло вверх, поднялось над чертой горизонта. Ослепительный голубой овал окна манил, как рекламная картинка тропического курорта, не вязался с леденящими цифрами забортной температуры, объявленными стюардессой. Быть может, хранилище пробирок с кровью следовало устроить не в подвалах Архива, а здесь, поближе к Космосу? Во всяком случае, беснующаяся толпа не добралась бы сюда с такой легкостью. Если Умберто выживет, он, пожалуй, сможет загореться этой идеей.

Лейда поставила на поднос опустевшую чашку, прикрыла глаза.

Нет, такие слова как "заклятье", "порча" она постарается не употреблять. Она просто скажет им, как они должны вести себя теперь, что им следует делать. И все. Почему? Как всегда — тайна, не может им объяснить. Они привыкли ей верить, поверят и сейчас. Все-все, весь груз надо взять на себя. Раз им не по силам реальность мистики, пусть подчиняются мистическим ирреальностям. Илье сказать, чтобы прежде всего при получении визы сменил фамилию. Пусть возьмет девичью фамилию бабки Натальи или вообще выдумает. Университет выберет себе по вкусу, но главное — чтобы в другом городе и в другом штате. Жить в общежитии. Переписка — на почтовый ящик. Павлик может остаться под своей фамилией, но жить тоже — где-нибудь подальше. Конечно, она поможет поначалу — деньгами, советами. С языком ему будет нелегко. Впрочем, сейчас много организаций помогают беженцам. Может, и работу подыщут. Кажется, на геологов нынче спрос. Если он будет вести себя тихо, может быть, и семью со временем к нему отпустят. Но сейчас надо, чтобы они с первой встречи поняли, что жизнь теперь пойдет у каждого своя, по своей дорожке. Так, чтобы если заклятье или щупальце ударит в нее снова, других это не коснулось бы. Надо быть с первого момента спокойной, сдержанной, почти холодной, загадочной, непроницаемой.

Англичанин, сидевший справа от нее, в очередной раз принялся бороться с разваливающимся на куски номером "Таймса", в тесном пространстве одолел ворох страниц, сложил, поднес к очкам международные новости. Лейда, скосив глаза, увидела на фотографии знакомую башню Архива,

клубы дыма из окон, кружащие в стороне вертолеты.

"Фанатичная толпа штурмует главную квартиру Подзащитных христовых".

"Убийство руководителя секты".

"38 человек погибло во время беспорядков, 206 ранено".

"Полиция подозревает организованный саботаж".

"Врачи не ручаются за жизнь директора Архива".

"Материальные убытки оцениваются в миллиард долларов".

"Епископ Чикагский видит в разрушении Архива Страшного суда перст Божий".

Статья и фотографии занимали почти целиком две страницы. Но все равно, отлитая в газетные строчки драма утрачивала свою грандиозность, непоправимость. Очередная катастрофа, авария в ряду других, из тех, что выносятся каждый день в заголовки новостей, чтобы мелькнуть, привлечь минутное внимание и завтра исчезнуть на свалках использованной бумаги. Все же Лейда захотела прочесть. Она тревожилась за судьбу двух лаборанток,— может, там уже есть списки погибших и раненых? Но англичанин все разворачивал страницу к свету. Прочесть не удавалось.

В этот момент что-то произошло с ее глазами. Словно она смотрела на экран телевизора, и кто-то без предупреждения переключил программу. Новая программа была размытой и дрожащей. Звук то заглушался скрипами и шумами, то пропадал совсем. Она видела улицу в Таллине, ту, что вела от их дома к вокзалу. Несколько мужчин в шляпах и пиджачных тройках шли по ней молча и торжественно. Главный шел впереди, чуть улыбаясь: Она узнала отца. Игнациус Ригель выглядел очень пожилым и почтенным. Разве он дожил до таких лет? Остальные были то ли его учениками, то ли свитой. Но вдруг один из них забежал вперед и стал на пути, показывая рукой, куда свернуть. Отец задумался на минуту, потом пожал плечами и вошел в указанную ему дверь. И все остальные, словно скинув с облегчением груз торжественной медлительности, кинулись к этой двери, стали заколачивать ее досками, навешивать замки, забивать щели.

Потом возник отец Аверьян. Он не появился на экране, но каким-то образом его присутствие на этой улице, в стороне от людей, замуровывавших дверь, стало понятным, потому что она заговорила с ним. Она сказала, что очень любит

отца и верит, что могла бы воскресить его, если бы любила еще сильнее. Ей трудно поверить, что воскрешать и выбирать для воскрешения будут по Суду, но она могла бы поверить, что воскрешение возможно по любви. Но поверить в это по-настоящему мешает страх. Потому что нет ничего ужаснее: любить кого-то и вдруг обнаружить, что ты не можешь вернуть любимого к жизни, потому что любовь твоя оказалась слабой и недостаточной. Ибо тогда чувство вины убьет тебя самого очень быстро.

Программа снова переключилась. Улыбающееся женское лицо заняло весь экран, губы беззвучно шевелились. Лейда догадалась — кивнула, застегнула ремень. Стюардесса ушла дальше по проходу, ее место заняла медсестра в белой маске. Другие сестры и врачи неспешно двигались по операционной, передавали друг другу инструменты, банки с кровью, марлевые тампоны, резиновые трубки. Лейда чувствовала себя немного неловко, потому что забыла, какая роль на этот раз отведена ей. Давать наркоз? Переливать кровь? Потом поняла, что все это маскарад. Что под белыми масками спрятаны не медсестры, а какие-то незнакомые мужчины. Всмотревшись внимательнее, она узнала таллинского коротышку с усиками, милиционера с вокзала в Пскове, Мышеедова, громилу Фрэнка. Полковника Ярищева не было видно, но один врач все время поворачивался спиной, прятал лицо. И еще она поняла, что к операции — или к чему-то еще — готовят ее саму. Ей стало жутко.

Сон накатывал волнами, но все не мог одолеть нервного возбуждения, затянуть сознание целиком. Она увидела траву, несущуюся за окном, ощутила дрожь удара колес о землю, услышала радиоголос, просящий оставаться на местах. Потом снова оказалась в операционной.

Отец Аверьян лежал на столе. Она видела только его голову. Остальное тело оставалось за марлевым экраном, — видимо, его оперировали. Он сказал, что наркоз не нужен, потому что он все равно ничего не чувствует. Она не стала настаивать, заговорила о другом. Она сказала, что для нее самым важным и ошеломительно новым в его проповедях, и в то же время, самым непостижимым, было истолкование библейских заповедей, Закона. Только от него она услышала, что заповеди, учащие различать "хорошо" от "плохо", есть лишь часть Закона. Что в Законе — особенно в Ново-

заветной части его — есть еще и различение между "высоко" и "низко" и что человеческому разумению часто не по силам одолеть противоречие, которое возникает между двумя частями Закона, и люди пытаются закрыть глаза на одну из них. Одни признают только "хорошо-плохо" и знать не хотят о второй части. Или пытаются доказывать, что "хорошо" и "высоко" — одно и то же. Другие, наоборот, так сосредоточены на "высоко-низко", что готовы объявить "хорошо-плохо" тягостными и ненужными путами. И это, конечно, правда, что Закон не мог быть похож на уголовный кодекс, с четко расписанными наказаниями и наградами, и правда, что большинство предпочло бы именно такой Закон, и правда, что страх перед двойственным, размытым, неясным Законом — не приказом, но зовом — есть страх свободы. Но правда и то, что даже понять все это — не поможет избавиться от страха.

Сквозь ткань сна прорывались голоса проходящих к выходу пассажиров, мелькали лица пилотов, таможенных чиновников, чемоданы, плывущие на ленте транспортера, и, видимо, Лейда спокойно шла в толпе, делала все, что нужно, показывала и подписывала нужные бумаги, потому что никто не останавливал ее, не обращал внимания, но при этом она ни на минуту не прерывала свой разговор с лежащим на столе проповедником.

Она начала расспрашивать его о том датчанине, которого он так любил цитировать — как же его звали? — ну тот, который говорил, что величие человека прямо зависит от того, с чем человек боролся в жизни: с миром, с собой или с Богом. А в другой раз еще одно место (или это было там же?), про то, что каждому воздастся по любви. И что даже тому, кто любил себя, может быть воздаяние — если любил в себе что-то непустяшное. А тому, кто любил других, воздастся за преданность. Но выше всех будет превознесен тот, кто вынужден был расстаться с любимым, но сохранил при этом любовь — со всей ее болью и безысходной тоской. Кто отказался от обладания, не отказываясь от самой любви.

— Но я не могу, — сказала она вслух. — Пусть ничтожная, мелкая, клейменная порчей, заклятая — такая, как есть, — я не могу отдать их. Потому что тогда вся жизнь станет просто бессмысленным переползанием из одного дня в другой, из пустого в порожний.

Толпа встречающих раздвинулась, она увидела сразу их обоих — сына и возлюбленного — исхудавших, одинаково стриженных, настороженных, ставших чем-то похожими. Илья стоял чуть впереди, тоже обросший бородкой, смотрел на нее, не узнавая.

Она пошла к ним, протягивая руки, обняла обоих, но бредовая смесь сна и яви все не отпускала ее, и она продолжала говорить им про то же самое, про что начала с отцом Аверьяном. Что они должны простить ее за то, что ей оказалось не по силам, что вот ведь она уже пыталась отказываться, на несколько лет их потеряла, а больше она не может, ни того, ни другого не отдаст ни на один день, сколько бы их там ни осталось у судьбы в запасе и чем бы ни пришлось платить — да, не только ей платить, но и им тоже, — потому что не зря же судьба вернула их ей, свела снова чистым чудом, если уж такой дар отвергнуть — ох, она накажет, и правильно сделает, да, не слушайте, я околесицу несу, потому что не спала две ночи, а до этого тоже всяких страхов натерпелась, да, вы читали уже в газетах, но теперь, наверно, будет перерыв, перерыв ведь дается даже самым слабым и не великим, не по заслугам, просто чтобы дух перевести, нам всем троим очень-очень нужен...

Нивесть откуда вынырнувшая стайка репортеров суетилась вокруг них, щелкала фотоаппаратами, забрасывала вопросами:

— Миссис Ригель, что послужило причиной нападения на Архив?

— Правда ли, что отец Аверьян был убит охранником?

— Верили ли вы, что увидите сына снова?

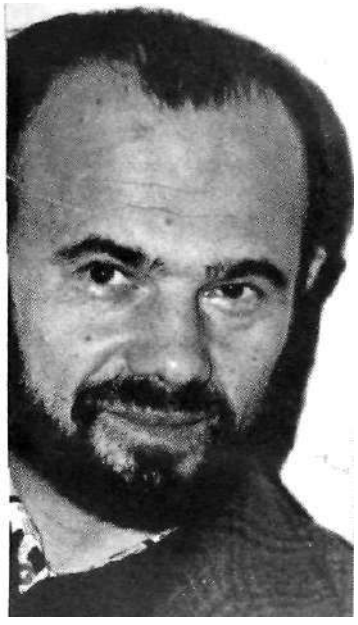
— Возможно ли возрождение Архива?

— Кто первым пустил в ход оружие?

Илья заслонил Лейду собой, раскинул руки.

— Джентльмены, вы же видите, в каком она состоянии. Прошу вас, дайте дорогу. Ей необходим отдых.

Павлик отмахнул нацеленные на них со всех сторон микрофоны, раздвинул репортеров, бережно повел ее по коридору к выходу. Илья шел рядом, пытаясь на ходу поправить сползшую с плеча повязку, прикрыть бурый волдырь ожога. Она шла послушная и притихшая, время от времени поднимала недоверчивый взгляд то на одного, то на другого, проводила ладонью по лицам.



Евгений НАКЛЕУШЕВ

ХОТЯ ЧЕЛОВЕК НЕ ВЕЧЕН...

* * *

Из бормотания веков,
Разноголосицы преданий,
Рассыпавшихся в прах основ,
Из каменеющих названий —
Родится смысл...

АРХАИКА

Последний цвет
желт.
Черна небес
синь.
Добро зовут
ян,
Начало зла —
инь.

Жена всегда —
инь,
А воин свой —
ян.
Китай совсем
юн.
Его зовут
Шан.

Громада лет
вслед,
Труды веков —
зря:
Хоть разорвись
свет —
Начал опять
два.

И если ты
чуть
Из стада вбок,
так
Уже чужой
всем,
Уже для всех
враг.

1966

* * *

Миллионы алых тюльпанов —
По весенней степи огни.
Их топтали тьмы караванов,
Мы их видели, и они —
Улугбек, Саади, Айни.

А еще сколько их? — безвестных,
Что ушли, не бросив следа,
Трижды мудрых, но слишком честных.
Мысли их, что в песках вода —
Не изведать нам никогда.

Ты идешь тропами пустыни,
И не видишь конца пути,
Но ты видишь избела-синий
Небосвод — свод палат Махди, —
И иных, чей час впереди.

1967

КОНКИСТАДОРЫ

Еще вчера издыхали от голода и от скуки,
И мир был тесным и старым —
А нынче тесно бокалам —
Вина нам!

А нынче нам черт не страшен! —
Одни, за туманом мглистым,
Святое дело Конкисты —
Клянемся Девою Чистой!

А нынче нам все возможно —
Власть, золото — все возможно!
Язычники?! — сих ничтожных
Мы вправе хоть всех избить!

Мы — слуги Божьего гнева!!!
Помилуй, Святая Дева,
Жить мы хотим, жить...
Немыслимо в Свете Старом. —
Вина нам!

1968

В 13-ом веке — веке монгольского завоевания, когда, казалось, обесценилась жизнь человека, на скале среди изображений каменного века никому не известный монгол, по имени Бальгур, написал: "Хотя человек не вечен..."

* * *

Дымилась земля под копытами дней —
Как будто земля горела.
И солнце не смело пробиться к ней,
И птица запеть не смела.

И в прах рассыпалися города,
Ложились пески в сугробы,
И разве лишь ветер щурил глаза
Неистовой этой злобы.

Но, всадник, цепляясь за гриву коня,
Изрублен в смертельной сече,
Последним дыханьем шептал про себя:
"Хотя человек не вечен..."

1968

ТЕМУЧИН *

В сотый раз сменили мечи,
До Онона сто дней скачи.
Гонят в ад — в закат, ясачи —
Ибо он велел, Темучин.

Нет покоя и в злой ночи —
Раны битвы в седле лечи.

---

* Темучин (Тэмуджин) — имя, которое было дано при рождении Чингисхану.

Зубы стиснув, в огне молчи —
Ибо он велел, Темучин.

Малахаи и епанчи
От Чанани до Урумчи,
Города, что дрова в печи —
Ибо он велел, Темучин.

По дорогам свистят бичи —
Весели сердце, раб, кричи!
Пей из лужи конской мочи —
Ибо он велел, Темучин.

Воздаяние ждет в ночи —
Не помогут тебе врачи.
Знают, стар и мал, улусчи —
Страшно сдохнешь ты, Темучин!

1969

* * *

С вами такое бывает? —
Мальчик влюбился в Раннаи,
Жрицу-певицу Раннаи
Среднего царства в Египте.

С вами такое бывает? —
Жить он не смог без Раннаи,
Жрицы-царицы Раннаи,
В Древнем рожденной в Египте,

С вами такое бывает? —
Смог он достигнуть Раннаи,
Жрицы-певицы Раннаи,
В бездневековом Египте.

С вами такое бывает —
Был он отвергнут Раннаи,
Жрицей-певицей Раннаи
В Древнем, как горе, Египте.

Жрицей-певицей Раннаи
В Древнем, как песня, Египте.
В Древнем Египте...

1970

* * *

Выключишь радио визг.
Дождь и снег.
Ветер у берега будет
выть, не переставая.
В сердце ударит —
Япония, восемнадцатый век.
Ночь эта — синяя тушь
полотна Хокусая.

1970

К ПЕЙЗАЖУ МА ЮАНЯ — ХУДОЖНИКА ЭПОХИ СУН

Эта прозрачность света,
Воздух росинки чище,
Нежная тонкость веток —
Так хорошо, дружище!

Так иногда в ненастье
Солнце меж туч проглянет —
Я улыбаюсь ласке
Старинного Ма Юаня.

Озера эта гладь —
Зыбкий сквозь вечность путь.
Если б вот так объять
В жизни хоть что-нибудь!

1968

**"Полегли они в земле сырой.
Аой!"**

"Песнь о Роланде"

* * *

Он создал "Песнь о Роланде"
В век, сумрачный и больной.
Он был на диво талантлив,
Но суть не в нем-музыканте —
Век сделал "Песнь о Роланде"
Хвастливой и детски-злой.

Весь век излился в "Роланде",
Безжалостный и слепой.
Век вовсе не был талантлив,
Но суть не в нем — в музыканте,
Что создал "Песнь о Роланде"
Щемящей, как стон: "Аой!"

1968

ПЛЕНЕНИЕ РИЧАРДА ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ

Мой Ричард, надвинь забрало!
Ты видишь желанный берег,
И солнце течет по скалам,
Но стрелы врагов запели.
Мой Ричард, надвинь забрало!..

А волны искрятся ало,
Свободные, как и прежде.

Заря расплескалась в скалах.
А тысячи волн уходят —
К столь близкому! — побережью.

1970

ПЕСНЯ ОБ ОТСТУПЛЕНИИ

Снега да снега —
Белесая мгла.
И горы молчат,
Обиду тая.
И сосны вдали,
Как горестный вскрик,
И звезд этих миг,
Как девичий всхлип.
Снега да снега...

Снега да снега —
Без края снега.
Уходит отряд,
Теряясь в горах.
Тропа высока —
Как жизнь, нелегка.
Поземка прошла,
И след замела.
И след замела...

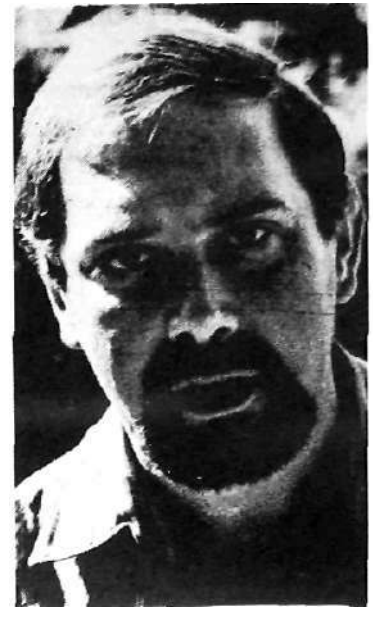
1967

КАЗАЦКОЕ ПРЕДАНИЕ

Этот вечер, как раненый, тих —
и дымится земля, как
открытая рана,
И кровавыми пятнами —
вспышки дозоров в ночи.
Но придешь ты,
закутавшись в плащ-невидимку тумана, —
И проигранной битвою,
раскаленным обломком меча
мое сердце стучит!

Для одной, для тебя
мы прошли, словно смерч, по дорогам
Ирана,
Для тебя, для одной
без надежды за льдистые взялись мечи.
Но придешь ты,
закутавшись в плащ-невидимку тумана, —
И проигранной битвою,
раскаленным обломком меча
мое сердце стучит!

1968



Борис ПОЛЯКОВ

ПОПЫТКА ОДЫ

Веселым смехом начинаешь день,
Еще один, твоей послушный воле.
Расту к тебе. Ищу нездешней роли,
А ты, как все, отбрасываешь тень.

Но есть в тебе невидимая ось,
Атомный стержень, жреческая сила,
Движенье к свету, плодородность ила,
Естественности сладостная гроздь.

Живешь со мной, превозмогая страх,
Даешь с улыбкой и берешь в слезах,
А любишь безрассудно, как приснилось.

Мне не видны в привычном блеске дня
Огни-глаза, глядящие в тебя.
Я чувствую: твоя душа свершилась...

1.

Мне хочется понять, какая ты,
И почему, с двадцатым веком рядом,
Не задохнулась ты могильным смрадом
И нет в тебе привычной пустоты.

Ты — цоколь мой, и ты же — мой венец.
Тебя не давит каиново бремя.
Давай пересидим, наивно веря,
Что не за нами прибежит гонец,

Что не о нас глухие стоны гонга,
Не нашу жизнь отстукают часы,
Что наше ложе — холодок росы,
Что я — пацан, и ты — еще девчонка...

2.

Ты так несовременно терпелива
В наш лихорадочно-спешащий век.
Зову тебя, не разжимая век, —
Мне по утрам особенно тоскливо.

А ты с утра в бесчисленных делах,
Забыв и раздраженье, и усталость,
Не думая: прошло или осталось
То, что всегда, всегда в моих глазах.

Ты странная: ты любишь быть одна
И помнишь даты встреч и расставаний,
Тебя страшат провалы расстояний
И вовсе не пугают времена...

3

Ты не летишь в пространстве на авось,
Ты, как Земля. И никакие страсти,
Кипенье лав, вселенские несчастья
Не повернут тебя ни вкривь, ни вкось.

Тебе не страшен этот чертов круг,
В котором мы присуждены кружиться:
Ты знаешь направление, как птицы,
Летящие по осени на юг.

Как чары древнегреческой богини,
Твоя звезда воздействует на всех.
Тебе всегда сопутствует успех,
Завороженный пассами твоими...

4.

Спокойствие безвестного кумира
Неназванно живет в твоей душе —
Неясное виденье рубежей —
Тончайший запах звездного эфира,

В тебе — разбег бушующей волны —
Простертая рука — затменье Солнца —
Рисунок тушью — кимоно японца —
И теплый дождь — и пыльная полынь,

В тебе — причина всех других причин,
Сама в себе ты — мать и ты — дитя,
Извечная гримаса бытия:
Рождений радость и тоска кончин...

5.

Прости меня, я — всюду за тобой.
С пристрастием ищу в моей судьбе,
Что сделано, что светится во тьме,
Чтоб заслужить прощенье и покой.

Мной — ничего, как я судить могу.
Но наш ли суд нам раздает награды?
Наш суд — не дальше бедненькой ограды,
Пусть даже на высоком берегу.

А ты не ищешь истины в словах,
Не просишь ни прощенья, ни признанья,
Не думаешь, наверно, о призванье,
О смерти и несбывшихся мечтах...

6.

Вне времени в неистовстве историй,
Как все, кто были, кто придет потом…
Я зачарован глубиной в простом:
Прозрачным звуком в вопле какофоний.

Ты не случайна, ты была всегда —
Период, тема, простенький мотив.
Любить и верить, и продолжить миф,
Утешить, напоить и снять с креста

Приходишь ты. И верностью твоей
Рождается ответное стремленье...
И твой приход — счастливое знаменье
Незряшности прожитых мною дней...

7.

Нет, ниже, мысль, пади к земле с высот!
Здесь полужизнью пьяны полулюди —
Полурабы, аморфные, как студень,
Здесь борозды немыслимых забот

Все раньше видны в лицах молодых.
И колесо вращается быстрее,
И с каждым поворотом все больнее
Чужие локти тычутся под дых.

И дик мне был бы мир, когда б не ты,
Когда б не дар — как голос, как походка,
Как цвет волос — бесценная находка:
Твое уменье жить без суеты...

Элий ВАЙНЕРМАН

ПОЛИФОНИЯ

* * *

Как мы уютно сели у фотообъектива!
(О, музыка органа! Капеллы томной пенье.)
Сейчас фотограф щелкнет и нас запечатлеет.
(А за стеною вьюга метет) для поколений.
...для плюшевых альбомов, настенных фотографий,
В стеклянных рамках тусклых,
В фольге, луной светящей, —
Как мы сидели, тесно друг к другу прижимаясь
Коленями, локтями, сердца друг друга слыша.
Ты в вечности, мгновенье. — И мы не разлучимы. —
...крушительницы войны... великие изгнанья...
Мы горсть песка, песчинки мерцают на ладони —
горсть нашу разметало.
О, в дряблой паутине унылые альбомы!
На выцветших обоях окошки фотографий. —
Как мы уютно сели... —
А лес растет на склонах, в песке холмов могильных,
И некто пролистает старинные альбомы —
— Ему мы незнакомы...

* * *

За горизонтом тот же самый пейзаж,
Что и в двух шагах от меня... —
Не надо идти к горизонту.

ВЕНЕЦИЯ. СИДОН

Венеция. Сидон, Афины. Роттердам. —
Величьем города, обязанные морю.
Их карту я черчу, окно средь дня зашторя.
В графине голубом — из чайника вода.
На грифельной доске классический пейзаж:
Пирс. Мачты каравелл. Вдоль берега заставы.
Томящие слова: ...Марина... Экипаж...
Угрюмый днища гул и трапа скрип картавый.
Торговый грузный флот и мчащийся фрегат.
Линейных кораблей старинные названья.
О "Санта-Исабель!" Нептуна изваянье
Над взмывшею волной. — И шире мир стократ.
И я (Весна! Апрель!) иду напропалую
По лужам, обойдя сухую мостовую.
Убогий! — скажешь ты, — иллюзии он рад.
Ах, кто это писал? — "Стал служащим пират",
Боится сквозняка и боли в пояснице.
Начальника. К чему теперь стремится?
Маршрут: универсам, с котлетами пакет.
Величие морей... — И мелочь наших бед.

* * *

"Потомки всегда оправдывают
Несправедливо убитых". —
— Это создает иллюзию
Исторического прогресса.

ПАН ЭУСЕБИУШ, СЛУШАЮЩИЙ КАНАРЕЕК

Пан Эусебиуш, слушающий канареек.
В комнате с предвоенными журналами, книгами.
Книги и журналы окаменели...
Пан Эусебиуш, когда канарейки поют особенно громко,
Оживает — ожидает Яся.
Задохнувшись, сползает к входу... —
— Фотография, пальцами пана Эусебиуша истертая:
"Яцек. 1931-й - 1939-й годы".

В ПАРКЕ

Прыгает белка. Шар голубой.
В трещинах мрамор. — Титана висок.
Старец я. Море за парком. Прибой.
Мальчик в сандаликах дует в свисток.
Гул нарастает. Ком снежный растет.
Горный обвал бьет в лоб панцирный дня.
Старец глаза (пальцы мокрые) трет:
Мальчик в сандаликах. Разве он — я?
Вечная белка. Шар голубой.
Мохом обросший Титана висок.
Было начало... —
Песок и прибой.
Мальчик в сандаликах дует в свисток.

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ОГЛЯНИСЬ В СОМНЕНИИ

Когда в январе 1973 года мы летели в Израиль, точнее, летели из Москвы в Вену, в салоне самолета, битком набитом московскими евреями, объявился человек, явно ощущавший себя среди нас белой вороной. Все только и говорили об Израиле, как там нас встретят, как там все будет. Он же держался особняком, ни в каких наших разговорах не участвовал и даже будто бы стеснялся их. "В Рим едет, в Америку, — услышал я рядом чей-то голос, не столько, впрочем, осуждающий, сколько удивленный.

Тогда еще даже слова этого не было — "прямики" — оно появилось позже, когда тысячи советских евреев с израильскими визами в кармане устремились из СССР в Соединенные Штаты Америки. Но как я теперь понимаю, этот человек, выглядевший среди нас белой вороной, и был первый "прямик", который встретился в моей жизни.

А недавно, во время своей последней поездки в Тель-Авив, выходя из книжного магазина "Лепак" на улице Рамбам, я встретил старого московского знакомого, который

столько лет не решался уехать и вот, как видно, рискнул. Увидев меня, он страшно обрадовался и сходу выложил всю свою предотъездную одиссею — как вначале не хотела ехать жена, потом взбунтовалась ее мать, и вот теперь согласились все. "...И ты знаешь, — продолжал он, словно бы исполненный удивления своему героическому шагу, — из всего самолета только я один и свернул в Израиль". "Белая ворона?" — спросил я. "Точно, белая ворона!" — ответил он и весело засмеялся, так и не уловив в моих словах иронии.

Недавно одна из израильских газет сообщила своим читателям такие цифры. С 1970 по 1973 год число евреев, не доезжающих до Израиля, не превышало одного процента. Начиная со второй половины 1973 года эта цифра поднялась до четырех процентов. Затем она увеличивалась примерно на 10 процентов в год, а за последние пять лет колеблется от 70 до 98 процентов. Итак, едва пробивавшийся в начале семидесятых годов тоненький ручеек "прямиков", или, как их называют на иврите, "ношрим", превратился в мощный поток эмиграции, направляющийся в Соединенные Штаты. Естественно, явление это не могло не встретить самой острой реакции со стороны израильского общества. На головы "прямиков" посыпался град обвинений в том, что они плохие евреи, лишенные чувства национального самосознания, а заодно и требования — лишить их помощи со стороны еврейских организаций.

Но ничто не могло изменить этой парадоксальной и в чем-то драматической картины: по израильским визам в Америку выехало около 120 тысяч человек! Правда, эта цифра пока еще уступает числу новых иммигрантов из СССР в Израиле — там их число составляет 160 тысяч. Но, как видим, тенденция явно не в пользу Израиля. И, как это для него ни печально, белыми воронами сегодня выглядят те, кто, движимый национальным чувством, едет сюда, а не в Соединенные Штаты.

Чем же определяется этот выбор? Чем руководствуются люди, отдавая предпочтение — нет, не только тому или иному месту жительства, но и всему будущему укладу своей жизни? И чем рознятся между собой эмигранты — те, кто едет в Израиль, и те, кто в Соединенные Штаты? Попытки разобраться в этих вопросах мы все чаще встречаем на страницах самых влиятельных израильских газет, таких, как "Маарив", "Ед-иот Ахоронот", "Гаарец", "Давар". Утверждение, что "прямики" — плохие евреи даже в Израиле уже мало кого устраивает. И вот, чтобы разобраться в комплексе проблем, отвечающих на столь волнующий израильян вопрос: что именно влияет на выбор советских евреев, при Иерусалимском университете была создана исследовательская группа во главе с доктором Эли Лешемом,* заведующим исследовательским отделом министерства абсорбции, которая решила провести опрос среди новых иммигрантов. В основу опроса был положен целый ряд факторов, влияющих на выбор страны проживания. Личность иммигранта, его отношение к политическим, экономическим и социальным ценностям, далее — социальное окружение эмигранта в СССР и влияние этого окружения на его выбор. Характеристика страны иммиграции в письмах, идущих из Израиля и Америки. Наконец, отношение органов абсорбции к новоприбывшим, материальные и другие льготы, предоставляемые иммигрантам. Итак, был проведен опрос 348 человек, не приехавших в Израиль или покинувших его в течение шести месяцев пребывания в нем. Это, — с одной стороны, а с другой — была опрошена группа в 215 человек, решивших остаться в Израиле.

Среди факторов, влияющих на выбор советских евреев, по мнению группы Лешема, личность иммигранта играет особую роль. Опрос показал, что лица мужского пола от 20 до 50 лет, выехавшие с семьей, люди с высокой или очень высокой научной квалификацией, выходцы из Москвы, Ленинграда, Сибири, Центральных областей СССР не абсорбировались в Израиле. Иначе говоря, люди более молодые, более образованные, с сильно выраженными личными амбициями, исполненные стремления к личному продвижению, — предпочли Соединенные Штаты Америки. Этот вывод очень скоро начала

*См. В.З.Рубинзон. Алия в зеркале социологии. "Время и мы", №59.

оспаривать другая группа социологов. Высказывалось мнение, что группу в 215 человек, избранную для опроса, нельзя считать репрезентативной.

"Если полагать, что наиболее молодые, энергичные и знающие едут в Америку, а в Израиле остаются пенсионеры и специалисты второго сорта, — говорили оппоненты группы Лешема, — то как объяснить, что новые иммигранты из СССР — это ведущие ученые математического департамента Тель-Авивского университета, что они составляют две трети всех врачей израильских профсоюзных поликлиник — купат-холим, что они насчитывают одну треть инженеров всеизраильской электрической компании "Хеврат Хашмал", а в израильской авиационной промышленности их влияние настолько велико, что без них эта ведущая отрасль экономики страны вообще не могла бы нормально функционировать?"

Когда раздумываешь над выводами группы Лешема и ее оппонентов, то приходишь к выводу, что истина где-то посредине. Точнее, результаты, полученные этой группой, относятся не столько к демографической структуре обеих групп иммигрантов, сколько к тенденции. Да, действительно, в последние годы наиболее квалифицированные специалисты из центральных областей СССР предпочитают ехать в Америку. Но очевидно и то, что этот вывод приложим к определенному отрезку времени, который и оказался в поле зрения группы Лешема, но не говорит вообще о качественном преимуществе одной группы перед другой.

Однако если коснуться влияния социального окружения в СССР на выбор человеком страны иммиграции, то это влияние бесспорно в пользу Америки. Выработались определенные стереотипы — на основе получаемых писем, непрекращающейся антисионистской пропаганды, — что Израиль — это местечко, а Америка — страна гигантских возможностей, что Израиль — страна националистическая, где властвуют религия и раввинат, а Америка — страна подлинной демократии, что из-за войны висит угроза над жизнью каждого израильтянина, а про Америку, хоть и говорят, что там от автокатастроф и преступности гибнет больше, чем от войны в Израиле, — но это не более чем пропаганда. Эти стереотипы подчас не имеющие даже отдаленного отношения к реальности, становятся нормой мышления, приобретают характер массового гипноза.

А как влияет на иммиграцию деятельность органов абсорбции? Группа Лешема развеяла бытовавшую легенду о зловещей роли всякого рода бюрократий. О том, что Сохнут и министерство абсорбции Израиля угробили алию. О том, что ХИАС им в этом помог, оказывая щедрую помощь "прямикам". Конечно, чиновники, принимающие новоприбывших, сделали свое дело. Но ведь опрос показал, что 77 процентов не приехавших в Израиль, еще будучи в Советском Союзе, приняли решение направиться на Запад. И только 18 процентов остались бы в Израиле, если бы помощь еврейских организаций была сокращена и упразднена. И лишь 9 процентов заявили, что они предпочли бы остаться в Советском Союзе, если бы вопрос стоял так: Советский Союз или Израиль?

Дальнейшие события подтвердили правильность этих выводов. Некоторое время назад ХИАС под давлением официальных кругов Израиля решил прекратить помощь "прямикам". И что же? При общем спаде эмиграции, вызванном насильственным удержанием евреев в СССР, процент уезжающих в Израиль ничуть не вырос. Зато растет давление советских евреев, требующих права на выезд. Они требуют предоставления им этого элементарного человеческого права, независимо от того, как себя ведут чиновники Сохнута. На их решение не влияет и позиция ХИАСа, который, кстати, эту позицию сейчас пересматривает. Среди американского еврейства да и в самом Израиле одерживает верх единственно достойная точка зрения: человек имеет право жить там, где он хочет и всякое давление на него безнравственно, какими бы мотивами оно не диктовалось.

Как мы уже говорили, согласно выводам группы Лешема, в Америку стремятся прежде всего те, в ком сильны амбиции, люди, верящие в свою звезду. Советские власти мешали им выявить их недюжинные таланты, проявить свою энергию — именно для таких, как они создана Америка! Груп-

па Лешема не ставила своей задачей выявить, что поджидает их в вожделенной Америке, а то бы пришлось ей отметить, что как раз самых амбициозных и поджидает предательская неожиданность. Я не хочу обращаться к набившим оскомину трюизмам: в одном только Нью-Йорке, скольким инженерам, музыкантам, журналистам пришлось сесть за баранку такси! Что же до устроившихся по специальности, то процент их ни в НАЯНе, ни где бы то ни было неизвестен вообще. Ибо такой задачи — устраивать иммигрантов по специальности никто и никогда в Америке не ставил. Все начинают с нуля, каждый пробивается сам: "Посмотрите, с чего начал Форд, с чего начал тот, с чего этот?" В Америке — все формализовано, все переведено в цифры, — но есть, как мне кажется, род цифр, на который обществом наложено "табу", — это цифры "пробившихся" и "застрявших". Тех, кого Америка вознесла, и тех, для кого стала проклятьем. И не здесь ли, не в утраченных ли мечтах и нереализованных амбициях источник столь знакомой нам эмигрантской паранойи!

Ну а в Израиле, о чем может мечтать человек, едущий в маленький, местечковый, левантийский Израиль? Группа Лешема сообщает, что сюда едут менее амбициозные и зачастую менее уверенные в себе люди. Но вот парадокс: этот маленький, местечковый, левантийский Израиль как раз и пробуждает в них уверенность и профессиональные амбиции.

— Какие планы? Что собираешься делать? Ведь тебе вроде уже за пятьдесят, — осторожно спросил я своего московского знакомого, встреченного на улице Рамбам, который из всего самолета один завернул в Израиль.

— Как что, — удивился он, — работать! Пускай устраивают в Солель Боне.* Кем я там был, — инженером? Вот пусть инженером и устраивают.

И того же требуют многие. И то, что в Америке звучит как нонсенс, здесь является молчаливо признаваемой обществом нормой. Я подчеркиваю: молчаливо! Ибо, как всякое нормальное государство, Израиль не любит иждивенцев,

*Солель Боне — крупнейшая строительная фирма в Израиле.

и, как во всяком нормальном государстве, не ждут здесь иммигрантов молочные реки и кисельные берега.

Я хорошо помню, как на одном из собраний новоприбывших бывший министр абсорбции Шломо Розен заявил: "Поймите, Израиль вам ничем не обязан, мы дали вам пищу и кров и будьте этим довольны. Здесь вам не Советский Союз, нам просто не нужно столько врачей и столько инженеров..."

Такие заявления, скажем прямо, не поднимающие духа иммиграции, вы и сегодня можете услышать из уст любого чиновника Сохнута или министерства абсорбции. Но вот тут-то и начинается один из самых удивительных феноменов Израиля. Если государство говорит, что оно вам ничем не обязано, то отсюда совсем не вытекает, что это так и есть. Более того — не вытекает, что само государство чувствует себя свободным от этих обязанностей. Да, обвиняют, говорят, что ничем не обязаны, стыдят, что плохие евреи, и при всем этом — помогают, ибо, какими бы "плохими" они ни были, они все-таки евреи и приехали в свое еврейское государство. Вот отсюда и эта амбициозность: где-где, а в своем государстве я могу требовать, чтобы дали работу по специальности.

Двести иммигрантов, прибывших в Израиль и имевших высшее образование, в течение семи месяцев переучивались на бухгалтеров и получали стипендию — жили за счет государства, а когда кончили, то большинство так и не захотело работать бухгалтерами. И стали требовать другую работу. И настаивали, и стучали по столу... Я не раздаю здесь никому оценок, а говорю лишь о нравственном самочувствии человека — о его праве, ох как многое себе позволить, когда он живет в собственном доме.

Предвижу вопрос: но отчего же тогда рвутся из Израиля — и не куда-нибудь, а именно сюда, в эту жестокую, неуютную клокочущую Америку. Было бы смешно отрицать этот факт: именно рвутся! Во время своего последнего приезда в Израиль был я в гостях у своего старого знакомого — ведущего специалиста крупной израильской фирмы. Мы сидели за сто-

лом, в его собственной великолепной квартире, в кругу его близких и столь же хорошо устроенных друзей, а разговор только и вращался вокруг Америки: "Понимаешь, — объяснял он мне, — конечно, надо было уезжать, только сразу. Там бы я уже был человеком. А теперь уже поздно, пятьдесят три, вся жизнь ушла курочке под хвост!"

Почему — уезжать — он не объяснял, да его никто и не спрашивал, это звучало как аксиома.

Я вспомнил этот вечер по аналогии с другим, уже здесь, в Америке, в доме одного из новых миллионеров — человек этот, заработавший миллион на строительных подрядах, отмечал свое пятидесятилетие. Сам дом его в этом городе был достопримечательностью — трехэтажный, с лифтом, с бассейном, с огромной в полсалона ванной. И хозяин — человек добрый, по-российски широкий, закатил один из тех пышных разгульных пиров, которые вряд ли знавал этот деловой американский город. За столом сидели и знакомые, и совсем не знакомые люди — известный в прошлом журналист, жена его — бывшая ленинградская актриса, бывший ведущий инженер главка. Нет, теперь это были уже не журналист, а электрик одного из местных супермаркетов, и не актриса, а продавщица фирмы "Александерс", и не инженер, а таксист, но все они, давно забывшие, что такое профессиональные амбиции, чувствовали себя счастливыми. Впрочем, чужая душа потемки, а человеческое счастье столь относительно, что я просто не берусь судить, каким было их внутреннее самоощущение за этим столом. Никто не жаловался, никто никуда не рвался, никто ни о чем не жалел, кругом лились богатства — нет, не их, а того, кто их пригласил, но ведь могли бы стать и их, и любой из них мог закатить такой же пир — Америка каждому дает свой шанс, и об этом не уставали вспоминать, поднимая один тост за другим.

— За хозяина, за его успехи, за то, чтобы жил сто тридцать лет! — восклицал журналист-электрик.

— За всех присутствующих, чтобы каждый нашел счастье в этой стране, — поддержала его жена-актриса — продавщица фирмы "Александерс".

— За шанс, что дает нам Америка! — крикнул таксист. — За всех нас...

Среди этих новых американцев в доме их друга-миллионера, нашедшего-таки свой шанс, я вспоминал тех новых израильтян, которые так рвутся в Америку, и думал: кто из них больше обрел, а кто потерял в эмиграции.

У меня не было ответа на этот вопрос, как нет морали у этой статьи, — куда лучше ехать — в Израиль или в Америку? Мы, слава Богу, в свободном мире, и пусть каждый для себя сам решает этот вопрос. Но решая, пусть помнит, что нет в этом многогранном мире ничего однозначного и, может быть, к каждой из его граней стоит присмотреться.

Борис ШРАГИН

АВТОРИТАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ

*Статья вторая**

— Почему дети ваших эмигрантов ведут себя как расисты? В школе они дразнят черных детей, затевают ссоры и драки. Вы знаете, у нас много трудностей с подростками, но этой, по крайней мере в Нью-Йорке, не было.

— Я думаю, что дети заражаются расизмом от своих родителей.

— Но как же так! Эти люди бежали из своей страны из-за расовой дискриминации евреев! Неужели их собственный горький опыт не внушил им отвращения к любому расизму?

Разговор этот был года два назад. Моя тогдашняя собеседница — жена раввина самой крупной синагоги на Форест Хиллс.

...Обшарпанный отель "Мэйфлауэр" возле Джорнал сквер, что в Джерси Сити. Только за неделю перед тем я сам вступил на американскую землю, когда мне случилось наблюдать прибытие новых эмигрантов прямо из аэропорта Кен-

*Первую статью см.: "Время и мы", № 65.

неди. В вестибюле я увидел совершенно потерянного человека. Встретить говорящего по-русски было для него облегчением.

— А много тут этих? — спросил он, явно полагаясь на наше душевное сродство.

— Кого — этих? — переспросил я. С нью-йоркскими тараканами он явно не успел познакомиться.

— Негров.

— Конечно много. Ну и что же такого?

— Как же можно с ними жить?

На миг мной завладел тот с детства, увы, знакомый импульс, который возникает, когда слышишь кличку "жид", и я едва не поприветствовал этого свежего пришельца в свободный мир оплеухой. К счастью, сдержался.

Мой случайный собеседник говорил с тем акцентом, который я не однажды пытался безуспешно копировать, рассказывая еврейские анекдоты.

Годы существования в эмигрантской среде убедили меня, что высокомерное и презрительное отношение к неграм, сочетаемое с суеверным страхом перед ними, — это не благоприобретенное, а привозное. Расовый предрассудок созревает еще до того, как новый эмигрант увидит первого живого негра.

Как-то позвонил мне бывший мой сокурсник по университету, только что приехавший, — не друг-приятель, а так, знакомый моих знакомых. Мы встретились, как условились, на 42-й улице, и я пригласил его в ближайший кафетерий, чтобы спокойно поговорить. Этот человек, замечу, имел ученую степень кандидата наук.

Между прочим, именно от него я впервые узнал забавную московскую сплетню про самого себя. Оказалось, что когда я потерял работу за подписание письма на Будапештское совещание компартий о нарушениях прав человека в СССР (случилось это за шесть лет до моей эмиграции), я жил себе — не тужил. Я будто бы нанимал деревенских старушек, которые собирали для меня грибы, а затем другие старушки, тоже мной нанятые, торговали этой добычей на москов-

ских рынках. Ну а выручка, естественно, шла в мой карман. Рассказано это было к тому, что уж я-то при подобной предприимчивости в Америке не пропаду. Мои попытки разуверений действия не возымели.

Впрочем, такова была членораздельная часть нашей беседы. В остальном же кандидат наук из Московии, скорее, шипел.

Нас обслуживала молоденькая и, на мой вкус, миловидная негритянка.

— Посмотрите, как она лениво поворачивается. Крошки оставила на столе. Будь я хозяин, я бы ее выгнал — повторял и повторял он. — Распустились!

И тут же обобщал:

— Они все — бездельники, они все — немытые. Они все — воры и убийцы. Моя бы власть, и т.д. и т.п.

Наклонность судить о людях по шаблону, одобряя или понося целые группы, а не отдельных индивидуумов, — как мы увидим, весьма характерна.

И еще один эпизод — из прошлой, еще московской жизни. Его можно озаглавить вполне по шаблону: "Два мира, две культуры".

Подружились мы в Москве с одним американцем, профессором русской истории. Зовут его Норман Перейра. Имя его нет нужды держать в секрете: в газете "Наша страна" был целый подвал про то, как он наезжал в Москву с заданиями от ЦРУ и водил конспиративные связи с семейством Шрагиных.

Норман как-то сказал нам с женой, что, по его наблюдениям, советские рабочие интеллигентней американских: они в метро книжки читают. Мы спорить не стали, а решили познакомить нашего друга-американца с настоящим русским пролетарием Славкой, водителем грузовика с автобазы.

Встреча с живым американцем, да еще говорившим по-русски, взбудоражила нашего "интеллигентного рабочего" донельзя. И, хорошо поддавши, он прочно сел на самую американскую из тем: про негров, конечно.

Американцев Славка любил. И уважал. Американцы знают, как управляться с черномазыми! На этой почве он искренне искал дружбы и взаимопонимания. И в подтверждение рассказал, как негры из университета Лумумбы бесцеремонно вторглись в мирное московское кафе, приставали к женщинам и лезли в драку, как растерялся "наш русский Иван" и как, ко всеобщему облегчению, оказались там два американца, один из которых спокойно поднялся от столика, подошел к одному из наглецов, двинул ему по рылу, и те как миленькие угомонились.

Ошарашенный Норман пытался возражать, что этого просто не могло быть. Но Славка лез в бутылку, клялся и божился, как Ноздрев. Для убедительности он рассказал еще одну историю из современного московского городского фольклора, которая будто бы приключилась с нашей русской женщиной. Она стала блядовать с другим лумумбовцем: любопытно ей было, видите ли, с негром переспать! И что же? Получилось хуже, чем в поговорке: "Любопытной Варваре — нос оторвали". Окаянный негр в порыве африканской страсти откусил ей грудь. Славка даже называл имя, отчество и фамилию сослуживца по автобазе, с супругой которого стряслась такая жуткая неприятность.

Воображаю, какие разочарования ждали бы нашего дремучего Славку, доведись ему, как нам с вами, поселиться в Америке. Не прошло бы и двух недель, как он принялся бы честить американцев за "гнилой либерализм" и с фанатизмом неофита питать предубеждения подстать потомственному ку-клукс-клановцу.

Что, собственно, и наблюдается...

Югославский диссидент Михайло Михайлов утверждает, что наша эмиграция, так называемая "третья волна", настроена почти сплошь антидемократически. Теперь мне приходится добавить, что "третья волна" питает также склонность к расизму. Одно, очевидно, связано с другим. И, поскольку второе лежит все-таки ближе к поверхности, оно может послужить ключом к аналитическому разбору первого.

П.Вайль и А.Генис в своих очерках о негритянском Гарлеме в газете "Новый свет" сообщили: "Когда-то, полтора года назад, мы проводили небольшое социологическое иссле-

дование, выясняя взгляды среднего эмигранта на явления внешней и внутренней политики США. Что касается негров, то в качестве самой гуманной меры было предложено выселить их всех из Нью-Йорка, но больше никак не обижать".

Подана эта социологическая справка с добросердечным юмором. А я между тем ничего веселого тут не вижу.

Конечно, разговорчики про выселение негров (а это, заметьте, еще "самая гуманная мера" из всех предложенных) — всего лишь болтовня. Ничего не подозревающим неграм тут ничего не грозит. Наш эмигрант ни в жизнь не участвовал в принятии и обсуждении хоть каких бы то ни было государственных решений и не обучился ни соизмерять свои фантазии с практическими возможностями, ни относиться к ним ответственно. Его не спрашивали, а он, по совести говоря, и не претендовал.

Но ноздревская эта болтовня — злая.

Американская конституция такова, слава Богу, что массовые депортации и геноцид тут просто немыслимы. Если бы американские власти и захотели бы, они не располагают для этого соответствующими средствами. Зато мы прибыли из страны, правительство которой чинило подобные акции не раз — и, заметьте, при полном безучастии, а фактически при попустительстве тех, кого это лично не задевало. Сами наши нынешние эмигранты, большинство которых составилось из "паспортных" евреев, давно очутились бы "далеко от Москвы", если бы полоумный Сталин не смежил свои очи в самый подходящий для нас момент.

Однако, как видим, даже это не заставило относиться с отвращением к самой идее групповых депортаций.

В 1969 году группа американских социологов опубликовала под руководством эмигранта из гитлеровской Германии Теодора Адорно исследование в тысячу страниц, которое называется "Авторитарная личность". Применив изощренную методологию (труд этот стал в современной социологии классическим), они вскрыли основные социально-психологические характеристики людей, которые предрасположены к восприятию антидемократической пропаганды и, при соответствующем повороте, допустим, в Америке, могли бы составить опору "нового тоталитаризма". Как непосредственный объект для анализа была избрана предрасположенность к антисемитизму. Но при этом подчеркивалось, что конкретный адресат группового человеконенавистничества может быть самый разный.

Вот, в частности, что было там сказано: "Важно заметить, что сознание собственной гонимости не порождает в авторитарной личности ни симпатий к другим преследуемым людям, ни желания вообще ликвидировать преследования как таковые. Справедливость понимается авторитарной личностью так, что власть и право преследовать должны принадлежать группе, в которую входит она сама".

Авторитарная личность, как было установлено коллективом ученых под руководством Теодора Адорно, в упор не различает индивидуумов, а только группы — расовые, национальные, религиозные, классовые или какие угодно еще. Этика у авторитарной личности — тоже групповая. Собственной группе она приписывает все достоинства и добродетели, всем остальным — недостатки и пороки. Ничего не знача сама по себе, осознавая в глубине свою беспомощность перед миром, она тянется в людское стадо. Как писал с восторгом Маяковский:

Я счастлив!
В глотке
Радость
спазмой.
Я сшит
на ту же колодку,
Тем же миром мазан.

Авторитарная личность охвачена суеверными страхами перед другими группами, а потому настроена агрессивно. Она жаждет сомкнуть ряды вокруг сильной власти, с которой жаждет себя отождествить и от имени которой, под защитой которой могла бы утеснять других.

Как творчество — проявление гения, так расизм — индикатор авторитаризма. А где расизм, — там и антидемокра-

тизм. Это — разные аспекты одного и того же, авторитарного социально-психологического стереотипа. Где царит демократия, там нет места дискриминации по расовым, национальным, религиозным или сексуальным признакам. Более того, демократия как раз и вырабатывает конституционные механизмы защиты людей от любого рода авторитарных поползновений, эффективно подавляет их.

Авторитарной личности при демократии неуютно, одиноко, боязно. Она справедливо видит в демократии помеху, которая мешает ей утвердить свое вожделенное групповое господство над другими группами.

Только и читаешь в нашей эмигрантской прессе: тот "советский", этот "советский". Не надо обманывать себя: тем самым хотят легчайшим образом отнести ненавистного человека к группе, которую, согласно общему эмигрантскому убеждению, надлежит истреблять. На самом же деле духовная болезнь типового эмигранта много глубже. Его антисоветизм не менее авторитарен, чем сам советизм.

Присмотритесь, какие "филии" и "фобии" бушуют в нашей среде. Одни русофилы, другие русофобы; одни антисемиты, другие фанатические сионисты. Мания расового или национального величия вскармливает расовую или национальную манию преследования. Даже былые наши "диссиденты" и "правозащитники", к стыду своему, сумели устроиться в эмиграции так, что образовали свою группу, не без высокомерия противопоставив себя остальным.

Поймите меня правильно, без увеличительных стекол групповых пристрастий, которые не столько помогают лучше видеть, сколько лишают человека здорового зрения. Человечество — не однородно. Оно разделяется реально на множество групп — больших и малых, национальных и государственных, религиозных и национальных, социальных и профессиональных. Разнообразие, даже конфликтность различных групп — источник богатства и динамизма человеческой истории.

Ни в коем случае не зазорно, а наоборот, правильно и благородно быть евреем, если ты еврей, или православным, если ты православный. Это — не оговорка с моей стороны с целью обезопасить себя от нападок. Это — самая суть демократии, которая плюралистична по своей природе.

Однако социально опасно и этически нечистоплотно, когда кого-то зачисляют в евреи или православные, помимо его собственного выбора, только лишь потому, что у него родители — евреи или русские; когда каждого русского считают заведомым антисемитом, а каждого еврея — участником сионистского заговора; когда каждого, кто решил уехать из Советского Союза, объявляют предателем или, наоборот, объявляют предателем того, кто хочет туда вернуться; когда высчитывают, сколько было четвертушек русской крови у Ленина, чтобы найти объяснение того вреда, который он причинил России; когда каждого коммуниста считают извергом, а антикоммуниста — агнцем; когда преступлениями Сталина оправдывают преступления Франко или Пиночета; когда винят в пособничестве КГБ всякого советского гражданина, который выезжает в командировку за рубеж; когда неофитская приверженность какой-либо религии оборачивается фанатизмом и нетерпимостью; когда честят "гнилых либералов", наливаясь гордостью из-за своей готовности поступать с ближним насильственно и жестоко; одним словом, когда исповедуют и проповедуют все то, чем полна наша эмигрантская пресса.

Целые полстолетия тоталитарная власть в Советском Союзе держалась разжиганием групповой ненависти неимущих к имущим. На наших глазах, в нашем присутствии этот кровожадный фантом начал испаряться. Однако, поскольку авторитарная структура личностей осталась, тотчас же стали вырастать другие групповые фантомы, которые сулят не меньше бедствий в будущем.

Для авторитарной личности естественно реконструировать других людей по своему образу и подобию. Уж чем-чем, а широтой и объективностью мировосприятия она не страдает. Поэтому так легко было поверить советской пропаганде, будто в Америке "негров линчуют" А поверив и проникшись симпатией к этой стране, поторопиться встать в ряды линчевателей.

Ефим Эткинд

ОТЕЦ И ДОЧЬ

Их разделяет ровно четверть века: Корней Иванович Чуковский родился сто лет тому назад, Лидия Корнеевна — семьдесят пять. Это необыкновенно важный период, более серьезный, чем любой равный отрезок времени в новейшей истории. Определим эту разницу относительно нескольких важных вех нашего столетия.

1913 год: отцу 32 года, он уже завоевал имя влиятельного критика и увлекательного рассказчика о литературе; дочери — семь лет, она растет в финском местечке Куоккала под Петербургом, играет на берегу моря, а впрочем, — уже знакома с Маяковским и Репиным.

1917 год: отцу — 36, он внимательно следит за катастрофическими и грандиозными событиями, приближению которых по-своему способствовал он тоже, сатирик и радикал; дочери — 11 лет, она едва начинает понимать происходящее в обществе и участвовать в его жизни.

Дальше — относительно последующих вех — читателю нетрудно высчитать самому: 1930, 1937, 1941-1945, 1953,

1956... Да и вычислять более нет надобности: в дальнейшем различия между отцом и дочерью определяются уже не столько возрастом, сколько прошлым: отец сформировался в первое десятилетие нашего века, дочь — в 20—30-е годы.

Отцу было 25 лет в пору проигранной русско-японской войны, неудачной первой революции и последовавшего за этими обоими поражениями, военным и политическим, расцвета поэзии и философии.

Дочери было 25 лет, когда революционные порывы 20-х годов уже были растоптаны, крестьянство раздавлено, художественный авангард задушен, когда призрачная республика уступила место абсолютной монархии, — бюрократически-теократической сталинской Империи, в которой роль правящей церкви исполняла коммунистическая партия, когда "большой террор" неуклонно надвигался на Россию и уже гибли в сибирских тундрах миллионы мужиков, выброшенных из своих изб и хат как некие "кулаки"...

Отец дышал полной грудью, балагурил, хохотал, издевался, верил в будущее — питал самые радужные иллюзии. Дочь принадлежала к поколению тех, кто уже не питал иллюзий; ее отрочество и юность прошли в духоте и ужасе, — ей было невесело и не смешно. Когда ей шел двадцать первый год, она читала про отца в "Литературной газете" и "Красной печати" будто бы он формалист, и мракобес, и даже подкулачник; в то время подобные обвинения ночному сну не способствовали. Потом, когда ей было тридцать, она оказалась свидетелем разгона маршаковской "детской редакции" в Ленинграде. Проработки, увольнения Хармса, Введенского, Олейникова, Евгения Шварца, Любарской, самого Маршака не способствовали ни оптимизму, ни чувству юмора. Потом арест и гибель мужа, друзей, родных... Обвалы, обвалы.

А всего четверть века назад отец опубликовал блестящую и озорную книгу литературных портретов и характеристик "От Чехова до наших дней", в которой писатель рассматривался как сумасшедший, у каждого есть "особый пункт помешательства": "...он ведет себя как ненормальный, и о вещах судит здраво. Но это притворство. Только умейте по-

дойти к нему, и он откроет вам по секрету, что он, например, петух, и захлопает руками, как крыльями, и, пожалуй, шепнет вам на ухо: кукуреку". *

Такой "пункт помешательства" у Чехова — в том, что ему, Чехову, ненавистны люди деловитые, целеустремленные, складно и красно говорящие, солидные, положительные, внушительные: у лавочника Андрея Андреевича из рассказа "Панихида" "солидные калоши, те самые громадные, неуклюжие калоши, которые бывают только на ногах у людей положительных, рассудительных, убежденных". Это — цитата из Чехова, а вот из Чуковского — о Чехове: "Эта загадочная логика чеховского сердца, карающего всякую целесообразность и закономерность, заставляет его каким-то странным образом все прекрасное связывать с бесцельностью и с растерянностью.

Человек у Чехова может быть нечестен, нелеп, неумен, но пусть только он "зарапортуется", "запутает", заговорит "не то", и чеховская поэзия любовно озарит его".

Дело, однако, отнюдь не только в том, что Чехов одобряет людей бестолковых. Для Чуковского Чехов писатель антимещанский «потому что мещанство — это прославление цели и целесообразности, Чехов же "словно дал аннибалову клятву — презирать, ненавидеть, клеймить, шельмовать не вора, не разбойника, не утеснителя, а только того, чьи речи "ясны и определенны", кому "известно, для чего он существует", кто работает целесообразно и закономерно /.../ Он своей стихийной неприязнью к миру целей подорвал глубочайшую и предвечную сущность мещанской культуры — утилитаризм. Здесь великое социальное значение творений Чехова, если только кому-нибудь еще нужно это значение, и *недостаточно осязать,* впивать, поглощать эти лунные, колдующие создания, которые дал нам стыдливо-гениальный художник" (10-17).

Все это написано до воцарения ленинской партии. Но разве не заклеймил ее Чуковский — мещанской? Разве не дал он нам понять, как бы относился к ней, к ее вождям, к ее идеологическому воплощению, Андрею Жданову, ненавистник утилитаризма Чехов? Позднее, уже в 60-е годы, Чуковский выпустил книгу "О Чехове", где все сказано — иначе, осторожно, лукаво, но: сказано.

*К.Чуковский. От Чехова до наших дней, изд.3-е. М., 1911, с 10. В дальнейшем страницы указаны в скобках после цитаты.

В книге, написанной в 900-х годах антиподом Чехова выведен Максим Горький; его свойства таковы: "...симметричность, неуважение к личности, консерватизм, книжность, аккуратность, фанатизм и однообразие" (104). Все это, по Чуковскому, свойства мещанина, и вообще для него Горький — это Бессеменов, герой драмы "Мещане"; Горький — с головы до ног воплощенный мещанин. Разделивший весь мир на Соколов и Ужей, сам он — Уж. Не удивительно ли? Чуковский недоумевает: "С идеологией пролетариата — и вдруг Уж! Певец босяка — пресмыкающееся!.." И отвечает словами Философова, утверждающего, что практический материализм свойствен отнюдь не рабочим, а — буржуа: "На примере Горького, — продолжает Философов, — легче всего проследить, как самый драгоценный материал — живая, бунтующая, жаждущая бытия личность, попадая в переделку квазинаучного материализма, хиреет, умаляется, становится плоской, безличной". И Чуковский комментирует Философова: "Поскоблите любого из этих самозванных представителей пролетариата, и перед вами непременно окажется Бессеменов" (105).

Итак, пролетариат, зараженный "практическим материализмом", вырождается в мещанство. Максим Горький, самозванный выразитель рабочих, воплощение мещанского ничтожества и эгоизма. Вот еще несколько фраз из той давней книги, характеризующие Горького:

"Горький узок, как никто в русской литературе.

Вспоминается, как в Толстом и в Достоевском увидел он жалких мещан, как у Чехова увидал он свою же крошечную программку и навязал великому поэту свои же фантастические слова:

— Скучно с вами, черти лиловые!" (103)

И далее:

"Горький, симметричнейший из сочинителей, наиболее

придавил свою личность, сузил ее, обкарнал — и не только свою, но и личность всех тех, кого он так симметрично, так по-книжному неестественно вывел в своих писаниях, отнимал у них конкретные черты во имя афоризма. Певец личности, он является на деле наибольшим ее отрицателем" (104).

Горький, — по Корнею Чуковскому, — это "Уж, которого русское общество приняло за Сокола" (108). Чуковский упоминает других Ужей, обманувших читателя. Об одном из них, о Скитальце, Чуковский говорит:

"Тот, кто пишет стихи таким газетным, самому себе надоевшим слогом о революции, о виселицах, о войне, не любит и не ненавидит того, о чем пишет. Он-то и предает свободу, которой молится и за которой идет. Г.Скиталец привычно изо дня в день (опять-таки, как в департамент ходит!) — пишет: свобода — народа, бой — долой, тиран — барабан, и выражает и отражает в своих стихах, и поддерживает ими обывательскую привычку к революции, — привычку, панибратство с ней, мирное с ней сожительство. Ведь чтобы писать таким образом, чтобы так перелагать в стихи газетную передовицу /.../ чтобы строить в ряды такие затертые, ничего не говорящие слова, — как нужно зевать внутренне..." (109-110).

Все, что Чуковский видел в Горьком, ему самому было противопоказано. Он ненавидел весь этот список: "Комнатная философия. — Аккуратность. — Однообразие. — Симметричность" (103). Сам он был как бы анти-Горький. Лучший критик русского "серебряного века", он был и человеком русского Возрождения. Иногда мы забываем, что это было за феноменальное время — Россия до 1913, даже до 1917 года. Такого изобилия талантов в одном месте, в одно время еще не бывало: Блок, Белый, Брюсов, Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Сологуб, Вяч. Иванов, Маяковский, Хлебников, Каменский — это только в поэзии; а в прозе: Бунин, Мережковский, Горький, Куприн, Андреев; а в театре: Станиславский, Мейерхольд, Евреинов... а в живописи... а в архитектуре... а в риторике... а в политике... а в историческом исследовании...

А в критике — Корней Чуковский, достойный сын нашего Возрождения.

В России было немало прекрасных критиков, блестящих мемуаристов, талантливых сказочников, веселых поэтов для детей, ярких исследователей литературы, выдающихся текстологов, проницательных лингвистов, деятельных теоретиков и практиков перевода, энергичных журналистов, — но всегда эти многочисленные таланты и профессии справедливо распределялись на многих. К.И.Чуковский был первым — и, может быть, последним? — в котором они соединились. Конечно, производит впечатление самое количество статей и книг, вышедших из-под пера Чуковского; тут он, вероятно, всероссийский чемпион. Дело, однако, не в этом, или, вернее, не только в этом. Важно, что в каждой области, которой Чуковский овладевал, он обнаруживал прежде неведомые черты и что каждую такую область он открывал не только для специалистов — это умели делать и другие, — но для всех.

Лингвистика — наука сугубо специальная, без особых познаний войти в нее нелегко. Книга Чуковского "От двух до пяти", — в сущности, лингвистический трактат, к тому же посвященный самой что ни на есть сложной проблематике — бессознательному детскому языкотворчеству. Перед нами проходят десятки детей, и каждый ребенок по-своему гениален — интуитивные языковые изобретения не перестают восхищать нас, даже когда мы — в который раз — перечитываем книгу Чуковского:

— Мама просит мазелин!

— Положите мне на голову холодный мокресс!

— Автомобиль с поднимающимся пузовом.

Чуковский не просто собрал эту очаровательную коллекцию "детской" или "народной" этимологии, он осмыслил и истолковал лингвистическое творчество детей. От детской этимологии Чуковский переходит к писательской и, опираясь на первую, истолковывает вторую: в одном ряду рассматривается трехлетняя Нина, которая просит брата: "Не балалай, пожалуйста!", Гоголь, придумавший глагол "обыностра-

ниться", Щедрин — с его "душедрянствовать" и "умонелепствовать", Хлебников и Маяковский, а также народная песня: "Чай пила. Баранки ела, Самоварничала".

"От двух до пяти" — научное исследование и одновременно — книга для всех. То же можно сказать и о другой книге:"Живой как жизнь", снабженной подзаголовком "Разговор о русском языке". Это тоже, исследование, и тоже лингвистическое, но автора интересует здесь не синтаксис и морфология, а стилистика. Чуковский далек от обычного стариковского педантизма: новые слова и обороты не коробят его, и он, хоть и с усилием, но в общем охотно принимает многие языковые новшества. Но предмет его непримиримой ненависти — тот гнусный стиль казенной речи, который Чуковский окрестил всем известным ныне словом канцелярит: "оторванный от жизни, штампованный, стандартный жаргон, свидетельствующий о худосочной, обескровленной мысли".* Для Чуковского осмысленность и освобожденность языка есть проявление таковых же свойств жизни. Мертвящий штамп в языке отображает его господство в реальности. Конечно, он не договаривает, но ведь и читатель, особенно читатель Чуковского, не глуп. "Капитан стоял на носу, — говаривал Козьма Прутков, — надо ли объяснять читателю, что не на собственном носу, а на носу корабля?"

Однако разве не о том же самом писал он пророчески когда-то в очерке о Горьком, клеймя Скитальца, Лукьянова и некую госпожу Галину — она, ласково издевался Чуковский, "тоже чрезвычайно преданная свободе, но выражающая эту преданность в таких шаблонных выражениях, употребляющая для этого столь затертые эпитеты, что и здесь поневоле чудится обывательская революционная ремесленность..." Статья о Горьком кончалась вопросами, сохранившими свою злободневность и гораздо позже: "Разве это стихи? Разве это пафос? Разве это не подделка? Остерегайтесь подделок!!"

Несколько десятилетий спустя подделки, которые прежде, до революции, лишь изредка попадались критику на зуб,

* К.И.Чуковский. Собр.соч., т.1. М., 1963, с.164

стали государственной формой творчества, поощряемой Ждановыми, Щербаковыми и Сталиным. Корней Чуковский косвенно, но дерзко нападал на них в своих сочинениях, посвященных лингвистике. Отнюдь не занимаясь популяризацией, он ввел огромное число людей в проблемы языкознания и, специально, стилистики. Как видим, стилистика современной речи оказывается необыкновенно актуальной: глава о "канцелярите" влечет за собой серьезнейшие социологические и политические выводы.

Не знаю, кто еще столько сделал в XX веке для общей культуры русских читателей. Кто еще так умел заклеймить уродливое, мертвое — и возвышать прекрасное. Кто еще так весело, озорно, играючи умел учить детей добру, красоте, свободе. Впрочем, веселый художник нередко трагически беспомощен — ничего не стоит его пришибить. Чуковский был критиком милостью Божьей — в конце 20-х годов ему пришлось оставить литературную критику: отныне этим делом занимались Ждановы, которые весельем не отличались. Потом он начал воевать за сказку, — ее надо было отстоять от официальных запретов; это привело к травле сказочника. Про смешного "Мойдодыра" (1921) 29 фанатичных "писателей" написали в "Литературную газету" кляузу, обвинявшую Чуковского в том, что он оскорбляет... трубочистов; в самом деле, есть в "Мойдодыре" строки:

А нечистым трубочистам

Стыд и срам, стыд и срам!

Сказка "Муха-Цокотуха" (1923) была запрещена политической цензурой за строки:

А жуки рогатые, —

Мужики богатые, —

в которых Комиссия ГУСа (Государственный Ученый Совет) увидела "сочувствие кулацким элементам деревни".

И далее логика цензоров развивалась так: раз ликуют "мужики богатые", кулаки, значит, Комарик с фонариком ставленник антисоветских сил, агент международной буржуазии; значит, Паук, который "Муху в уголок поволок", — это пок-

леп на диктатуру пролетариата, а Муха — аллегорическое изображение России. Запретить!

Того, однако, не заметили цензоры, что такой ход рассуждения привел бы к запрещению всех народных сказок и песен. Всюду именно так и строится фольклорный сюжет: слабый, казалось бы, но благородный и храбрый побивает сильного злодея. Антисоветскую аллегорию представляют собой в таком случае чуть ли не все сказки братьев Гримм, Шарля Перро и Афанасьева. Любопытно, впрочем, что так оно и есть: на воре шапка горит... В какой степени сказочник Корней Чуковский понимал, как будут восприниматься его фольклорные сюжеты, — не знаю; разумеется, в большей, нежели безымянные авторы народных сказок. Во всяком случае Чуковский настойчиво твердит одно: он, этот враг, кажется страшным и непобедимым; так будьте же храбрыми, и он испугается — на самом деле он жалкий, трусливый и ничтожный.

С самого нашего младенчества Корней Чуковский учил нас бесстрашию, отвращению к злодеям, благородному презрению к грубой силе.

Только еще надо было сказать, — кто они, злодеи. Это позднее скажет всеми словами его дочь.

Но у Лидии Корнеевны другой талант, сформированный в другую эпоху. А многосторонние и веселые таланты, подобные таланту Чуковского бывали только в эпоху Возрождения. Сам он признавался, что обладает удивительным свойством: "...Назло всем передрягам и дрязгам вдруг ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, почувствуешь сильнейший призыв какого-то сумасшедшего счастья... словно ты пятилетний мальчишка, которому подарили свисток".

Его любимые строки из Уолта Уитмена звучали в его *собственном переводе так:*

Почему многие, приближаясь ко мне,
зажигают в крови моей солнце!
Почему, когда они покидают меня,
флаги моей радости никнут!..

"...сильнейший призыв какого-то сумасшедшего счастья...": ведь именно это и притягивало к Чуковскому разных и даже разномыслящих людей, которые надеялись не столько получить у него знания, опыт или совет, сколько заразиться от него этим самым счастьем, которое в обиходе называется бодростью, энергией, оптимизмом. До самой смерти ему был свойствен дух игры: падал на колени перед дамами, разыгрывал друзей, шутливо бранил или иронически восхвалял, пародировал, подражал, смешно наряжался или наряжал других... И все это было пленительно, потому что в глубине души он оставался серьезен и строг: своими нравственными и художественными принципами он не шутил и никому шутить не позволял.

Потому он и мог быть замечательным воспитателем своих и не своих детей. Лидия Корнеевна целую книгу написала о том, как отец учил ее понимать жизнь, литературу, поэзию. А недавно, отвечая критику, позволившему себе противопоставить дочь отцу, снова подтвердила: "Отец мой не властен был передать мне в наследство свой талант и свое искусство, но, если я люблю русскую литературу и почитаю создателей ее (а в этой любви вся моя жизнь), то свидетельствую: с детства внушал и внушил мне эту любовь он, мой отец".*

Но талант Чуковской, сформированный на той же основе, что у отца, развивался в эпоху, в которой ничего ренессансного не было и в помине. То была пора, предвиденная ее отцом в очерке о Максиме Горьком, пора, когда к управлению в бескрайней России пришли: "симметричность, неуважение к личности, консерватизм, книжность, аккуратность, фанатизм, однообразие". Мещанство. Скука. Уж, выдающий себя за Сокола. Шаблонный, самому себе надоевший слог. Все прошлое кажется забытым, а люди — задавленными, оглушенными, запуганными. Надо силою с л о в а — ничего другого в нашем распоряжении не осталось! — вернуть людей к прошлому; только тогда они смогут смотреть в будущее. Вот тут-то и начинается деятельность Дочери.

П а м я т ь — излюбленное слово Лидии Корнеевны Чуков-

*"Континент", № 27, с.379.

ской, оно чаще других встречается в ее книгах и статьях. Более того, даже в заглавиях. Одна из ее мемуарных работ названа "Памяти детства", а другая — "Памяти Фриды"; составленный ею сборник опубликован в Париже в 1974 г. под названием "Памяти Ахматовой".

Память для Л.Чуковской — это основа не только культуры, но и достоинства, независимости, высокой духовности, это — торжество правды над ложью. Советское общество много десятилетий держалось — и держится — на искусно оформленной, многоэтажно нагроможденной, монопольно царящей лжи. Она была бы немыслима, если бы людей не лишили исторической памяти. И вот Л.Чуковская утверждает: "В нашей стране противостоит лжи и фальсификации стойкая память, неизвестно кем хранимая, неизвестно на чем держащаяся, но упорная в своей кротовой работе".* Подобно отцу, Чуковская люто ненавидит мещанство, из-за которого на нас обрушиваются все возможные бедствия. Однако Корней Иванович только предполагал, что будет, если мещанство горьковского склада прорвется к власти; Лидия Корнеевна увидела царство мещанства воочию. Исторический опыт научил ее тому, что в советских условиях мещанство приобретает особое обличье — бюрократическое; антикультура — это строй, каким он сложился за несколько десятилетий: "У бюрократа, как у всякого мещанства, памяти нет. Память — орудие преемственности, орудие духовной культуры. Они же вне культуры" (188). Все же перед напором мещанства, как оно ни могущественно, устоять можно; и в этом сопротивлении наш главный союзник — память.

Она — спасение России от нового варварства. Но чем выше встают волны дикости, тем устойчивее оказывается скала культуры, скала памяти. В заключение одной из своих знаменитых статей (1968) Чуковская писала почти патетически:

"Память — драгоценное сокровище человека, без нее не может быть ни совести, ни чести, ни работы ума. Большой поэт — сам воплощенная память". И далее она приводит стро-

* Процесс исключения. 1979, с.125. В дальнейшем страницы указаны в скобках после цитат.

ки из поэмы Анны Ахматовой "Реквием" — из "того поэта, — говорит Чуковская, — который не пожелал расстаться с памятью не только при жизни, но и за порогом смерти:

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

Память о прошлом, — заключает Чуковская, — надежный ключ к настоящему. Перечеркнуть счет, дать прошедшему зарасти бурьяном путаницы, недомолвок, недомыслий!? Никогда!" *

Строки из Анны Ахматовой — это самый почти конец "Реквиема"; Ахматова не хочет памятника ни у моря, где она родилась, ни в царскосельском парке, уже чуждом ей, нынешней, но — у стены той ленинградской тюрьмы "Кресты",

...где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

Ибо забыть горе женщин, стоявших с нею, в той же безнадежной очереди, "под красной ослепшей стеною" — тяжкий грех:

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде...

Зачем же все-таки помнить? В крохотном прозаическом предисловии к "Реквиему" Ахматова рассказывает о "женщине с голубыми губами", узнавшей в ней писательницу и спросившей шепотом:

"— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом".

Вот ради чего надо помнить: ради этого подобия улыбки, которая выражает в безнадежности — слабую тень надежды. Память — в той же мере торжество надежд, в какой беспамятство — это безысходное рабство. Чуковская ссылается на бесчисленные примеры забвения, и всякий раз оно подобно смер-

* Лидия Чуковская. Открытое слово. Нью-Йорк, изд-во "Хроника", 1976. с.45.

ти. Так, Пушкин в 1837 году "был убит императорским двором и Дантесом. Убит, а не умер". (26). Забвение этого убийства — преступно. Преступно забывать о том, что ровно через сто лет О.Мандельштам "тоже был убит, а не умер". Между тем в предисловии к собранию стихов Мандельштама в "Библиотеке поэта" читаем: ..."оборвался творческий путь Мандельштама — поэт умер в начале 1938 года". Лидия Чуковская возмущенно комментирует: видимо, долго "не могли подобрать литератора, который согласился бы умолчать истину: Мандельштам не умер, он был убит тюрьмою, ссылкою, этапом, лагерем". И вот каков ее вывод: "Подобная подмена — это, в сущности, вторичное убийство". Забвение осуществляется посредством лжи; обычно сурово сдержанная, Чуковская здесь беспощадна и резка: "злодейская ложь", "окаянное вранье" — так клеймит она статью Дымшица.

Но у Дымшица, автора предисловия к Мандельштаму, была своя бухгалтерия: да, он солгал, но ведь зато читатели получили стихи Мандельштама, которого до того никому не удавалось опубликовать в течение сорока пяти лет... Но во благо ли такая ложь? Не разумен ли подобный расчет? Тут решения возможны разные. Пушкин со всеми своими цензорами весело лукавил, он считал хитрую игру не только допустимой, но и неизбежной. Иные были менее уступчивы. Чуковская избрала позицию абсолютной бескомпромиссности: нет такой цены, которую власти могут ей заплатить за уступку цензуре. "...Для каждого человека, — пишет она, — наступает час, когда правда берет его за горло и навсегда овладевает душой. Общего для всех часа нет: "душа темна, пути лукавы". Со мной это случилось, когда в застенках моего родного города обильно полилась кровь" (27).

В конце 60-х стали снова топтать и душить и Чуковская окончательно выработала свой нравственный принцип взаимоотношений с режимом. Наиболее отчетливая и полная его формулировка гласит:

"Когда... я поняла, что у нас начинают снова отнимать память, я поняла и другое: ни за какие блага в мире я это выстраданное достояние не отдам. И людям буду мешать заново впасть в беспамятство. Пусть никогда больше не напечатают ни единой моей строки, пусть останутся неосуществленными дорогие мне литературные замыслы — но выкорчевывать из моего текста имена погибших и общее имя их гибели я никому не позволю. Никому, никогда. Не стану ни взвешивать, ни измерять, ни рассчитывать: что лучше? сказать хоть что-нибудь о погибшем человеке или не сказать ничего, раз о гибели нельзя?

Пусть каждый решает этот вопрос вопросов по-своему. Для себя я решила".

С Чуковской многие не согласны; в самом деле, у этого "вопроса вопросов" нет однозначного решения. И все же ответ Чуковской для нее — единственно возможный. Ибо он, этот ответ, спокойно героический. Все ли ее собеседники и даже читатели отдают себе отчет в том, что перед нами — героиня? В самом возвышенном, чистом, строгом, старинном значении этого слова. Физически немощная женщина, почти слепая, пишущая толстыми фламастерами и читающая через сильную лупу, перенесшая опасный туберкулез и страдающая тяжелой сердечной болезнью, — она сохранила и свойственную ей осанку королевы, и неправдоподобное бесстрашие. Ее травят, пугают, изолируют от почты и посетителей; угрожают закрыть созданный ею музей отца, выселив ее с семьей из дома; ее исключили из Союза писателей и лишили медицинской помощи... Низость властей невообразима: даже под фотографией, где она, шестилетняя девочка, сидит на руках у отца, нельзя подписать ее имени — оно запрещено в СССР, хотя в шесть лет Лидочка Чуковская еще не была тем борцом за достоинство человека и его память, которым она стала теперь.

Сегодня Лидия Корнеевна Чуковская — несгибаемая, неустрашимая Чуковская — стала символом сопротивления. Она борется Словом, утверждая справедливость определения Льва Толстого: "слово — это поступок". Такому отношению к Слову ее научил, однако, не только Л.Толстой, но и отец; для Корнея Ивановича Чуковского равнодушие к слову было

предательством речи, мысли, дела. Он охотно цитировал фразу из своего любимого Чехова: "Какая гадость чиновничий язык... Неясно, холодно и неизящно: пишет, сукин сын, точно холодный в гробу лежит", и утверждал сам, что "тот, кто пользуется истертыми штампами, говорит по инерции, спустя рукава... он так и сыплет словами-пустышками, словами-паразитами, превращающими его речь в болтовню..."* Для К.Чуковского бюрократический жаргон "по самому своему существу аморален. Жульнический, бесчестный жаргон".** Вспомним его слова о Скитальце: он, пользуясь шаблонно-газетным слогом, "предает свободу, которой молится и за которой идет". Так же и для дочери нет сомнений в том, что "стереотипно газетное пустословие не есть мышление" (206); вот формула ее отношения к слову, которая могла бы выйти из-под пера отца: "...нельзя без конца вырезывать фестоны из собственного сердца — оно перестанет плодоносить. Не знаю, как в математике или в музыке, но в литературе — в слове — нельзя. Пишите ваши повести, ваши стихи и рассказы, печатайтесь! Вас больше нет" (201). Для Лидии Чуковской веское, незабываемое слово ее всего красноречивее — она и в этом отношении близка к отцу; он разделял с Чеховым любовь к заикам, которым слова не даются — внутренний напор слишком силен. Задача слова — воссоединение людей в единстве памяти чувств и дум, в единстве, которое называется... Впрочем, пусть об этом скажет сама Чуковская.

"Случается, громкогласие не достигает ничьего сердца, а слово, произнесенное тихо и как бы про себя, совершает "назначение поэзии": "кует сердца поэзией", как говорил Александр Блок. Вслушивается поэт в свою мысль, в свою душу, он одинок, он самобытен, он что-то там бормочет невнятное, вдалеке от всех, вдали от многотысячных стадионов, свое, — а оборачивается оно не своим, — а всеобщим, братским. Образующим между людьми то невидимое единение, которое именуется культурой" (159).

Лидия Корнеевна Чуковская, относящаяся к Слову с молитвенным благоговением, пишет ответственно, она не угрожает, но предупреждает. Пусть же снова прозвучит на весь мир ее грозное предупреждение.

"...Вы, намеренно задувающие сияние лучших умов, которыми нас дарит родная земля; вы, возводящие газетную — железобетонную стену между лучшими умами и простыми людьми; вы, пытающиеся повернуть историю вспять; вы, искусственно, механическим нажатием кнопки, вызывающие волны "народного гнева", предпочитая немоту любому слову, — смотрите, чтобы из-под земли не вырвался подлинный гнев, и тогда он как лава затопит не только вашу убогую стену, но — ничем не просветленный, не очищенный ничьей одухотворяющей, умиротворяющей мыслью — мыслью академика Сахарова, например, — он утопит в крови, без разбора, и виноватых и правых.

Хочу ли я этого? Нет, я этого никому не желаю".*

*К. Чуковский. Собр.соч., т.3. М., 1965, с.151.

**Там же, с. 154

*Л.Чуковская. Открытое слово, с.89.

Дора ШТУРМАН

МЕРТВЫЕ ХВАТАЮТ ЖИВЫХ *

Троцкий: интеллигентоид и культура

Мне пришлось однажды в узком кругу делиться своими впечатлениями о крупных большевиках, числимых традицией по департаменту коммунистической интеллектуальной элиты. Моими собеседниками оказались недавний советский идеологический функционер, странным образом превратившийся в руководителя кафкиански загадочного советологического института (впрочем, большинство учреждений этого рода кафкиански загадочны), и элегантная дама, знающая об искусстве и литературе все то, что никогда о себе не знали искусство и литература. В ответ на мое предположение, что на верхах кремлевской иерархии и в 1920-х годах интеллигентов не было, оба в один голос воскликнули: "А Троцкий? Знакомы ли вам статьи Троцкого об искусстве и литературе?"

Тогда мне статьи Троцкого об искусстве и литературе знакомы не были. И, хотя знакомство с речами Троцкого на пар-

*Глава из одноименной книги. Полностью книга выходит в октябре 1982 г. в издательстве "Overseas Publication Interchange" London.

тийных съездах 1900—1920-х годов не позволяло мне ожидать от него откровений в сфере искусства, я отступила. Теперь мне знакомы эти работы Троцкого, и я берусь говорить о них с полной ответственностью.

Дж.Кармайкл в своей книге о Троцком пишет, что "годы жизни в Вене позволили Троцкому приобрести широкий кругозор. Он отличался чрезвычайным разнообразием интересов, необычным для профессионала марксиста. Он, например, был единственным из русских марксистов, который когда-либо читал Фрейда. На страницах "Киевской мысли" он обсуждал вопросы литературы, живописи, поэзии, политики — все что угодно".

Троцкий, действительно, и на страницах либеральной дофевральской "Киевской мысли", и значительно позже обсуждал "все что угодно". И есть у него упоминания о Фрейде, о теории относительности, о новейшей (по тому времени) теории строения атома — весь малый джентльменский набор большевистского вождя из чила "интеллигентских перебежчиков" (Н.Бухарин), претендующего на неординарный интеллектуализм. Дж.Кармайкл встретил в сочинениях Троцкого множество русских, европейских и американских имен, которых не встретишь ни у Сталина, ни у Хрущева, ни у Брежнева, и в авторе этих статей ему привиделась "отчужденность в новом обществе", проистекающая из бескорыстия и терпимости, несвойственных остальной большевистской элите 1920-х годов.

"В 20-е годы большевистская смирительная рубашка все туже затягивалась вокруг всех областей советской жизни. Генеральная линия партии, намеченная в области экономики и политики, не могла миновать культуру. Взгляды Троцкого в этой области были отмечены теми же чертами — гуманность, терпимость, универсализм, — что и его высказывания по вопросам политики и экономики. Естественно поэтому, что все, что он говорил, объявлялось уклонением, которое к

*Дж.Кармайкл. "Троцкий" (сокращенный перевод с англ.). Изд-во "Москва-Иерусалим", 1980. с.66. Все последующие ссылки на Дж.Кармайкла даются по этой книге.

середине 20-х годов стало быстро превращаться в ересь. Поскольку к этому времени собственно пролетарский элемент в партии почти исчез, отрицание Троцким идеи Пролеткульта удобно было объявить содержанием этой ереси в области культуры. Точно так же, как Троцкий проморгал превращение большевистской партии в группу, спаянную общей выгодой, так и в своих нападках на Пролеткульт и его сторонников он атаковал по сути такую же спаянную общей выгодой группу, собственной группы при этом не имея".

Троцкий был многолетним противником большевиков до весны 1917 года, когда увидел, что может пробиться к власти в альянсе с Лениным. "Его высказывания по вопросам политики и экономики" в 1917—1920-х годах отмечены крайним антидемократизмом и фанатическим экстремизмом, выделяющим его даже в большевистской среде. Но поговорим об отношении Троцкого к искусству.

Одно маленькое его замечание заставило меня предположить, что Троцкий писал об искуссстве, не имея к нему глубокого отношения.

Рассуждая в своей автобиографической книге* о том, что искусство порождается жизнью и отражает среду, окружающую художника, Троцкий делает вывод: "Искусство пейзажа не могло бы родиться в Сахаре". Пустыня пустая — откуда в ней взяться пейзажу? — таков один из аспектов его эстетического мышления.

И еще он говорит: "Если моя топографическая память, не говоря уже о музыкальной, очень слаба, а зрительная, как и лингвистическая, довольно посредственная, то идейная память значительно выше среднего уровня".

По словам Троцкого, чтение с детства занимало огромное место в его жизни, но: "Люди долго скользили по моему сознанию, как случайные тени. Я смотрел в себя и в книги, в которых искал опять-таки себя или своего будущего".

Я беру на себя ответственность утверждать, что это мимолетное признание (в "Моей жизни" есть еще два-три сходных) чрезвычайно важно. Это сказано о поре юности, когда большинство людей, еще не успев очерстветь, особенно чутко к происходящему с теми, кто их окружает. И герои книг воспринимаются в детстве и в юности конкретно и выпукло, как люди, которые нас окружают.

*Л.Д.Троцкий."Моя жизнь". Берлин, изд-во "Гранит", 1930.

"Люди долго скользили по моему сознанию, как случайные тени..." — это восприятие обще для Троцкого и для Ленина. Оно осталось для них таким же, если не обострилось, когда они, сначала мысленно, а потом и на деле, начали манипулировать десятками, сотнями, тысячами и миллионами человеческих "теней".

Троцкий многократно повторяет в своих мемуарах, что долго не чувствовал и природы. Его мировосприятие складывалось сугубо абстрактным и подчиненным неукоснительно законам дедукции, а не индукции. Его мышление подвластно воспринятой извне и ассимилированной сознанием отвлеченной Схеме. Он сам говорит о себе: "Чувство превосходства общего над частным, закона над фактом, теории над личным опытом возникло у меня рано и укреплялось с годами... Позже чувство превосходства общего над частным вошло неотъемлемой частью в мою литературную работу и политику. Тупой эмпиризм, голое пресмыкательство перед фактом, иногда только воображаемым, часто ложно понятым, были мне ненавистны. Я искал над фактами законов. Это вело, разумеется, к слишком поспешным и ошибочным обобщениям, особенно в молодые годы, когда для обобщений не хватало ни книжного знания, ни жизненного опыта. Но во всех без исключения областях я чувствовал себя способным двигаться и действовать только в том случае, если держал в руках нить общего. Социально-революционный радикализм, ставший моим духовным стержнем на всю жизнь, вырос именно из этой интеллектуальной вражды к крохоборчеству, эмпиризму, ко всему вообще идейно не оформленному, теоретически не обобщенному".*

Если вдуматься в этот весьма квалифицированный самоанализ, становится жутко, ибо признание Троцкого делает безнадежной апелляцию к нему с помощью фактов, противо-

*Там же

речащих владеющей им в данный момент схеме.

В другом месте своей автобиографической книги он говорит о нестерпимо раздражавшем его "кретинизме локальных задач", имея в виду экономические чаяния крестьянства и политические — либеральной интеллигенции в дооктябрьские годы. Не закономерно ли, что его политическим и жизненным культом сделалась самая абстрактная и всеобъемлющая из социальных утопий — утопия "перманентной" мировой социалистической революции?

Схематичность мышления Троцкого потрясающа даже на фоне схематичности мышления Ленина.

Троцкий и сам рассказывает в "Моей жизни" о том, как, стремясь оборонить доктринерскую определенность своего мышления и мироощущения, он защищался от новых воздействий и жизненных впечатлений, в том числе и от воздействия искусства, способных чем-то нарушить упорядоченность его восприятия: "В сущности я сопротивлялся искусству так же, как в свое время сопротивлялся революции, а затем марксизму, как в течение ряда лет сопротивлялся Ленину". А несколько выше сказано (о борьбе против влияния на себя искусства) : "...в сущности это была борьба варвара за самосохранение". Из чувства справедливости надо признать, что варвар хорошо самосохранился.

Он чувствует, бродя по музеям Европы, что приближается к чему-то огромному, но, чтобы "охватить его по-настоящему, нужно слишком много расходовать себя". А у него "была своя область, очень требовательная и не допускавшая соперничества: революция". И, хотя он на протяжении двух своих дооктябрьских эмиграции "постепенно и с трудом ... приобщался к искусству", "смотрел, читал и кое-что писал", он, по его же словам, "дальше дилетантизма ... однако, не дошел". Ну что ж, многие ли из нас дошли в искусстве "дальше дилетантизма"? Но особенность эстетического дилетантизма Троцкого заключается, однако, в том, что после 7 ноября 1917 года он счел себя вправе не только выдавать писателям и целым литературным школам публичные историко-политические аттестации, но и выносить им приговоры, решая, чему в искусстве следует быть, а чему — не быть. Троцкий исписал сотни страниц пророчествами о судьбах различных феноменов искусства, лишенными тени сомнений и неуверенности. Попутно приведу свидетельство Троцкого об отношении к культуре другого вершителя ее судеб — Ленина. "Он (Ленин, — Д.Ш.) показывал мне с моста Вестминстер и еще какие-то примечательные здания. Не помню, как он сказал, но оттенок был такой: "Это у них знаменитый Вестминстер". "У них" означало, конечно, не у англичан, а у правящих классов. Этот оттенок, нисколько не подчеркнутый, глубоко органичный... был у Ленина всегда, когда он говорил о каких-либо ценностях культуры или новых достижениях, книжных богатствах Британского музея, об информации большой европейской прессы или много позже — о немецкой артиллерии или французской авиации: умеют или имеют, сделали или достигли — но какие враги! Незримая тень господствующего класса как бы ложилась в его глазах на всю человеческую культуру, и эту тень он ощущал всегда с такой же несомненностью, как дневной свет".*

Троцкий вспоминает об этих суждениях Ленина почтительно, без тени иронии.

Чтение статей Троцкого об искусстве демонстрирует сходное с ленинским восприятием мировой культуры как творения либо враждебных "пролетариату", то есть марксизму, либо чуждых марксизму, либо неполноценных в сравнении с марксизмом сил. При этом марксизм из одной из множества социальных доктрин вырастает в некое всеобъемлющее и непогрешимое мировоззрение, способное служить руководством во всех, без какого бы то ни было исключения, сферах жизни. Произведения немарксистской культуры пролетариату, по Троцкому, следует "брать... по необходимости, с заключающимся в них процентом реакционно-классовой лигатуры".**

Рассуждения большевистских вождей о культуре — это не беседы в кругу семьи, сослуживцев и единомышленников.

---

*Там же.

**Л.Д.Троцкий. Литература и революция. М.,1923. Все последующие размышления Троцкого о культуре и литературе цитируются по этой книге.

Это и не просто статьи или книги, которые можно читать или не читать, принимать или не принимать во внимание. Это директивная система воззрений, предопределившая для целых народов легальный эстетический кодекс огромной эпохи.

Троцкий был вскоре этой эпохой отринут, но таков саркастический парадокс его прижизненной и посмертной истории, что его воззрения без его имени остались на вооружении у его гонителей.

Но Ленин все-таки куда меньше писал о литературе, чем Троцкий, а об искусстве вообще, кажется, не писал специальных статей. Троцкий же в 1923 году любовно собрал и выпустил целый том своих старых и новых статей о литературе. На мой взгляд, Троцкий в своей философии культуры страшен. "Литература и революция" — так он назвал свою книгу. Это значит, что каждый литературный факт, которого он в ней касается, соотнесен им с владеющей им безраздельно Схемой. Он вообще устрашающ в холодном безумии своего мертвящего доктринерского мышления, ибо нет на свете таких вещей, которые он не решился бы схематически систематизировать в координатах марксизма.

В предисловии к книге "Литература и революция" он пишет: "Место искусства можно определить таким схематическим рассуждением.

Если бы победивший пролетариат не создал своей армии, рабочее государство давно протянуло бы ноги, и нам не приходилось бы размышлять сейчас ни над хозяйственными, ни тем более над идейно-культурными проблемами...

...Пролетариат сможет подготовить создание новой, т.е. социалистической, культуры и литературы, не лабораторным путем, на основе нынешней нашей нищеты, скудости и безграмотности, а широкими общественно-хозяйственными и культурническими путями. Для искусства нужно довольство, нужен избыток. Нужно, чтобы жарче горели доменные печи, шибче вращались колеса, бойчее двигались челноки, лучше работали школы."*

---

* Там же, с. 5-6.

Демагогия? Примитивность? Намеренное упрощение в расчете на малокультурных слушателей? Всего понемногу. Добывай, пролетариат, поскорее "довольство", "избыток" — и ты подчинишь себе литературу.

Не стоило бы и останавливаться на этих сентенциях, если бы историко-литературная схема Троцкого не лежала в наиболее общих своих чертах по сей день в основе советской школьной программы по русской литературе. Разве не эта версия бытует сегодня, пусть в несколько обновленном лексическом оформлении, в советской школе?

"Старая наша литература и "культура" была дворянской и бюрократической, на крестьянской основе. Дворянин, в себе не сомневающийся, и кающийся дворянин наложили свою печать на значительнейшую полосу русской литературы. Потом на крестьянско-мещанской основе поднялся интеллигент-разночинец, который вписал свою главу в историю русской литературы. Пройдя через народническое "опрощенство", интеллигент-разночинец модернизовался, дифференцировался, индивидуализировался в буржуазном смысле. В этом историческая роль декадентства и символизма. Уже с начала столетия, особенно же с 1907—1908 гг., буржуазное перерождение интеллигенции и с ней литературы идет на всех парах. Война придает этому процессу патриотическое завершение.

Революция опрокидывает буржуазию, и этот решающий факт вторгается в литературу. Кристаллизовавшаяся по буржуазной оси литература рассыпается. Все, что осталось сколько-нибудь жизненного в области духовной работы и особенно литературы, пыталось и пытается найти новую ориентацию. Осью ее, за выходом буржуазии в тираж, является народ минус буржуазия. А что это такое? Прежде всего — крестьянство, отчасти мещанская масса города, а затем рабочие, поскольку возможно еще не выделять их из народно-мужицкой протоплазмы. Таков основной подход всех попутчиков. Таков покойник Блок, таковы живые и здравствующие: Пильняк, серапионы, имажинисты. Таковы в части своей даже и футуристы (Хлебников, Крученых, В.Каменский).

Мужицкая основа нашей культуры — вернее бы сказать бескультурности — обнаруживает все свое пассивное могущество".*

Многого ли вообще она стоит, вся эта, по Троцкому, "недолитература" и "недокультура", сплошь состоящая из недопонявших, недодумавших, недоучившихся, недоувидевших?.. Немного. Ей и жить-то осталось какие-то считанные минуты. Вот ее классовая анатомия, этой "недолитературы" 1920-х годов.

"Внеоктябрьская литература, от суворинских фельетонистов до тончайших лириков помещичьего суходола, отмирает вместе с классами, которым служила...

"Советская" мужиковствующая литература, формально, но уже с гораздо меньшей бесспорностью, генеалогию свою может вывести из славянофильских и народнических течений старой литературы... Сейчас они себя перелицовывают, соответственно новой социальной обстановке.

Футуризм представляет собою также бесспорное ответвление старой литературы. Но в пределах ее русский футуризм не успел развернуться и, достигнув необходимого буржуазного перерождения, получить официальное признание...

Как значительны бы ни были достижения отдельных пролетарских поэтов, в общем так называемое "пролетарское искусство" проходит через ученичество, рассеивая элементы художественной культуры вширь, ассимилируя новому классу, пока еще в лице очень тонкой прослойки, старые достижения и являясь в этом смысле одним из истоков будущего социалистического искусства".**

Итак, одни "отмирают", другие "себя перелицовывают", третьи во что-то пытаются "сформироваться", четвертые пребывают на стадии "ученичества". Литературы как таковой у России начала 1920-х годов Троцкий не обнаруживает.

---

* Л.Д.Троцкий. Литература и революция, с.6—7.

** Там же, с.8—9.

Я долго размышляла над тем, что дало Дж.Кармайклу основание видеть в Троцком ревнителя духовной свободы и врага политической нетерпимости. Должно быть, следующее его руководящее указание (или что-нибудь вроде этого):

"Наша политика в искусстве переходного периода может и должна быть направлена на то, чтобы облегчить разным художественным группировкам и течениям, ставшим на почву революции, подлинное усвоение ее исторического смысла и, ставя над всеми ими категорический критерий: за революцию или против революции, — предоставлять им в области художественного самоопределения полную свободу".

Оперевшись на: "...предоставлять им в области художественного самоопределения полную свободу", почитатели Троцкого не замечают "категорического критерия: за революцию или против (выделено Троцким, — Д.Ш.) революции". Да и речь-то идет лишь о "разных группировках и течениях, ставших на почву революции". О не ставших и разговору нет.

А поэтому — хоть помри в одночасье эволюционисты, художники со "старым сознанием", мистики, индивидуалисты ("хозяином должен стать коллективный человек"), пессимисты, скептики, нереалисты, пассивные души и субъекты, рискнувшие усомниться в будущем...

Ну а куда в таком случае девать утверждение Троцкого, что партия допускает и впредь намерена допускать свободу "художественного самоопределения"?

"Не означает ли, однако, такая политика, что у партии окажется со стороны искусства не защищенный фланг? Сказать так — значило бы сильно преувеличить: явно ядовитым, разлагающим тенденциям искусства партия дает отпор, руководясь политическим критерием.

Если революция вправе, когда нужно, разрушать мосты и художественные памятники, то тем более она не остановится перед тем, чтобы наложить свою руку на любое течение искусства, которое, при всех своих формальных достижениях,

грозит внесением разложения в революционную среду или враждебным противопоставлением друг другу внутренних сил революции: пролетариата, крестьянства, интеллигенции. Критерий наш — отчетливо политический, повелительный и нетерпимый ".*

Учиться пролетариат должен не "содержанию" искусства неполноценных классово (идеологически) течений и групп, а "форме", профессиональному мастерству и технике буржуазного искусства, которые Троцкому представляются (при должном к тому внимании) отделимыми от их небезопасного содержания.

Прочь вредные мысли, чуждые взгляды, демобилизующие настроения, но — даешь красивую, не "корявую" форму. Учись у врага техническим приемам искусства, оформляя при помощи этих приемов свое, полезное, коммунистическое содержание. Вылущивай опасную идеологию, но используй в качестве образца одежды, в которые это содержание облачалось. Трудно придумать что-либо более плоское, более вульгарное и безжизненное, чем эта назидательная дихотомия.

Дж.Кармайкл рисует в одной из глав своей книги Троцкого на роковом для него заседании Политбюро. Бледный и сосредоточенный, опальный революционер читает (в оригинале) французский роман, стараясь не обращать внимания на решающих его судьбу "эпигонов". Да и сам Троцкий в "Моей жизни" говорит о своей особой любви к французской прозе. Но для народных масс он, подвергший барственному разносу поименно чуть не всех мастеров российской литературы 1900—1920-х годов, находит иной эталон литературного мастерства.

"Любопытно, что сочинители отвлеченных формул пролетарской поэзии проходят обычно мимо поэта, который больше, чем кто бы то ни было, имеет право на звание поэта революционной России. Определение его тенденций, его социальной подоплеки не требует сложных критических методов: Демьян весь тут, из одного куска. Это не поэт, приблизившийся к революции, снизошедший до нее, приявший ее; это большевик поэтического рода, оружия. И в этом исключительная сила Демьяна. Революция для него не материал для творчества, а высшая инстанция, которая его самого поставила на пост. Его творчество общественно-служебно, не только в так называемом последнем счете, как все искусство, но и субъективно, в сознании самого поэта. И так с первых дней его исторической службы. Он врос в партию, рос с нею, проходил разные фазы ее развития, учился думать и чувствовать с классом изо дня в день...".*

* Там же, с.162. Разрядка моя. — Д.Ш.

Сталин, по всей вероятности, не листал на заседаниях Политбюро французский роман и, возможно, читал для собственного удовольствия что-то вроде Демьяна Бедного. Троцкий писал поверхностные заметки о символизме, футуризме, имажинизме и еще Бог весть о чем, но для общенародного употребления рекомендовал сочинения Демьяна Бедного. Судите сами, что хуже (о лучшем здесь говорить не приходится) .

Д.Кармайклу представляется, что Пролеткульт (и как организация, и как пролетарская культура) отвергается Троцким из-за неприемлемости для последнего примитивной политизированности пролеткультовских деклараций и чрезмерных претензий пролетарских писателей. В действительности же Троцкий ничуть не менее тенденциозен, чем Пролеткульт. Но им владеет несколько иная тенденция. Его отрицание понятия пролетарской культуры есть последовательное приложение идеи перманентной коммунистической революции к проблеме культуры. Он говорит в своем предисловии к тому "Литература и революция":

"В корне неправильно противопоставление буржуазной культуре и буржуазному искусству пролетарской культуры и пролетарского искусства. Этих последних вообще не будет, так как пролетарский режим — временный и переходный. Исторический смысл и нравственное величие пролетарской революции в том, что она залагает основы внеклассовой, первой

* Там же, с. 157

подлинно-человеческой культуры".*
И уточняет в разделе "Пролетарская культура и пролетарское искусство" той же книги, почему пролетарской культуры и пролетарского искусства "вообще не будет".

"Хватит ли у пролетариата попросту времени на создание пролетарской культуры? ...Эпоха социальной революции будет длиться в мировом масштабе не месяцы, а годы и десятилетия, — десятилетия, но не века и тем более не тысячелетия. Может ли пролетариат за это время создать новую культуру? Сомнения на этот счет тем более законны, что годы социальной революции будут годами ожесточенной борьбы классов, где разрушения займут больше места, чем новое строительство... Отсюда надлежит сделать тот общий вывод, что пролетарской культуры не только нет, но и не будет; и жалеть об этом, поистине, нет основания: пролетариат взял власть именно для того, чтобы навсегда покончить с классовой культурой и проложить пути для культуры человеческой. Мы об этом нередко как бы забываем... Во всяком случае те 20—30—50 лет, которые займет мировая пролетарская революция, войдут в историю, как тягчайший перевал от одного строя к другому, но никоим образом не как самостоятельная эпоха пролетарской культуры".**

Для Троцкого и пролетариат, и крестьянство, и доставшиеся коммунистам в наследство от прошлого необходимые им, к превеликому сожалению, "спецы", и новая, "красная", интеллигенция, и государственный аппарат, и партия — это прежде всего инструменты осуществления великого замысла, "солдаты" на "дневке", обреченные за "20—30—50 лет" боев погибнуть, убивая и разрушая. Разве что нынешняя зеленая молодежь и дети выживут, воюя и строя. До культуры ли тут?

Дж.Кармайкла, плененного квазидуховностью Троцкого, удивляет благоговение последнего перед письмами Маркса и Энгельса. Он говорит о восторженном панегирике Троцкого

* Там же, с.9. Разрядка моя, — Д.Ш.

** Там же, с. 136-140.

по поводу их переписки: "Это звучит поразительно, если учесть, что даже сокращенное издание переписки Маркса и Энгельса, которое читал Троцкий... на каждом шагу демонстрирует злобность, завистливость, мелочность авторов. Они непрерывно унижают своих соперников, посторонних людей и даже собственных друзей, насмехаются и сплетничают о них самым вульгарным образом.

Заметив в них лишь интеллектуальный блеск и идеалистические мечты и отмахнувшись от "слишком человечного" за этими масками благородства, Троцкий попросту обнаруживал, каким он видел самого себя".

А несколькими главами позже сказано об изолированности Троцкого в партии: "...особенности его натуры — высокомерной, обособленной, замкнутой, благородной (выделено Дж.Кармайклом) исключали возможность его участия в паутине интриг, где любые союзы заключались лишь на основе взаимной выгоды".

Я тоже читала письма Маркса и Энгельса и, кроме них, еще и стенограммы съездов РСДРП, РСДРП (б) и РКП (б), в которых активно участвовал Троцкий. На этих съездах торжествовали "во весь голос" те качества: "злобность, завистливость, мелочность", вульгарная склочность, недоверие к соратникам, бесчестность по отношению к противникам и оппонентам, которые, по Дж.Кармайклу, свойственны переписке Маркса и Энгельса. На протяжении 1900—1916 гг. Троцкий и Ленин сказали и написали друг о друге столько уничтожительного (последний бывал в своих оценках Троцкого просто зол и груб, первый давал порой убийственно меткие характеристики), что вскакивать в 1917 году на подножку ленинского "броневичка", идущего к власти, было очень уж неблагородно.

Этические критерии Маркса и Энгельса, вскользь осужденные Дж.Кармайклом, органичны и для самого Троцкого — вот почему он не заметил их низменности, как не заметил низменности партийных свар, в которых всегда активно участвовал.

В своей книге, посвященной "литературе и революции",

Троцкий выносит смертные приговоры читательского забвения десяткам писателей, покинувшим и не покинувшим Россию в 1918—1920-х годах. Но так получилось, что его приговоры сбылись не над их, а над его собственным творчеством, не принесшим в мир ни крохи добра, красоты и правды. Вот некоторые (только некоторые) из его приговоров:

"...Значительнейшая часть старой литературы оказалась, и не случайно, за рубежом, — и вот случилось так, что именно в литературном-то отношении эта часть и вышла в тираж. Существует ли Бунин? О Мережковском нельзя сказать, что его не стало, потому что его по существу никогда и не было. Или Бальмонт? Или сам Чириков? Или, может быть, "Жар Птица", "Сполохи" и прочие издания, наиболее примечательной литературной чертой коих является сохранение твердого знака и буквы "ять"? Все это сплошь упражнения в книге жалоб на берлинской станции: очень долго не подают лошадей на Москву, и пассажиры выражаются".*

Иронией коварной судьбы через пять лет после написания этих строк Троцкий и сам окажется на эмигрантской дорожной станции. И будет горько, без всяких метафорических ухищрений, жаловаться в "Моей жизни" на то, что лицемерные и деспотичные демократические правительства не предоставляют приюта лихорадящему скитальцу-революционеру.

"Не могу не признать, что перекличка западно-европейских демократий, произведенная по вопросу о праве убежища, доставила мне, сверх всего прочего, немало веселых минут. Иногда казалось, что присутствуешь на "пан-европейской" инсценировке одноактной комедии на тему о принципах демократии. Текст мог бы быть написан Бернардом Шоу, если б к фабианской жидкости, которая течет в его жилах, подлить хоть пять процентов крови Джонатана Свифта. Но кто бы ни составлял текст, пьеса остается на редкость поучительной: Европа без визы. Об Америке нечего и говорить... Права убежища там нет давно. Европа и Америка без визы. Но эти два континента владеют тремя остальными. Это значит — планета без визы".

* Л.Д.Троцкий. Литература и революция, с.18-19,

Автору первого советского (декабря 1917 года) декрета о запрещении свободной иммиграции в коммунистическую Россию недоверие к нему демократических правительств, свержением которых он бредит, представляется истинным злодеянием.

"Планета без визы" — это означает в действительности планета с визами, которые демократические правительства не спешат предоставить недавнему вождю номер два большевистской России, непримиримому врагу демократии.

Коммунисты всегда громогласно настаивают на предоставлении им демократией всех ее возможностей, преимуществ и прав и всегда вменяют демократии в криминал ее маломальские попытки от них защититься, ее малейшую настороженность по отношению к экстремистам. И демократия постоянно отступает перед таким шантажом и спешит исправиться, предоставляя антидемократическим силам возможность действовать.

Ленин и Троцкий создали мир, из которого не выпускают,* а только вышвыривают или командируют. При Троцком был узаконен Лениным декрет о суровой уголовной ответственности, вплоть до расстрела, за самовольное возвращение в этот мир. Ленин настаивал исключительно на расстреле, и Троцкий против этого не возражал.

Почему же демократия, упорнейшим из врагов которой был Троцкий, сегодня так жадно тянется к апологетическим мифам о нем? Разве что исключительно по той причине, что "мировая безвластная коммуна" в его пиротехническом освещении выглядит завораживающе притягательно.

Но ведь есть уже убедительный и широкий опыт того, как выглядит эта злокачественная утопия при попытках ее воплощения в жизнь. Главная опасность социальных утопий не в их невыполнимости, а в том, что утопии воплощаются в жизнь

* Флуктуация ограниченного выезда по вызовам из Израиля не изменяет положения для большинства населения огромной советской империи.

с неизбежным смещением в сторону результатов, противоположных задуманным. Троцкий убит, но безумие его живет. И если мы чуть-чуть напряжем наше зрение, мы увидим, как оно расползается по планете.

К СВЕДЕНИЮ УНИВЕРСИТЕТОВ, БИБЛИОТЕК И БИБЛИОФИЛОВ

В распоряжении редакции имеется несколько уникальных комплектов журнала "Время и мы" с 1-го по 66-й номер (1975-1982). Многие из ранних выпусков журнала отсутствуют в библиотеках и магазинах и, по оценкам специалистов, стали библиографической редкостью. В этот полный комплект входят лучшие произведения русской зарубежной литературы и самиздата, а также произведения выдающихся западных и израильских писателей.

В 66-и номерах журнала наиболее полно по сравнению с другими изданиями представлена эмигрантская и русская неподцензурная публицистика.

Цена комплекта 395 долларов, включая пересылку.

Заказы и чеки присылать по адресу редакции журнала "Время и мы".

Лидия ЧУКОВСКАЯ

ПРЕДСМЕРТИЕ

На телеграфном бланке, протянутом мне моей собеседницей, было крупно выведено:

"Асеев и Тренев отказали в прописке".

— Нет, такую телеграмму посылать нельзя, — сказала я. — Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в дурном состоянии. Да и подумаешь, — высшая инстанция: Тренев и Асеев! Да и подумаешь, столица — Чистополь! Здесь прописывают литераторов всех без изъятия. Были бы невоеннообязанные.

— А вы с Треневым или Асеевым знакомы? Беретесь уговорить? Без них нельзя. В Чистополе они представляют Президиум Союза писателей.

— Здесь я почти ни с кем не знакома. Я ведь ленинградка, не москвичка... К тому же я не член Союза и не член Совета эвакуированных. С чего Асееву или Треневу меня слушать?.. А скажите, пожалуйста, вам понятно, какого черта они не желают прописывать Цветаеву?

— Как! — моя собеседница сделала большие глаза и перешла на шепот. — Вам разве неизвестно, кто она?

— Известно: Цветаева — поэт, очень своеобразный и сильный. Одно время была в эмиграции. Потом вернулась по собственной воле на родину. Ее муж и дочь арестованы. Она оставалась одна с сыном. Ну и что?

— Тесс! — снова встревожилась моя собеседница. — Не говорите так громко. Мы не одни.

Мы и в самом деле далеко не одни. Тесное, душное помещение почты полным полно.

Место действия — Чистополь. Небольшой городок на левом берегу Камы. Один из районных центров Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Центр не особенно центральный: 142 километра до Казани, 90 до ближайшей станции железной дороги. Время действия: конец августа 1941 года. Конец второго месяца войны.

Моя случайная собеседница, Флора Моисеевна Лейтес, женщина с ярко-черными волосами и в ярко-пестром платье, стоит в очереди к окошку, где принимают телеграммы, я же — к окну "до востребования".

Я прихожу сюда каждый день, но напрасно: ни от кого ничего. Никакого ответа на мои непрерывные письма.

С Флорой Моисеевной Лейтес я еле знакома. В Чистополь Московский Литфонд эвакуировал писательский детский дом, писателей-стариков, писателей-инвалидов, писательские семьи. Семьям ленинградских литераторов положено было вместе с интернатом для детей находиться под Ярославлем, в Гавриловом-Яме. Я же попала в Чистополь по воле случая. Война застигла меня не в родном моем Ленинграде, а на даче у отца, под Москвой, в Переделкине. Туда привезли меня из Московского эндокринологического института после тяжелой операции. С первого часа войны мною овладела настойчивая потребность вернуться домой, в Ленинград, хотя накануне вытеснена я была оттуда обстоятельствами весьма опасными. Но теперь казалось: война перечеркнула все другие угрозы и беды, а вне Ленинграда жизни я представить себе не могла. Однако в июле 41-го года с незарубцевавшейся раной, с постоянными болями в сердце, пробираться в Ленинград — на буфере, на крыше вагона! — нечего было и думать.

(Тем более что дорога Москва—Ленинград уже подвергалась налетам.) Когда мне стало чуточку лучше, меня, мою десятилетнюю дочь Люшу и четырехлетнего племянника Женю, — всех нас троих под присмотром няни Иды, — отправили из Москвы с другими семьями московских писателей в Чистополь.

Во второй половине июля немцы в своем рывке на Москву уже захватили Смоленск, Ельню, Рославль. Двигались они и к Ленинграду. В начале августа до нас доползли слухи, что они уже на подступах к Киеву. Москву начали бомбить еще при мне, Внуковский аэродром (в нескольких километрах от Переделкина) — тоже. "Последние известия", объявляемые в газетах и по радио, не всегда бывали истинно последними: власти с нарочитой замедленностью объявляли гражданам о сдаче очередных городов, и граждане, как это повелось издавна, питались по преимуществу слухами. К тому же радиотарелки вещали только в некоторых учреждениях, только на главных улицах или площадях. Да и газеты опаздывали.

Основное мое занятие в Чистополе: кроме очередей за керосином или селедкой стоять в очередях за вестями — за письмами. В очередях все больше женщины, вестей они ожидают все больше из армии. Я хочу знать и не знаю, где сейчас оба мои брата: оба на фронте, но где? и живы ли? Уехали ли из Москвы мои родители — и куда? и не разбомбили ли их квартиру в Москве или эшелон по дороге? Где все мои друзья — ленинградцы? Эвакуированы или остались, и в каком вообще положении Ленинград? Бомбят ли его? Обстреливают?.. В Чистополе, кроме меня, ленинградцев нет, расспрашивать некого. А почта в параличе. Каждый день я волочу сюда ноги по черной грязи, липкой даже в жару. Плетусь, одолевая одышку и считаю свои шаги или, для разнообразия, окна домишек — чет или нечет? будет письмо или нет? Какое-нибудь от кого-нибудь? А вдруг из Ленинграда?

Сегодня мой последний шаг был четный. Значит — будет.

Флора Моисеевна задает мне свои вопросы о телеграмме Цветаевой в самую неподходящую минуту: от меня до почто-

вого окошка всего три человека. Я отвечаю ей, думая совсем о другом.

— Так что же, по-вашему, делать? — теребит меня Лейтес. — Телеграмму ей посылать, по-вашему, не следует, а делать-то что?

Настаивать! Хлопотать!.. Елабуга небось такая же дыра, как и Чистополь. Что за разница Союзу писателей, где именно будет Цветаева жить? Была же она прописана в Москве или в Московской области, почему же ее не прописывать здесь?

Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла. Наш пароход отплыл из Москвы 28 июня, прибыли мы в Чистополь, с пересадкой в Нижнем, 6 августа, а дней через десять все уже были прописаны.

Сначала меня с семьей, как и всех новоприбывших, поместили в здании школы, превращенном в общежитие. Потом я сняла комнату неподалеку от Камы на деревенской улице, носящей громкое, но малоподходящее для русско-татарско-чувашского городишки название: улица имени Розы Люксембург. (Маркс и Энгельс тут тоже не были забыты.) Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Асеева, Тренева и уж не помню чьей. Выдали справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в Горсовет к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого сколько детей, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она безусловно не слыхала никогда ни единой. О Цветаевой она так же не слыхивала никогда ничего, как о любом другом литераторе, будь то Гладков, Чуковский, Лейтес или Александр Твардовский.

Нет, четное число шагов от избы до почты обмануло меня и на этот раз. Писем опять нет. Я отхожу от окна.

— А с Ляшко вы можете поговорить?

— С Ляшко? А он кто такой? Я никогда и в глаза его не

видывала и не читала ни единой строчки.

Однако фамилия Ляшко, — быть может, по совпадению окончаний? — напомнила мне о Квитко, о моем хорошем знакомом, поэте Льве Квитко, приехавшем в Чистополь на несколько дней навестить семью. Перед отъездом он обещал зайти ко мне. Поговорить о Цветаевой с Квитко — это разумная мысль. Он из тех, кто безусловно имеет вес в Союзе.

— Я попрошу Квитко, — говорю я, — а вы, очень советую вам, не посылайте пока телеграмму.

Флора Моисеевна пожимает плечами и кладет телеграмму себе в сумочку. Мы вместе выходим на улицу. Прощаемся: нам в разные стороны.

Итак, вестей нет, нет и нет. Нету писем. Вести же, сообщаемые нам в последние дни газетами и радио, таковы:

"Правда", 18 августа, понедельник.

От Советского Информбюро. Вечернее сообщение.

В течение 17 августа наши войска продолжали вести ожесточенные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили города Николаев и Кривой Рог. Николаевские верфи взорваны.

19 августа, вторник.

После упорных боев наши войска оставили город Кингисепп.

21 августа.

Ко всем трудящимся города Ленина

Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!

Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду.

...Смерть кровавым немецким фашистским разбойникам! Победа будет за нами!"

Хотела бы я расшифровать строку: "враг пытается проникнуть к Ленинграду". Проникнуть к нельзя. Проникнуть можно только в. В Ленинград? Значит, немцы уже вблизи, возле, вплотную?

"26 августа. Вечернее сообщение.

В течение 25 августа наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили Новгород".

Оставили, оставили, оставили...

...что народу-то!
Что народу-то! с камнем в воду-то!

Приходит ко мне Квитко. Мне хочется разузнать у него, какие вести, помимо газетных, из Киева — он сам с Украины, с Уманьщины родом, и Киев для него, верно, такая же боль, как для меня Ленинград. Квитко я знаю ближе, чем остальных здешних москвичей: он друг моего отца. Корней Иванович одним из первых заметил и полюбил стихи Квитко для детей, добился перевода их с идиш на русский язык, и Лев Моисеевич Квитко после большого успеха своих стихов в русской поэзии, незадолго до войны перебрался в Москву. Теперь два-три дня пробыл в Чистополе: здесь жена его и дочь. Ко мне пришел накануне отъезда, расспросить поподробнее, что передать от меня отцу, если они где-нибудь встретятся.

Что передать? Чистополь — это настоящий капкан. Обрести здесь хоть какой-нибудь заработок безнадежно. Снабжение убогое, цены на рынке растут, а где работа? В Ленинграде я уже работала стенографисткой; писала кое-какие статьи; была редактором; могу быть корректором, но в Чистополе нет учреждений, нуждающихся в стенографистках, и уж конечно никаких издательств. Я могу преподавать русский язык и литературу, но в здешних школах все места заняты здешними учителями. Семейству моему денег, лекарств и продуктов, взятых с собою из Москвы, хватит, по моим расчетам, месяца на полтора. А дальше? А дальше наступит зима, Кама на зиму станет, навигации конец, железной дороги нет, и из капкана не вырваться.

Письма ни от меня, ни ко мне не доходят, я не знаю где кто; я просила Квитко во что бы то ни стало разыскать Корнея Ивановича, все рассказать ему, а потом сообщить мне телеграфно, где мои родители, живы ли братья?

Квитко вглядывался в детей и в меня, в нашу комнату, расспрашивал о здоровье. О Киеве я заговорить не решилась. Неужели — оставят? Оставят Киев?.. Я очень этот город любила, жил он в моем сердце, пожалуй, на втором месте после Ленинграда. Да и не только город: там отец, и мать, и брат моего покойного мужа. Успели ли выехать?.. Да нет, быть того не может, чтобы наши отдали Киев! Этого имени я в разговоре с Квитко не произнесла. Но о Цветаевой, о безобразии, творимом Литфондом, заговорила. Ведь не ссыльная же она, сказала я, а такая же эвакуированная, как все мы, — почему же ей не разрешают жить, где ей хочется? Ведь не прикреплена она к месту. Квитко потемнел. Этот человек редкостного душевного равновесия не любил сталкиваться с несправедливостью. Она мешала его открытому и веселому нраву, воистину детскому — тому, который так счастливо слышен в его стихах. Она становилась поперек его вере. Он всегда внушал себе и другим, что все будет хорошо, он любил в это верить, он этою верою жил... Лев Моисеевич обещал мне увидаться сегодня же с Асеевым, выяснить, в чем, собственно, дело, да и прямо, от своего имени, поговорить с Тверяковой. (Он был не только член партии, но и писатель-орденоносец — редкость по тем временам.) "Все будет хорошо! — повторил он несколько раз на прощанье. — Сейчас самое главное — каждый человек должен накрепко помнить: все кончится хорошо". Относилось это заклинание и к моим родным, и к войне, и к Ленинграду, и к Киеву, и к Цветаевой — и к самой жизни... Глядя на его сильные плечи, на крупные черты лица, чем-то, быть может, смуглотой, а быть может, щедростью улыбки, напоминавшие Пастернака, слушая его звучный голос, я на минуту поверила, что и впрямь все кончится хорошо.

(Лев Моисеевич Квитко был арестован в разгар космополитизма, в 49-ом году, и после жестоких истязаний расстрелян в 52-ом. Думаю, он расстался с верой, что "все кончится хорошо", лишь в минуту расставания с жизнью.)

Я проводила его до ворот. Он обещал мне раздобыть все сведения о Корнее Ивановиче, увидать его или написать ему и непременно телеграфировать мне. Что же касается Цветаевой — он прямо от меня отправился к Асееву.

На следующий день я пошла искать аптеку: у Жени повысилась температура, глотать ему больно, — по-видимому, ангина. Отправилась я добывать компрессную бумагу. Если не окажется в аптеке, зайду в писательское общежитие, там уж у кого-нибудь найдется. Там у меня завелось много новых знакомых, полузнакомых, четвертьзнакомых — не-

давних спутников по общему плаванию.

В этот день, — думаю, было это 26 августа — и встретилась я впервые с Мариной Ивановной Цветаевой.

Было в Чистополе место, где неизбежно встречались все вновь прибывшие и прибывшие ранее: площадь перед Горсоветом. Куда бы ни шел, а ее не минуешь. Иногда и нарочно завернешь туда. Там уж какую-нибудь новость и ухватишь: кого куда переселили из общежития; когда наконец выдадут керосин, — а то здешние хозяева берегут дрова на зиму, своих русских печей не топят, а у нас у всех керосинки; и, главное, главное — какие новости с фронта? Что означает: "враг проник к Ленинграду"? Немцы в Царском? В Стрельне? Немцы уже ходят по Невскому? Черная радио-тарелка вещала на той же площади Горсовета: она часто портилась, но кто-нибудь уже наверняка слышал последние известия.

Из общежития, где мне подарили компрессную бумагу, шла я назад через эту всезнающую площадь. Пусто. И тарелка молчит. Как вдруг кто-то окликнул.

Это была та же Флора Моисеевна Лейтес. Она шла об руку с худощавой женщиной в сером. Серый берет, серое, словно из мешковины, пальто, и в руках какой-то странный мешочек.

— Познакомьтесь: Марина Ивановна Цветаева.

Женщина в сером поглядела на меня снизу, слегка наклонив голову вбок. Лицо того же цвета, что берет: серое. Тонкое лицо, но словно припухшее. Щеки впалые, а глаза желто-зеленые, вглядывающиеся упорно. Взгляд тяжелый, выпытывающий.

— Как я рада, что вы здесь, — сказала она, протягивая мне руку. — Мне много говорила о вас сестра моего мужа, Елизавета Яковлевна Эфрон. Вот перееду в Чистополь и будем дружить.

Эти приветливые слова не сопровождались, однако, приветливой улыбкой. Вообще никакой улыбкой — ни глаз, ни губ. Ни искусственно светской, ни искренне радующейся. Произнесла она свое любезное приветствие голосом без звука, фразами без интонации. Я ответила, что тоже очень, очень рада, пожала ей руку и заспешила на почту.

Всю дорогу, шагая мимо шатких дощатых заборов, вспоминала я этот желто-зеленый взгляд и размышляла над этими неподходящими словами: "Будем дружить!" Разве мы девочки-школьницы, чтобы, увидавшись впервые, уславливаться: вот сядем на одну парту и будем дружить? А самое странное — я бы даже сказала, смешное! это упоминание о Елизавете Яковлевне. Что могла Елизавета Яковлевна Эфрон обо мне рассказывать, да еще "много рассказывать", если встреча у нас с ней произошла одна-единственная и, мягко выражаясь, в высшей степени неудачная? Встретились мы в санатории Академии наук "Узкое", под Москвой. Я приехала вечером и оказалась за одним столиком с незнакомой дамой; завтра с утра ей пора уезжать. Полная дама, гораздо старше меня, лет пятидесяти, — и тем не менее, настоящая красавица. Глубокие, темные глаза, ровные белые зубы и какая-то особая прелесть в мягком голосе, в мягких движениях, в серьезном внимании к собеседнику. Мы сказали друг другу "Добрый вечер!" и, не называя своих имен, за ужином разговорились. Разговор сначала был самый пустой, незначительный — о здешних врачах, о погоде, о режиме, но не помню почему, речь зашла о "художественном чтении" — о недавнем приезде какого-то чтеца что ли. Я, с детства наслушавшаяся, как читают поэты, высказала нечто нелестное об актерском исполнении стихов. Я слышала Антона Шварца, Качалова, Яхонтова — и все они мне не нравились. "Они не доверяют стиху, — говорила я, — они думают, что к стиху надо еще что-то прибавить от себя: голосом, интонацией, жестом. А стих не нуждается в этом. Его надо только огласить, произнести, изо всех сил совершая вычитание себя, — вот как читал Блок, например. Он как бы перечислял слова — только с точнейшим соблюдением ритмического рисунка, разумеется... К тому же, — добавила я, — все это "художественное чтение" развращает слушателя, преподнося ему стихи в качестве некоего аттракциона, а на самом деле стих для поэта — плод глубочайшего сосредоточения, вслушивания — и восприятие должно быть результатом сосредоточенности". Моя визави смотрела на меня молча, внимательно, даже как-то задумчиво, положив

щеку на руку, словно посылая мне навстречу через стол очарование своих внимательных глаз. А наутро, когда она уже уехала, мне в ответ на мои расспросы объяснили, что это была наставница всех лучших актеров-чтецов, обучавшая их художественному чтению, режиссер, знаменитый педагог Елизавета Яковлевна Эфрон.

Помню, я тогда пришла в отчаянье от своей бестактности, резкости; я испугалась, что она приняла мою болтовню за преднамеренную грубость или за попытку учить ее уму-разуму.

И вот теперь от Цветаевой: "Я рада, что вы здесь, будем дружить, мне много рассказывала о вас Елизавета Яковлевна". Быть может, Марина Ивановна и сама не одобряет "художественное чтение" и по рассказу Елизаветы Яковлевны поняла, что я люблю стихи?

Писем не было. Зато из разговоров в очереди на почте я узнала, что "после упорных боев наши войска оставили город Днепропетровск". Кто-то где-то слышал по радио.

На следующее утро, когда я, со стаканчиком меда в руке, возвращалась с рынка, на улице ко мне подбежала встревоженная девушка — совсем молоденькая, одна из чьих-то писательских дочерей (фамилии не помню) — и, подбежав, оглушила вопросом:

— Вы — член Совета эвакуированных? Совета Литфонда?

— Да нет же! Я вообще никто. Даже не член групкома. Я отправлена сюда потому, что я "член семьи писателя Чуковского".

— Господи, как не везет... Я думала, вы хоть член Союза. Тут нужен человек с именем. Но все равно. Идите. В помещении парткабинета заседает сейчас Совет Литфонда. Туда вызвали Цветаеву и там решают, пропишут ли ее в Чистополе. Она в отчаянии. Бегите скорей.

Чужая тревога повелительна. Я не стала объяснять, что и Цветаеву-то видела всего раз в жизни и я для нее никто. Держа стаканчик перед собой, я заспешила в парткабинет. Не могу сейчас вспомнить с уверенностью, но, кажется мне, помещался он в том же здании Горсовета и был для меня местом известным: туда, хоть и с опозданием, доставлялись газеты, и даже нас, беспартийных, пускали читать.

Я старалась идти быстро. Кроме сильно колотившегося сердца, очень мешал стаканчик: нельзя было уронить ни капли.

По дороге пыталась я придумать, что же все-таки произнесу, если меня, паче чаяния, на заседание литфондовского Совета пустят? Ничего, кроме мысли, уже высказанной мною Льву Моисеевичу: "Она ведь эвакуированная, а не ссыльная и не лишена права передвигаться", — не лезло мне в голову. Но то, что я могла с глазу на глаз выговорить Льву Моисеевичу, стоило ли произносить публично? Упоминание о ссыльных или о правах только раздразнит начальство. Ах, доказательнее всего прочесть им вслух какое-нибудь из любимых моих цветаевских стихотворений (я знала тогда и любила немногое: сборник "Версты"). Неужели человек, создавший, написавший своею рукой такую мученическую и мучительную мольбу, такой упрек, такое воззвание к Господу Богу:

... Чем прогневили тебя эти серые хаты, —
Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь...

— Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалостный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же
Нынче солдаты! О Господи Боже ты мой!

— неужели поэт, прорыдавший эти слова, не прописал себя навеки веков в великой русской литературе, а значит, и в любой точке российской земли? Ведь это то же, что хоть и шепотом, но с тою же силою проговорила тогда же — Ахматова.

Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.

(Вот ведь несхожие, чуждые друг другу поэты, а стряслась с Россией беда, и два голоса одарили нас одной и той же молитвой. Вопль: "Нет, умереть!" Шепот: "До первой битвы умертвить меня",)

...Лестница. Крутые ступени. Длинный коридор с длинными, чисто выметенными досками пола, пустая раздевалка за

перекладиной; в коридор выходят двери — и на одной дощечка: "Парткабинет". Оттуда — смутный гул голосов. Дверь закрыта.

Прямо напротив, прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая, — Марина Ивановна.

— Вы?! — так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. — Не уходите! Побудьте со мной!

Может быть, мне следовало все-таки постучаться в парткабинет? Но я не могла оставить Марину Ивановну.

Пристроив стаканчик на полу, я нырнула под перегородку вешалки и вытащила оттуда единственный стул. Марина Ивановна села. Я снова взяла стаканчик. Марина Ивановна подвинулась и потянула меня за свободную руку: сесть. Я села на краешек.

— Сейчас решается моя судьба, — проговорила она. — Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Я чувствую, что непременно откажут. Брошусь в Каму.

Я ее стала уверять, что не откажут, а если и откажут, то можно ведь и продолжать хлопоты. Над местным начальством существует ведь еще и московское. ("А кто его, впрочем, знает, думала я, — где оно сейчас, это московское начальство?"). Повторяла я ей всякие пустые утешения. Бывают в жизни тупики, говорила я, которые только кажутся тупиками, а вдруг да и расступятся. Она меня не слушала — она была занята тем, что деятельно смотрела на дверь. Не поворачивала ко мне головы, не спускала глаз с двери даже тогда, когда сама говорила со мной.

— Тут, в Чистополе, люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там — сплошь деревня.

Я напомнила ей, что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе. Без водопровода. Без электричества. Совсем как в Елабуге.

— Но тут есть люди, — непонятно и раздраженно повторяла она. — А в Елабуге я боюсь.

В эту минуту дверь парткабинета отворилась и в коридор

вышла Вера Васильевна Смирнова, жена моего приятеля Вани Халтурина. С Верой Васильевной знакома я еле-еле, а с Ваней дружила издавна, еще в Ленинграде, еще чуть не со школьных своих времен. Ваня переехал в Москву и женился на Вере Смирновой. Теперь он в армии, а Вера Васильевна здесь, живет неподалеку от меня, и я, бывает, забегаю к ней наведаться: нет ли письма от Вани.

Цветаева поднялась навстречу Вере Васильевне резким и быстрым движением. И взглянула ей в лицо с тем же упорством, с каким только что смотрела на дверь. Словно стояла перед ней не просто литературная дама — детская писательница, критик, — а сама судьба.

Вера Васильевна заговорила не без официальной суховатости и в то же время не без смущения. То и дело мокрым крошечным комочком носового платка отирала со лба пот. Споры, верно, были бурные да и жара.

— Ваше дело решено благоприятно, — объявила она. — Это было не совсем легко, потому что Тренев категорически против. Асеев не пришел, он болен, но прислал письмо з а. ("Вот и разговор с Квитко", — подумала я.) В конце концов Совет постановил вынести решение простым большинством голосов, — а большинство — "за", и бумага, адресованная Тверяковой от имени Союза, уже составлена и подписана. В Горсовет мы передадим ее сами, а вам сейчас следует найти себе комнату. Когда найдете, — сообщите Тверяковой адрес — и все.

Затем Вера Васильевна посоветовала искать комнату на улице Бутлерова — там, кажется, еще остались пустые. Потом сказала:

— Что касается вашей просьбы о месте судомойки в будущей писательской столовой, то заявлений очень много, а место одно. Сделаем все возможное, чтобы оно было предоставлено вам. Надеюсь — удастся.

Вера Васильевна простилась и ушла в Парткабинет заседать. А мы по лестнице вниз.

Я ничего ни от кого не слыхала раньше ни о грядущей столовой (какое счастье! керосин придется добывать только для

лампы!), ни о месте судомойки, на которое притязает Цветаева. О, конечно, конечно, всякий труд почетен! И дай ей Бог! Но неужели никому не будет стыдно: я, скажем, сижу за столом, хлебаю затируху, жую морковные котлеты, а после меня тарелки, ложки, вилки моет не кто-нибудь, а Марина Цветаева? Если Цветаеву можно определить в судомойки, то почему бы Ахматову не в поломойки, а жив был бы Александр Блок — его бы при столовой в истопники. Истинно писательская столовая.

— Ну вот видите, все хорошо, — сказала я, когда мы спустились на площадь. — Теперь идите искать на Бутлерову, а потом к Тверяковой.

И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке.

— А стоит ли искать? Все равно ничего не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу.

— Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно.

— Все равно. Если и найду комнату, мне не дадут работы. Мне не на что будет жить.

Я стала ей говорить, что в Совете эвакуированных немало людей, знающих и любящих ее стихи, и они сделают все, что могут, а если она получит место судомойки, — то и она и сын ее будут сыты.

— Хорошо, — согласилась Марина Ивановна, — я, пожалуй, пойду, поищу.

— Желаю вам успеха, — сказала я, освобождая свою руку из-под ее руки.

— Нет, нет! — закричала Марина Ивановна. — Одна я не могу. Я совсем не понимаю, где что. Я не разбираюсь в пространстве.

Я попыталась объяснить ей, что мне непременно надо побывать дома. Что у меня хворает Женя. Что вообще я должна побыть с детьми. Что должна донести до дому мед — он детям обещан, и они ждут его.

— Хорошо, — согласилась Марина Ивановна с внезапной кротостью. — Я пойду вместе с вами, подожду, пока вы будете там возиться, а потом мы вместе пойдем на Бутлерову.

Мы шли по улице Льва Толстого. Я вела под руку Марину Ивановну, а в другой руке держала стаканчик.

— Я знаю вас всего пять минут, — сказала Марина Ивановна после недолгого молчания, — но чувствую себя с вами свободно. Когда я уезжала из Москвы, я ничего с собой не взяла. Понимала ясно, что моя жизнь окончена. Я даже письма Бореньки Пастернака не захватила с собою... Скажите, пожалуйста, — тут она приостановилась, остановив и меня. — Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?

— Стоит — не стоит — об этом я давно уже не рассуждаю. У меня в 37-м арестовали, а в 38-м расстреляли мужа. Мне жить безусловно не стоит, и уж во всяком случае все равно — как и где. Но у меня дочка.

— Да разве вы не понимаете, что все кончено? И для вас, и для вашей дочери, и вообще.

Мы свернули в мою улицу.

— Что — все? — спросила я.

— Вообще все! — Она описала в воздухе широкий круг своим странным, на руку надетым мешочком. — Ну, например, Россия!

— Немцы?

— Да, и немцы.

— Не знаю. Я не знаю, захватят ли немцы Россию, а если захватят, надолго ли. Я и об этом размышляю мало. Я ведь мобилизована. Мобилизованным рассуждать не положено. Сейчас на моем попечении двое детей, и я за них в ответе. За их жизнь, здоровье, покой, обучение, веселье.

Я рассказала ей, как, когда пароход наш еще совсем недалеко отплыл от Москвы и качался, весь темный, в черной тьме, неподалеку от какой-то ТЭЦ, — немцы налетели на ТЭЦ и начали бомбить. Бомбили они не пароход, не нас, а ТЭЦ, но бомба легко могла угодить и в нас. При каждом взрыве пароход вздрагивал — весь, от носа до кормы, весь, вместе с нами. Я держала Женю на коленях, а Люшу за руку. Сказать по правде, боялась я отчаянно. Жила от вздрога до вздрога. Вспоминались слова Хемингуэя из романа "Прощай, ору-

жие!": "Сиди и жди, когда тебя убьют..." Сидела и ждала. "Насколько легче бойцам в окопах, — думала я тогда. — У них в руках винтовки, а не детские руки". Дети же не боялись, потому что привыкли верить, что если Ида и я рядом, то ничего худого случиться с ними не может. В темноте я читала им на память пушкинского "Гусара". Собственно, читала я для Люши — эта вещь совсем не для четырехлетних! — но Женя заливался хохотом, хохотал до слез, я еле удерживала его у себя на коленях, хохотал так буйно, так безудержно, что даже взрослые, совсем не расположенные смеяться, — и те в промежутках между разрывами смеялись (не над "Гусаром", — над Женей). Сейчас и он и Люша знают уже всего "Гусара" наизусть. Четырехлетний Женя, ростом прекрохотный, с полуторагодовалого, а говорит длинными, законченными фразами, десятилетнему впору. В Чистополе хозяйские мальчики (двенадцати и четырнадцати лет) смотрят на него, как на дрессированного лилипута, ходят за ним по пятам, а он читает им:

Понюхал: кисло! что за дрянь!
Плеснул я на пол: что за чудо?
Прыгнул ухват, за ним лохань,
И оба в пачь. Я вижу: худо!

Гляжу: под лавкой дремлет кот;
И на него я брызнул склянкой —
Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот
И он туда же за лоханкой.

Я ну кропить во все углы
Сплеча, во что уж ни попало;
И все: горшки, скамьи, столы,
Марш! марш! — все в печку поскакало...

— "Понюхал: кисло! что за дрянь!" — это стало теперь поговоркой у Люши и Жени, — сказала я Марине Ивановне.

Она слушала меня безо всякого интереса. Так подошли мы к моей избе. Я предложила ей зайти, взглянуть на детей, но она сказала: "Нет, я лучше покурю на завалинке", — и села у наших ворот курить.

Стакан с медом встречен был ликованием. Оказалось, Ида выстояла в очереди керосин, и дети были накормлены настоящим обедом: щи и макароны. Ида попробовала накормить и меня, но от усталости я совсем не хотела есть: проклятая базедова и после операции давала себя знать слабостью, сердцебиениями. Прилечь бы! Я высунулась в окно и предложила Марине Ивановне пообедать.

— Нет, нет, — сказала она, пахнув на меня папиросным дымом. — А вы будете заниматься своими детьми еще не очень долго?

Я переменила Жене компресс, измерила ему температуру. Слава Богу, почти нормальная. Наскоро спросила у Люши английские слова, которые были заданы ей по книге "Through the looking-glass" — эту книгу (продолжение "Алисы в стране чудес" Carroll'a) сунул мне на прощание в чемодан Корней Иванович. Все это я делала дурно, торопливо, наспех — меня подстегивало нетерпение Цветаевой.

Под укоризненным Люшиным взглядом я вышла на улицу. Марина Ивановна сидела, прислонившись к нашей стене, а рядом с нею были разложены клубки шерсти: белый, голубой, желтый. Я никогда таких не видывала. Словно это не шерсть, а нежный склубившийся дым — клубки, пустые, мягке, так и просились в руки, их так и хотелось гладить, будто цыплят, котят. Марина Ивановна вскочила, бросила папиросу в сторону, клубки засунула в свой мешочек и снова взяла меня под руку.

Я повела ее на улицу Бутлерова. (Великий русский химик родился в Чистополе.)

— Дети, дети, жить для детей, — заговорила Марина Ивановна. — Если бы вы знали, какой у меня сын, какой он способный, одаренный юноша! Но я ничем не могу ему помочь. Со мною ему только хуже. Я еще беспомощнее, чем он. Денег у меня осталось — предпоследняя сотня. Да еще если б продать эту шерсть... Если бы меня приняли в судомойки, было бы чудесно. Мыть посуду — это я еще могу. Учить детей не могу, не умею, работать в колхозе не умею, ничего не умею. Вы не можете себе представить, до какой степени я беспомощна. Я раньше умела писать стихи, но теперь разучилась.

("Разучилась писать стихи, — подумала я, — это, наверное, ей только кажется. Но все равно — дело плохо. Так было с Блоком... перед смертью".)

Мы шли по набережной Камы. Никакая это не набережная, просто болото, с перекинутыми кое-где через грязь деревянными досками. Мы то и дело отцеплялись друг от друга и шли порознь — я впереди, она за мною. Но в одном месте доски сдвоены, и мы снова оказались почти рядом. Слова Марины Ивановны напомнили мне о беспомощности Анны Андреевны — в последние годы я близко наблюдала ее быт в Ленинграде. Где-то она теперь, Анна Андреевна? Что с ней? Что с Ленинградом? Мне бы Люшу и Женю доставить своим родителям, а самой туда, туда — там мое место. Уехала ли из Ленинграда Ахматова? Кто сейчас возле нее? Увидимся ли мы когда-нибудь?

(Откуда мне было знать: и двух месяцев не минует, как Анна Андреевна приедет сюда, в Чистополь, поселится у меня, и я поведу ее этой же дорогой, по этим же доскам и скажу: "Вот здесь я шла с Мариной Ивановной". И умолкну, вспомнив продолжение.)

— Одному я рада, — сказала я приостанавливаясь, — Ахматова сейчас не в Чистополе. Надеюсь, ей выпала другая карта. Здесь она непременно погибла бы.

— По-че-му? — раздельно и отчетливо выговорила Марина Ивановна.

— Потому, что не справиться бы ей со здешним бытом. Она ведь ничего не умеет, ровно ничего не может. Даже и в городском быту, даже и в мирное время.

Я увидела, как исказилось серое лицо у меня за плечом.

— А вы думаете я — могу? — бешеным голосом выкрикнула Марина Ивановна. — Ахматова не может, а я, по-вашему, могу?

Я вовсе не думала, что она может. Я просто выговорила вслух — весьма некстати! — одну из своих постоянных тревог. Я и сама не могла бы — не будь со мною Иды, ее крестьянской выносливости, ее крестьянских умений (Ида была раскулаченная под-ленинградская финка), да еще денег Корнея Ивановича и прочной надежды, что он вызволит нас отсюда раньше, чем Кама станет, — вызовет куда-нибудь, где найдется для меня самостоятельный заработок.

Полминуты постояли мы молча, — Марина Ивановна тяжело дышала после крика — потом двинулись дальше. Мне было стыдно: она так нуждалась в полноте участия! а я своей мыслью не о ней, причинила ей боль. Мы свернули с набережной в узкую улицу. Нравилось мне это место более других: чище.

— Вот и Бутлерова, — сказала я.

— Какая ужасная улица, — сразу отозвалась Марина Ивановна. — Я не могу тут жить. Страшная улица.

— Хорошо, поищем другую. Но сейчас зайдем на минуту к моим знакомым, Шнейдерам. Посоветуемся. Вам они будут рады, за это ручаюсь. Они уже огляделись вокруг — посоветуют, где искать.

Ручалась я за Шнейдеров — Михаила Яковлевича и жену его, Татьяну Алексеевну Арбузову, с полной ответственностью, хотя знала их мало или, точнее, недолго. С Михаилом Яковлевичем познакомилась я в 1939 году в Крыму, в одном из туберкулезных санаториев, где умирал — и вскоре умер — мой молодой друг, поэт и критик Мирон Левин. Там лечился тогда и тяжко больной Михаил Яковлевич. (Специалист по кинодраматургии.) Он был чуть не вдвое старше Мирона, а потому и туберкулезный процесс развивался у него медленнее. Там, в уходе за Мироном, мы и подружились. Потом я уехала в Ленинград, и встретились мы снова уже во время войны, 28 июня 41-го года, на пароходе. Здесь он познакомил меня со своей женой, Татьяной Алексеевной (в прошлом женой Арбузова, в будущем — Паустовского.) И Михаил Яковлевич и Татьяна Алексеевна в трудном нашем пути поразили меня своею сердечностью, а Татьяна Алексеевна к тому же — энергией, спокойствием и физической силой. По правде сказать, если б не она — вряд ли благополучно завершилось бы наше путешествие. В Нижнем, при пересадке на другой пароход, оказалось, что даже с помощью Иды — она тащила на спине и в руках все наши вещи, да и Люша несла один чемодан — ни я, ни дети не в силах выбраться вместе с толпой и сквозь толпу с парохода на берег. Два потока — выходивших и валом валивших навстречу —

крутили нас, толкали, швыряли. Я беспомощно моталась на нетвердых ногах, прижимая к себе Женю и держа за руку Люшу. (Сколько я видела потом в Ташкенте детей, потерявшихся при таких пересадках! Не под бомбами даже, а попросту в дороге! Станция, вокзал, пристань... Детей, разлученных с матерями на годы, а порой навсегда.) Вот тут и пришла мне на выручку большая, сильная, добрая Татьяна Алексеевна. Хотя она ничего не давала нести своему больному мужу, хотя сама волокла на плечах тяжелый тюк, — она вырвала у меня из рук Женю, вышла на берег, передала его Иде, и еще раз успела вернуться на наш пароход и вывести за собой сквозь толпу на берег меня и Люшу. А ведь суда, — как и эшелоны, — двигались в ту пору без расписания, и каждая лишняя минута могла обернуться для нее разлукой с мужем.

И в Чистополе, в заботах о больном, харкающем кровью Михаиле Яковлевиче, она находила время и силы, чтобы забежать к нам и преподнести то мыло, то коробок спичек, то леденцы для детей. Жили Шнейдеры бедно и трудно, надеяться тут на какую-нибудь работу и им было нечего, но я ни разу не слыхала от них ни единого жалкого слова.

Итак, я твердо знала, что веду Марину Ивановну к людям сердечным и деятельным, но и я не ждала такого приема, какой они оказали ей. Татьяна Алексеевна сразу и не без торжественности поблагодарила меня за то, что я привела к ней столь дорогую гостью. "Всю жизнь мечтала познакомиться с Мариной Цветаевой", — сказала она и точно пароль прочитала строку: "У меня в Москве купола горят"... Освободив Цветаеву от пальто и мешочка и усадив ее за стол, Татьяна Алексеевна спросила:

— Скажите, Марина Ивановна, как вы могли в 16-ом году провидеть близкую смерть Блока?

Думали — человек!
И умереть заставили.
Умер теперь. Навек!
— Плачьте о мертвом ангеле! —

Откуда взялось у вас такое предчувствие?

— Из его стихов, конечно, — ответила Марина Ивановна. — Там все написано.

Через десять минут на столе, застланном ослепительно белой наволочкой (в комнате все сверкало, как в хорошей больничной палате: Татьяна Алексеевна, добиваясь антисептики, мыла пол и окна ежедневно), на столе стояли: кипящий чайник, аккуратными ломтями нарезанный черный хлеб и вместо сахара — леденцы. Марина Ивановна пила большими глотками чай, отложив папиросу, а Михаил Яковлевич, умоляюще глядя на нее блестящими больными глазами, просил ее курить, не стесняясь его непрерывного кашля. Спокойно, весело, плавно двигалась по комнате полная, светловолосая Татьяна Алексеевна, расставляя раскладушку и расправляя простыни. "Ни в какое общежитие мы вас больше не пустим, — говорила она. — Там грязно и тесно. Вы будете у нас читать стихи, потом обедать, потом спать. Утром пойду с вами вместе искать комнату — поближе к нам — у меня на примете их несколько. Я здесь уже всех хозяев изучила... Стихи будете нам читать о Блоке, это мои любимые, а потом какие хотите... А найдем комнату — пропишетесь и съездите в Елабугу за сыном".

Марина Ивановна менялась на глазах. Серые щеки обретали цвет. Глаза из желтых превращались в зеленые. Напившись чаю, она пересела на колченогий диван и закурила. Сидя очень прямо, с интересом вглядывалась в новые лица. Я же, глядя на нее, старалась сообразить, сколько ей может быть лет. С каждой минутой она становилась моложе.

— Вы встретили меня с таким благородным радушием, — сказала Марина Ивановна, обращаясь к хозяевам дома, — что я чувствую себя обязанной рассказать вам свою историю.

("Начало неудачное, — подумала я. — Они, — как и я, — отлично знают, что Цветаева — зачумленная. И не по неведению встретили ее столь радушно".)

Новыми — для меня — в ее истории были: отчетливость в произнесении слов, соответствующая отчетливой несгибаемости прямого стана, отчетливой резкости внезапных движений, да еще та отчетливость мысли, с какой она, судя по ее рассказу, понимала, как жестоко заблуждаются жаждущие возв¬

ратиться на родину муж и дети. Там понимала, каково здесь.

— Сергей Яковлевич принес однажды домой газету — просоветскую, разумеется, — где были напечатаны фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями: приборы сверкают; посреди каждого стола — горшок с цветами. Я ему говорю: а в тарелках — что? А в головах — что?

Спрашивала она уже не у Сергея Яковлевича, а, скорее, у нас, и эти настойчивые "что?", нарушая мерность речи, выскакивали из ее уст с оглушительной внезапностью, как из бутылок — пробки. — А в будущем — что?

Она досказала свою историю до дня ареста дочери, а затем мужа, то есть до осени 1939 года. Произнесла последнюю фразу скороговоркой и умолкла. И, когда она умолкла, ни один из нас не решился просить о продолжении. Жестокостью было бы заставить ее договаривать.

— Прочитайте стихи к Блоку, — попросила Татьяна Алексеевна.

— Старье. Не хочу. Я вам прочитаю "Тоску по родине".

Я смотрела не на нее, а в окно. Не видя, лучше слышишь.

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне все равно, каких среди
Лиц — ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведем без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться — мне едино.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично, на каком
Непонимаемой быть встречным!

Тут она замолчала. Это "Мне безралично на каком" произнесено было с великолепным презрением. Вызывающе. Со страстной надменностью. Стихотворение оборвала внезапно, словно недокуренный окурок отбросила.

— Не хочу. Простите меня. Я вам вечером почитаю что-нибудь другое, например "Поэму Воздуха". Вы, верно, совсем не знаете моих поэм?

Нет, мы не знали. Что поэмы! В то время мы не знали девяти десятых Цветаевой. Не знали "Стола". Не знали "Куста". Не знали "Попытки ревности". Не знали — совсем не знали! — ее гениальной прозы. Все это, украденное у нас, хранившееся за тридевять земель, на протяжении десятилетий доходило только до редких избранных, а в самиздат и в печать начало пробиваться украдкой, урывками лишь во второй половине пятидесятых годов.

И только тогда, в пятидесятых, услышала я конец "Тоски по родине" и поняла, почему в отчаянье, в Чистополе, она не пожелала прочитать нам дальнейшие четверостишия. Ведь там, после всех неистовых отречений, после всех не, содержится в последнем четверостишии как бы некое "да", утверждение, признание в любви.

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина...

— если встает на пути рябиновый куст, то вместе с ним, вопреки всему выкрикнутому выше, встает и тоска по родине, — та самая, которую она столь энергично и презрительно только что объявила "разоблаченной морокой".

Пока Цветаева читала, я пыталась понять, чье чтение вспоминается мне сквозь ее интонации. Вызов, властность — и какое-то воинствующее одиночество. Читая, щетинится пленным царственным зверем, презирающим клетку и зрителей.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне без-раз-лич-но, на каком
Непонимаемой быть встречным!

Вспомнила! Маяковский. Когда-то, в детстве, в Куоккале, я слышала Маяковского. Он читал моему отцу "Облако в штанах". И так же щетинился пленным зверем — диким, не усмиренным, среди ручных.

Она обещала почитать еще — не сейчас, а попозже. Условились мы так: сейчас я пойду на телеграф и дам телеграмму в Елабугу ее сыну. Она продиктовала мне адрес и текст: "Ищу комнату, скоро приеду". Потом зайду в общежитие, разыщу там некую Валерию Владимировну (Марина Ивановна ночевала в одной комнате с ней) и предупрежу ее, что сегодня Цветаева ночевать не придет. Пока Марина Ивановна будет отдыхать на раскладушке у Шнейдеров, Татьяна Алексеевна наведается неподалеку к знакомой хозяйке узнать о комнате. А в восемь часов вечера снова приду я — и тогда Марина Ивановна прочтет нам "Поэму Воздуха". Я же прочту последние из мне известных стихов Пастернака. (В Переделкине Борис Леонидович подарил Корнею Ивановичу "Иней", "Сосны", "Опять весна". Я тогда же переписала их в свою тетрадку и, уезжая, взяла с собою.)

На почте телеграмму я отправила быстро, а вот в очереди "до востребования" простояла долго. На моих глазах редкие, редчайшие счастливцы получали треугольник или квадратик, а большинству — и мне — ничего, ни от кого, ниоткуда. Это безвестие, это молчание — оно было красноречивее любой сводки. Ведь не могли же все умереть сразу или все забыть меня сразу! Молчание означало: всюду на нашей земле несмолкаемый грохот. Бомбы, пули, гранаты, орудия, танки.

Я вышла с почты, оглушенная неудачей. Я так ждала тогда вестей, а их не было. Я еще не понимала в ту пору, что безвестие — великое благо. Когда я выбралась наконец из Чистополя и вести градом посыпались на меня, они были такие: мой младший брат, Женин отец, убит под Москвой. Мой первый муж, Люшин отец, погиб в Ленинграде. Мои киевские

родные, спасаясь от немцев, выехали из Киева с последним эшелоном — иначе погибнуть бы им в Бабьем Яру! — но гибель в виде тифа настигла их в пути: старики умерли на вокзальном полу маленькой железнодорожной станции. Мой Ленинград — обстреливаемый, взрываемый — вымерзал, вымирал, превращался в город-морг.

...Покинув почту, я с трудом припомнила, куда собиралась. Да, Марина Ивановна просила зайти в общежитие и там предупредить, что ночевать она останется у Шнейдеров. Но в общежитие мне идти не понадобилось: у дверей почты я встретила Валерию Владимировну и передала ей поручение Цветаевой. Она же в ответ сообщила приятную новость: Зинаида Николаевна Пастернак намерена приобрести у Марины Ивановны за 200 рублей клубки шерсти.*

Я поплелась домой. Признаюсь, меня туда не тянуло. В Чистополе меня удручала грязь. Нашу комнату мы кое-как обороняли, но двор, но кухня, но хозяйская половина избы! На потрескавшихся от зноя досках забора всегда сидят, лениво перелетая с места на место, жирные зеленые мухи. Ими, словно гнойниками, усеян забор. Во дворе грязь по колено: спасают досточки. Хлев сотрясается: это несчастная грязная корова чешет себе спину о стенки, будто не корова она, а свинья. Хозяйка надаивает молоко в грязный подойник. В кухне висят полотенца — и не какие-нибудь, а вышитые, — но хозяйские сыновья отирают о них не только руки, но, случается, прибегая со двора, и ноги. Обижаться грех: хозяева дружат с Идой, ласковы с детьми, мальчики угощают Женю и Люшу то морковкой, то репой прямо с огорода, но грязь, грязь наводит на душу тоску и уныние.

Стыдись! Ведь это не кровь, а всего только грязь. Черная липкая грязь, а не кровь, уходящая в землю или лужами стынущая на камнях и асфальте.

Возвращаясь домой, я на набережной увидала старуху. Она стояла крестясь. Я посмотрела кругом: нет, церкви тут нет. Старуха молилась почтовому ящику. Упала перед ним на

---

* Борис Леонидович находился в то время в Москве, а в Чистополь прибыл лишь во второй половине октября 1941 года.

колени. (Он приколочен к прогнившему столбу.) Сыновья? Четверо сыновей под пулями неведомо где или один-единственный? Она хваталась руками за столб, пытаясь встать. Я помогла ей подняться. Провалившиеся глаза с черными обводинами — глаза, обезумевшие от ожидания. Похожи на те — в тюремных очередях.

Дома — благополучие. Я проглотила холодные макароны. Ида играет с хозяйкой в карты, и Женя, в шерстяных носках и с компрессом на шее, крутится возле. Люша занята штопкой: натянула чулок на большую деревянную ложку — хозяйкин подарок. Мы уселись с ней рядом на лавочку. Но пробыли одни мы недолго: Люша издали увидала шагающего к нам Петра Андреевича Семынина.

— Он двухголовый! Мама, смотри! — у него две головы!

По нашей улице, к нашей избе, шел мой приятель, поэт Петр Андреевич Семынин, не взятый ни в армию, ни в ополчение из-за болезни глаз. Он нес на плечах своего маленького сына. Опустив Сашу на землю, сел рядом со мною. Кто-то сказал ему, что я повела Цветаеву искать комнату, и он зашел спросить, отыскалось ли что-нибудь. Я рассказала, как обстоят дела.

— Знаете, на кого вы похожи? — сказала я. — Небритый, загорелый до черна, да еще в черной рубахе с закатанными рукавами? Вы, когда несете вашего златокудрого красавца, похожи на ворюгу-цыгана, укравшего господского мальчика. Уж очень красив. Маленький лорд Фаунтлерой — не иначе. Только вот кружевного воротника не хватает и бархатной курточки.

Саша, молча выпросив у Люши деревянную ложку, молча колотил ею по скамье. Красивее ребенка я не видывала. Золотые кудри. Белое нежное лицо. Черные глаза, черные брови под золотыми кудрями и черные ресницы в пол-лица.

Петр Андреевич не улыбнулся в ответ.

— Что, сводка опять плохая? — спросила я.

Он кивнул.

— Такая, как вчера?

— Хуже.

Потом он рассказал мне о заседании Совета эвакуированных — он, оказывается, член Совета и был там. Сначала вызвали Марину Ивановну — она была приглашена заранее — и попросили объяснить, почему она хочет переселиться из Елабуги в Чистополь? Семынин считал этот вопрос бесстыдным, издевательским. "Ведь мы не следственные органы, не милиция, ведь это уже не вопрос, а допрос! — повторял он мне. — Какое кому дело, почему и где она хочет жить? Марина Ивановна отвечала механическим голосом, повторяла одни и те же заученные наизусть слова: "В Елабуге есть только спирто-водочный завод. А я хочу, чтобы мой сын учился. В Чистополе я отдам его в ремесленное училище. Я прошу, чтобы мне предоставили место судомойки..." Она ушла, и мы приступили к обсуждению. Прочли вслух письмо Асеева: поддерживает просьбу Цветаевой. Потом самым мерзким образом выступил Тренев. Сообщил, что у Цветаевой и в Москве были, видите ли, "иждивенческие настроения"... Да ведь она, не покладая рук, переводила! Потом счел нужным напомнить товарищам, что время, видите ли, военное, а муж Цветаевой, видите ли, арестован, и дочь — тоже; и опять — время военное, бдительность надо удвоить, все они недавние эмигранты, муж Цветаевой в прошлом белый офицер. Если правительство сочло нужным отправить Цветаеву в Елабугу, то пусть она там и живет, а мы не должны вмешиваться в распоряжения правительства... Омерзительная демагогия. Меня тошнит до сих пор. При чем тут правительство? При чем — военное время? Это просто Литфонд решил, что Чистополь переполнен, и начал заселять литераторами следующий город... Очень толково возражали Треневу Борис Абрамович Дерман, Вера Смирнова, ну и я сказал несколько слов... Потом проголосовали. Тренев остался в ничтожном меньшинстве, почти все голосовали з а.

Петр Андреевич встал и снова поднял своего Сашу на плечи. Маленький лорд Фаунтлерой ни за что не хотел отдавать Люше ложку — молча, но неколебимо.

Отдал наконец.

Мы с Люшей проводили обоих до угла.

— Хорошо, что вы были там, — сказала я Петру Андреевичу на прощание. — Помогли управиться с Треневым.

— Все равно тошнит, — ответил Семынин.

Посидев еще немного с Люшей, я прихватила стихи Пастернака и отправилась к Шнейдерам. Кроме стихов, я несла Марине Ивановне добрую весть: найдена покупательница на ее клубки. Но у Шнейдеров, куда я пришла ровно в восемь, ждал меня, к моему удивлению, неприятный сюрприз: Марины Ивановны там не оказалось. После моего дневного ухода она полежала там, отдохнула, пообедала, а потом заявила вдруг, что ей надо с кем-то срочно повидаться в гостинице. Татьяна Алексеевна ее проводила. К восьми часам Марина Ивановна обещала вернуться и заночевать. "Не заблудилась ли на обратном пути?" — спросила я. — "Нет, она сказала, ее проводят".

Ждали мы до половины одиннадцатого. Михаил Яковлевич в пижаме лежал на своей коечке. Температура выше 38. Татьяна Алексеевна раза два выходила навстречу. Я видела, что Михаилу Яковлевичу невмоготу: красными пятнами жара пылало изможденное лицо. Мне было пора. После десяти в Чистополе глубокая ночь. Мы условились так: сейчас я уйду, а утром сбегаю в общежитие и узнаю: все ли благополучно, воротилась ли туда ночевать Марина Ивановна? И извещу Шнейдеров.

Утром я отправилась рано. На пороге общежития встретила меня та же Валерия Владимировна. Встретила словами:

— А я к вам.

Марина Ивановна ночевала в общежитии. Утром уехала срочно в Елабугу. Решила так: перевезти сына в Чистополь, комнату искать вместе и, найдя, окончить дело с Тверяковой.

"Что ж, это разумно, — писала я Татьяне Алексеевне, посылая к ней Люшу. — Сын лучше, чем мы, поймет, какая комната им нужна".

...Насколько я могу рассчитать, уехала Цветаева из Чистополя в Елабугу 28 августа. А через несколько дней все на той же почте, в очереди к тому же окошечку, услышала я

страшную новость: приехал из Елабуги сын Марины Ивановны, явился к Асееву с письмом и сказал:

— Мама повесилась.

Марина Цветаева покончила с собой, как известно, 31 августа 1941 года.

Я сделала свою запись о встрече с ней уже после известия о гибели, 4 сентября. И четыре десятилетия в ту свою тетрадь не заглядывала. Так, иногда, если заходил при мне разговор о Цветаевой, рассказывала, что вспоминалось. Очень запомнила я мешочек у нее на руке. Я только потом поняла — он был каренинский. Из "Анны Карениной". Анна Аркадьевна, когда проходили мимо нее вагоны, сняла со своей руки красный мешочек. У Цветаевой он был не красный, бесцветный, потертый, поношенный, но похожий. Чем-то — не знаю, чем — похожий. В Чистопольской моей тетради, после известия о самоубийстве, так и написано: "Я увидела женщину с каренинским мешочком в руках".

Перечитать старую тетрадь и вспомнить все досконально и по порядку побудили меня два документа. Один напечатанный, другой нет.

Начну с напечатанного.

Попалась мне в руки книга, выпущенная в Париже, под редакцией Г.Струве и Н.Струве в издательстве YMCA-Press: "М.Цветаева. Неизданные письма". Привожу отрывки из "Записной книжки" Марины Ивановны со страниц 629—631.

"Возобновляю эту записную книжку 5 сент. 1940 г. в Москве/.../

О себе. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего — себя, своей головы, если эта голова — так преданно мне служащая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами — крюк..."

Тут остановимся. Повторим: "...я год уже (приблизительно) ищу глазами крюк..."

Запись сделана 5 сентября 1940 года. Что же такое — год

назад? 27 августа предыдущего года была арестована дочь Цветаевой, Ариадна, Аля, а 10 октября — муж, Сергей Яковлевич Эфрон. Вот с какого времени она начала искать глазами крюк. Со времени этих двух разлучений. Увели дочь — в тюрьму, в лагерь, в ссылку. Увели мужа — на казнь.

Читаем дальше:

"/.../ Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить — мерзость, прыгнуть — враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже — посмертно — боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна... но, Господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать — дожевывать. Горькую полынь".

Прочитав эти слова "как я ничего не могу", я отложила книгу и прислушалась. Из дальней дали донесся до меня тот, прозвучавший на Каме, сорокалетней давности, крик:

— А вы думаете, я могу?

Какая она была мужественная и как много она могла — не требуется доказывать: перед нами ее могущественная поэзия, ее проза, вся ее мученическая, мужественная жизнь.

Но и богатырским силам приходит конец. В эмиграции она была бедна и одинока, но ее хоть печатали. Дома же, кроме переводов, не напечатали после ее возвращения почти ничего. А конец — конец силам наступил, я думаю, осенью 1939 года, и мои скудные воспоминания следовало бы озаглавить не "Предсмертие", но "После конца".

После ареста Али, после гибели мужа силам уже пришел конец, а тут после конца — война, эвакуация, безысходная нищета, новые унижения, Елабуга, Чистополь...

"Почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?"

Нет будущего. Нет России.

"Я когда-то умела писать стихи, теперь разучилась..." "Какая страшная улица..." "Я ничего не могу..." "Мыть посуду я еще могу".

...Второй документ не напечатан. По цепочке смертей и неожиданных наследований, лег на мою ладонь листок. Легонький листок бумаги — даже не листок — половина листка, вырванного из школьной тетради. Резким, отчетливым, размеренным, твердым почерком, словно попирающим ничтожную бумажонку, выведено на листке:

"В Совет Литфонда

Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда

М.Цветаева

26-го августа 1941 г."

Столовая открылась в ноябре. Меня в это время в Чистополе уже не было. Кто получил место судомойки, на которое притязала Цветаева, мне неизвестно.

Октябрь-декабрь 1981 г.
Переделкино

В СТОЛИЦЕ МИРА НА 42-ой

Есть в журналистике незыблемое правило: для того, чтобы рассказать о чьей-то жизни, надо стать в этой жизни своим человеком. Следуя этому правилу, я решил попробовать написать о 42-ой улице в Нью-Йорке и попытался стать там "своим человеком".

Я вышел на угол Бродвея и 42-ой улицы, тот самый угол, о котором когда-то Ильф и Петров в "Одноэтажной Америке" написали: "Мы стояли на самом популярном углу в Штатах, на углу 42-ой и Бродвея. "Великий Белый Путь", как американцы титулуют Бродвей, расстилался перед нами..."

Я стоял на том же перекрестке, но передо мной расстилался путь не столь уж великий и совсем уж не белый. Говоря о Нью-Йорке, тот же Ильф без тени сомнения написал: "Никакие фотографии представления об этом отчаянном городе, конечно, не дают. Боюсь, что о нем даже нельзя рассказать так, чтобы было понятно..."

Я решил рискнуть. В самом прямом смысле слова, ибо вам трудно даже себе представить, что такое фотографировать на нью-йоркской улице, тем более делать репортаж о 42-ой между Бродвеем и 8-ой авеню, где каждый второй из проходящих мимо "философов" — из какого-нибудь преступного клана. И как узнать из какого? И как он относится к человеку с камерой? И что у него на душе?

Я знал, что самое невероятное на этой улице, к сожалению, спрятано за глухими стенами и почти недоступно моей камере. И то, что вы увидите дальше, — лишь общий "тонус" 42-ой улицы — улицы черного бизнеса, зазывных инстинктов, улицы уцененных джульетт и выходящих в тираж ромео, улицы, которой покорны все возрасты и проблемы.

Я подошел к двери первого заведения. Полисмен, стоявший рядом и занятый какой-то хитрой игрой с одним из обитателей улицы, тронул меня за рукав:

— Сэр! Я не советую вам заходить сюда с камерой. Вам может не повезти. И вашим близким тоже.

Он вернулся к прерванной игре, и поток тотчас отнес меня от этого места.

— Смоук, смоук, смоук...

На каждом шагу вам пытаются продать этот самый ходкий здесь товар. Тут же, за спиной моего знакомого черного полисмена, эти люди, быстрые, как тени: "Смоук, смоук, смоук..."

Каждый день здесь продают и покупают на десятки и сотни тысяч долларов. Марихуана, кокаин, алькара...

Черный человек с крупной золотой серьгой остановил маленького индуса и сунул ему в руку карточку. Что-то шепнул, и тот исчез в провале двери. Такую же карточку он дал и мне, и я прочитал: "Три этажа секса. Не упусти шанс. Когда ты еще сможешь стать королем? У нас ты король". А за спиной у зазывалы надпись: "Прекрасные девушки! Бизнес и корпорации находятся под охраной закона штата Нью-Йорк".

Справедливы ли мы, когда по старой привычке даем этой уникальной улице такое банальное прозвище: "чрево Нью-Йорка"? Америку захлестывает рецессия, кризис косит такие гиганты, как "Крайслер", а 42-я улица цветет. Реки долларов втекают и вытекают из нее каждый день. Все на продажу: зрелища! живой товар! пицца! любовь на сцене! Не закрываются двери заведений — крестный ход мужчин утихает где-то к полуночи.

Добродушный продавец сосисок прячет голову от солнца под желтый тент и считает собранные доллары. А в это время рядом убили человека. Неслышно. Тихо. И так же тихо ограбили кого-то в кинозале.

Чего ждать от этой улицы, которая вовсе не улица, а цельное маленькое государство, где все свое. Правительство. Армия. Избиратели. Думаю, что и свой парламент, палата представителей из всех районов Нью-Йорка и его окрестностей.

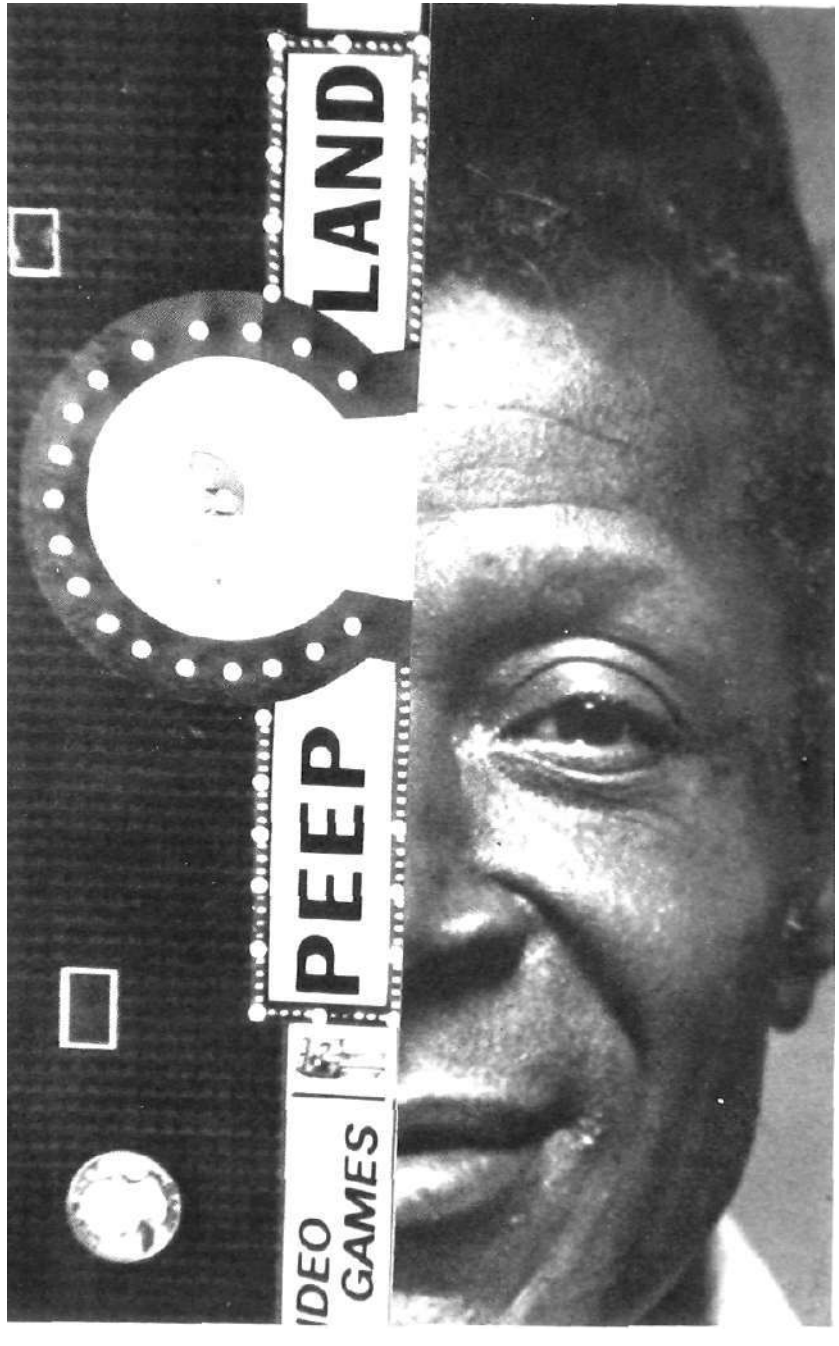
В Лондоне мне удалось побывать на заседании парламента (правда, там фотокамеру отняли при входе). А попади я в "парламент" 42-ой улицы, наверняка бы не быть этому репортажу.

Я снова оказываюсь на углу Бродвея. Вроде бы цел. Невредим. Камера при мне. Но, похоже, я так и не стал "своим человеком" на 42-й улице.

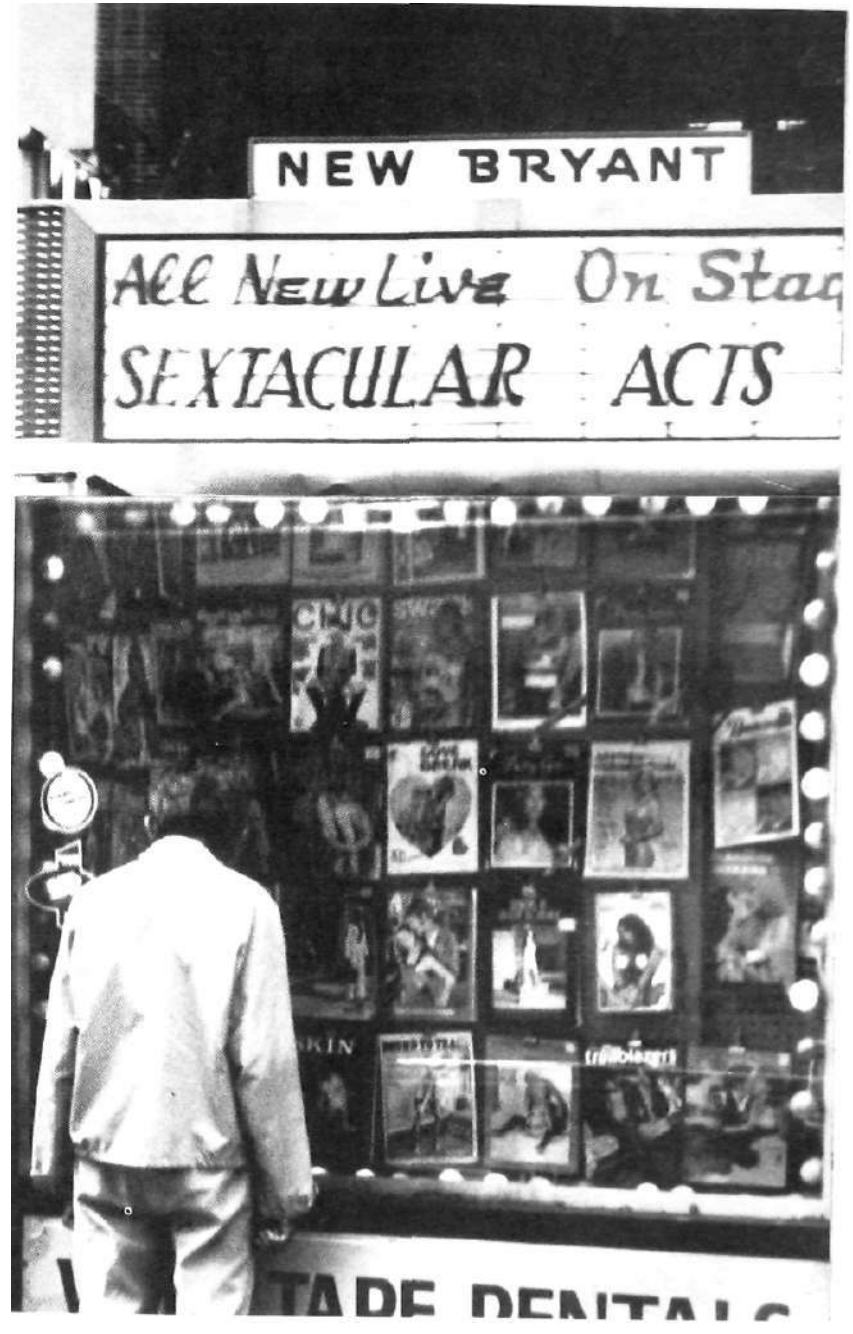
Я ухожу вверх по "Великому Белому Пути", а в ушах все еще звенит: "Смоук, смоук, смоук..."

Альфред ТУЛЬЧИНСКИЙ

В столице мира,на 42-ой.

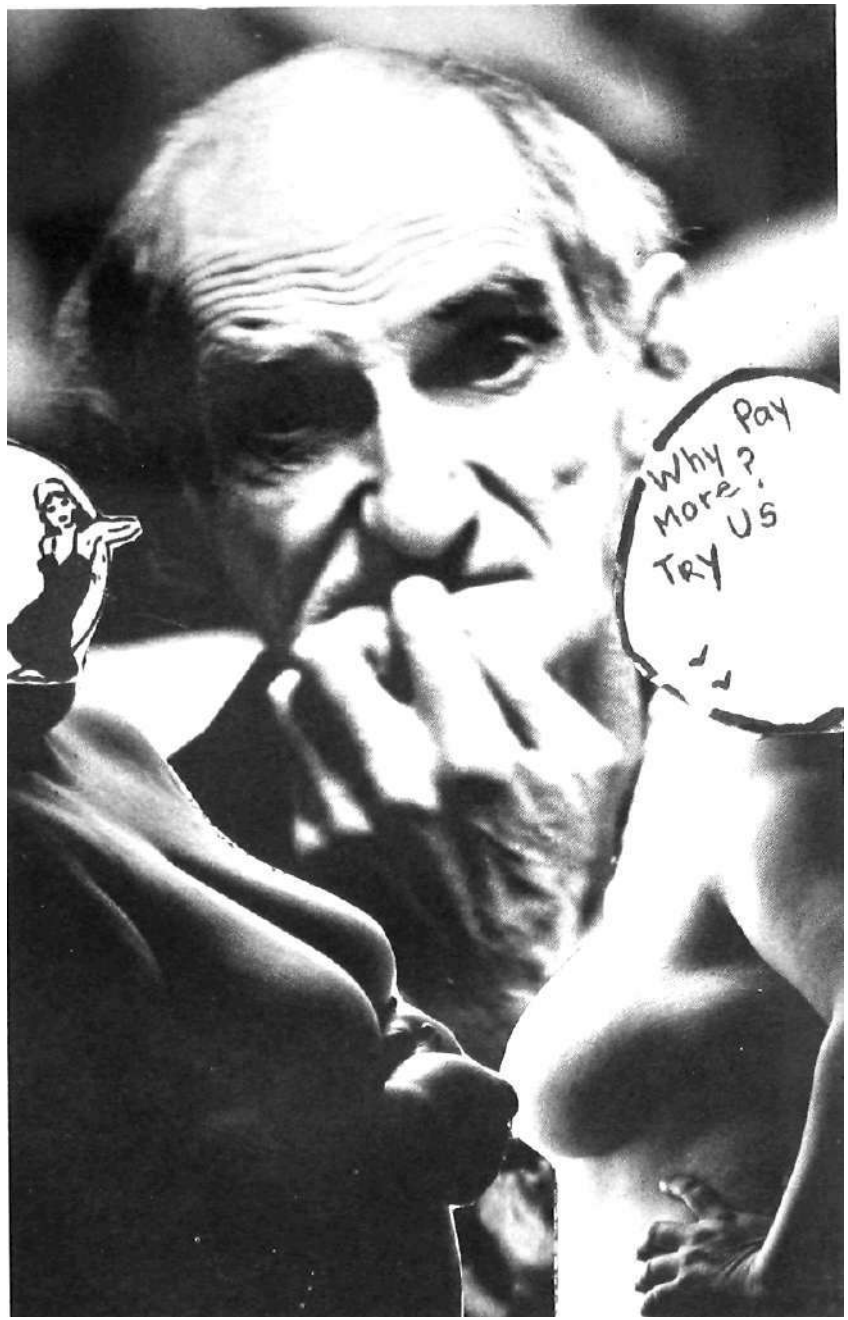


Искушение



Мужчины и женщины.

Старик и улица.



Перед дилеммой.

Джульетта с 42-ой.

XXX Acts
Films every week
GIRLS ON STAGE
LOVE TEAMS
XXX
MOVIES
25¢ 25¢
MOVIES
25¢
LIVE
NUDE SHOW
Live on Stage
BUDDY BUDDY

Из-за угла.

Секс в три этажа.

ОТ РЕДАКЦИИ

СТРАХ ПЕРЕД ВЫСКАЗАННЫМ СЛОВОМ

Об одной неоконченной публикации

Как уже известно нашим читателям, в 65-м номере журнала были опубликованы "Письма из американской глубинки" Б. Шоссета. Поскольку все письма в один журнал не вошли, мы решили их перенести в следующий, завершив публикацию традиционной сноской "Окончание в следующем номере". Обстоятельства сложились так, что редакция вынуждена нарушить свое обещание.

Прочитав собственные письма в 65-м номере, Б.Шоссет потребовал вторую их часть не публиковать, хотя материал был уже набран и стоял в номере. Б.Шоссет не просто потребовал его снять, он заявил, что передаст дело адвокату и уж во всяком случае устроит громаднейший скандал.

Малоприятно иметь дело с автором, который, не успев еще опубликоваться, задумал судебную тяжбу. Но, с другой стороны, мы считаем необходимым объяснить эту прямо-таки кафкианскую ситуацию, когда взрослый человек, в здравом уме, предоставляет в распоряжение редакции одну часть материалов и, напуганный неким таинственным, зловещим обстоятельством, требует снять продолжение.

Что же это за обстоятельство? Что могло так напугать нашего автора,что теперь он готов стоять насмерть, только бы не быть услышанным читателем?

Расскажем сначала, ибо история эта, на наш взгляд, выходит далеко за рамки нескольких писем Шоссета, в публикации которых он отказал редакции.

Итак, некоторое время назад, после того как были напечатаны письма Владимира Шляпентоха (№ 62-63), нам стало известно, что столь же интересную публикацию могут представить собой письма другого эмигранта, который в течение нескольких лет ведет переписку со своими друзьями в СССР. Мы связались с этим человеком по телефону. Справедливости ради, заметим, что реакция с его стороны была двойственная, — с одной стороны, чувствовалось, что ему очень хо-

чется придать огласке написанное, с другой — нечто такое, чего он сам не мог объяснить, его сдерживало.

— Понимаете, все это очень сложно, совсем не так, как вам кажется, тут с кондачка нельзя, и вообще это огромней работа. Нет, нет, я вот так просто их не дам.

Все это выглядело маловразумительным. Но, если бы Б.Шоссет вообще отказался от публикации, то на этом бы и была поставлена точка. Вольному — воля. Но в том-то и дело, что через некоторое время пачка писем появилась на редакционном столе. Все та же справедливость требует добавить, что письма эти были небезынтересны. Чувствовался острый, наблюдательный ум, искреннее стремление поделиться переполняющими чувствами, но были в них, пожалуй, и чересчур мрачные тона в оценке Америки. Впрочем, среди фактов живой жизни, о которых повествовал автор, эта мрачная тональность почти на ощущалась. В устах нового эмигранта она выглядела даже естественной.

Так было накануне первой публикации, когда во власти автора было изменить что угодно, в том числе убрать любые оценки. Но он пошел по-иному пути — критика Америки, по-видимому, и было то, ради чего эти письма писались. От критики Америки Б.Шоссет не хотел отказываться. Его просто не очень устраивало, чтобы в глазах окружения эта критика исходила от него. Почему не устраивало, об этом речь ниже. Но именно с этого момента все и началось. Снять не только фамилию, о фамилии и говорить нечего, снять, все, что может позволить его как-то идентифицировать: штат, где он живет, университет, где работает, имена друзей и знакомых, не должно быть ни единого факта, — по фактам наверняка узнают, кто скрывается под именем Б.Шоссет.

Что же осталось? Остались оценки, — где-то чересчур мрачные, где-то правдивые. Но лишенные живого дыхания жизни, письма были уже не те. Произошло естественное смещение акцентов. Этого не мог не понимать автор, на это пошла и редакция, публикуя его субъективные письма.

Не правда ли, пока все в рамках этики? Автор на чем-то настаивает, редакция принимает, сотрудничество продолжается. Но так было лишь до тех пор, пока Шоссет не увидел написанное им в журнале. Письма, которые он писал годами, теперь были собраны воедино и... душа его ужаснулась. Ужаснулась тому, что, по его собственным словам, "Нью-Йорк агрессивно некрасив", тому, что он "плохо понимамает, как люди американизируются", тому, что, с его точки зрения, Америка не "многогранная страна", а "однородная, провинциальная и скучная". В общем, многому еще ужаснулась душа нашего автора. По-видимому, не просто, вот так, с бухты-барахты, привыкнув к многолетнему молчанию, почувствовать себя "крупным" антиамериканцем. Не мог он такого написать! К тому же не выполнено главное его условие: он требовал, чтобы везде писалось "я", а редакция оставила "мы". Кто это мы? Мы с женой? Да теперь вся Америка поймет,

кто писал эти письма. Эпопея с "я" и "мы" была только началом. Опасаясь, что в своей "антиамериканской деятельности" он может быть опознан, Шоссет приступил к такой жесточайшей самоцензуре, какую нам не приходилось наблюдать даже в Союзе, где что-что, а перестраховываться люди умели! Теперь он резал по живому, вычеркивал уже то, ради чего писались эти письма.

Но чего же все-таки так испугался Б.Шоссет в собственных письмах? Не будем голословны и, рискуя утомить читателя, приведем несколько отрывков.

... "Есть проблема детей, выгоняемых из дому, самоубийств несовершеннолетних, те же семьи алкоголиков, что в России, с теми же проблемами — родительских прав лишить можно, но очень трудно, прививается психология дна, ребенок при наличии объективно колоссальных возможностей, просто не представляет себе, что он мог бы вести иную жизнь, чем его родители, школьное обучение ужасно, много хуже советского. Считается, что в восемнадцать-то лет уж дите обязано отделиться и жить отдельно (а если не хочет?), деньги детям даются редко и в долг, а чаще на образование зарабатывают, — вне зависимости от доходов родителей. Все это детали одного и того же, если исключить алкоголиков, детали американского стиля, который присущ этой стране"...

..."Учебники похожи на популярные книжки; в них смесь предметов, например, — история с географией, причем каждый год все с начала, на чуть более подробном уровне; рассказываются какие-то отрывочки, в общем, вся начальная школа соответствует методам того первого класса, который был в наши времена, кроме, видимо, языка, который хуже, потому как грамотно писать они так никогда и не научаются. По "наукам" — то же самое, то есть три или четыре года подряд прибавляют три яблока к четырем яблокам, по химии описывают красивые опыты, в общем, рассказывают не что-то, а о чем-то. Советские дети по математике блещут на никогда не виданном уровне (а это частные и хорошие школы!). Домашних заданий нет, и, в общем, понятно, что можно так учиться 12 лет, которые здесь, можно больше, непонятно только, зачем. Есть предмет (каждый год) о жизни в Америке; чужой истории практически нет, чужая география — пятнышками. Мол вот в такой-то стране, дети, есть такой-то город. Между прочим. Общая культура дается в колледже, но не за счет влияния, как в советском университете, а за счет того, что специализации в колледже почти совсем нет, берут самые разные сочетания предметов. В результате после шестнадцати лет обучения (12+4) и оказывается человек на уровне второкурсника, минус общая культура и грамотность.

Отчасти все это связано с идеологией, потому как знать о неамериканской жизни просто не принято. Зачем? Жить можно только в Америке, это им очевидно. То, что любой иммигрант имеет целью как

можно быстрее забыть свой варварский язык и выучить английский, "стать американцем", — подразумевается всеми, об этом разговору нет, тебя спрашивают только, как ты в этом преуспеваешь"...

..."Почему в Америке, по моему мнению, вообще нет культуры? Потому что культура, любая, изначально — культура праздника. Украшения. Необязательного. Обряда. Труд был наказанием, и в праздник, в традиции не входил. (Начиная с землепашества.) Некоторые народы — немцы — сумели в ремесленные века сделать и труд удовольствием, и получили культуру труда, но, придав труду эстетику, выработанную вначале на "ненужной" красоте. Здесь же — страна технологии, здесь никогда не было умения праздновать, да и начиналось все с пуритан, для которых красота была грехом, а стремление к рационализации было во всех с самого начала, и в результате, когда они стали позволять себе праздники, у них и они стали технологичны и трудо- (или военно-) подобны. Да и демократизм, который прекрасная вещь, — для праздника не годится. Толпа праздновать не умеет: нужен тамада"...

В чем-то можно с Б.Шоссетом согласиться, в чем-то нет. И, собираясь напечатать эти письма, мы могли ожидать, что придут разные отклики — и от тех, кто согласен с автором, и от тех, кто ему возражает. Но не читатели, а сам автор был вне себя, прочитав собственные письма. Он готов был прямо тут же тянуть редакцию в суд — это она во всем виновата! Тенденция в подборе писем. Он совсем не это имел в виду, ему стыдно смотреть в глаза своим американским друзьям.

— Дайте другое, мы опубликуем все вами предложенное. Мы просто обязаны это сделать, поскольку читатель ждет окончания.

Но что ему читатель? Он накладывает "вето". Ни строчки в печать!

Нет смысла излагать далее этот спор, поскольку и спора-то не было: мы соглашались на все, а он говорил — ничего!

Право же не нужно обладать даром психолога, чтобы понять, что за обстоятельство воздействовало на нашего автора. Точнее, что за светлое чувство переполнило человека, вот так вдруг отказавшегося от собственных слов. Оно — это чувство — двигало нами слишком долго, чтобы мы не научились без малейшего труда распознавать его.

В "Литературке" был автор, который в течение одного дня умудрился семь раз позвонить в редакцию, то вставляя, то убирая одну и ту же цитату Маркса о сменяемости чиновников госаппарата. Не написать, скажут классиков не знает, написать, — на что, скажут, намекает? А потом вечером он объяснил, что скоро у него защита, а оппонент у него — жуткий тип, да еще, по рассказам, стукач.

Впрочем, вскоре он успокоился: наверху виднее, если надо, подправят. Было в "Литературке", кому подправить: цензор, зав.отделом, главный редактор, Главлит, ЦК. Как хорошо, как легко там дышалось! И насколько сложнее здесь, когда ты сам себе и цензор, и редактор, и Главлит, и ЦК, когда ты один на один со свободой.

Что и кто грозит Б.Шоссету, осмелившемуся критиковать Америку? Агенты КГБ или, может быть, ФБР? Диссертацию провалят на ученом совете? Из аспирантуры выгонят? Или, может, в сумасшедший дом упекут за то, что заявил, что в американских школах смешивают историю с географией?

Мы в свободном мире, где все это — КГБ, стукачи, партсобрания, — как кошмарный сон, должно быть предано забвению. Но нет, не предается. А перебирается этот страх вместе с нашими бренными телами в новую жизнь и не дает нам быть самими собой.

Мы называем себя свободными людьми, но, в сущности, боимся этой свободы и в страхе шарахаемся от многого из того, что стало нормой в демократическом обществе.

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

"В опубликованных в 65 номере Вашего журнала воспоминаниях Р.Берг "Палачи и рыцари советской науки" содержится грубая неточность. Описывая "пансионат для академиков" в курорте Боровое в Северном Казахстане, где автор оказалась в 1941 году, она, в частности пишет: "Невестка академика Деборина жила со своим маленьким сыном. Звали ее Дебора" (с.160). На с.162 автор рассказывает, как во время пребывания в этом пансионате "Дебора — невестка академика Деборина" якобы "воровски меняла бутылки чая на мотки шерстяных ниток". Память, видимо, сильно изменила г-же Берг. Моя мать, Дебора Михайловна Самойлович, не была в 1941 г. невесткой академика Деборина (а стала таковой лишь в 1946 году), в 1941 г. находилась в Москве и не могла иметь маленького сына в 1941 г., ибо родился я в 1950, а никаких других детей у моей матери не было.

Судя по всему, автор имела в виду другую невестку моего деда, Ирину. Достоверность приводимого в мемуарах рассказа пусть остается на совести г-жи Берг".

С уважением

Е.Г.Деборин

25.6.1982. Рамот 416/32 Иерусалим

Редакция журнала "Время и мы" приносит свои извинения Е.Г.Деборину.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Игорь ЕФИМОВ — родился в 1937 г., окончил Ленинградский Политехнический институт в 1960 г., работал инженером, преподавал в вузе. С 1965 по 1978 г. — член Союза писателей. Выпустил около десятка книг. Среди них: "Таврический сад", "Смотрите, кто пришел!", "Лаборантка", "Свергнуть всякое иго". Его политико-философские труды циркулировали только в самиздате, отрывки печатались на Западе под псевдонимом Андрей Московит. Эмигрировал в 1978 г. На Западе опубликовал четыре книги: "Метаполитика" (историко-философское исследование, 1978, США), "Без буржуев" (анализ советской экономической машины, 1979, "Посев", ФРГ), "Практическая метафизика" (философская система, развивающая принципы Канта и Шопенгауера, 1980, "Ардис", США), "Как одна плоть" (роман, 1981, "Ардис", США). С 1981 г. руководит основанным им новым русским издательством "Эрмитаж". Живет в Мичигане.

Евгений НАКЛЕУШЕВ — родился в 1942 г. Окончил Московский университет (факультет философии), учился также на физическом факультете. Преподавал философию в Педагогическом институте в Павлодаре. После увольнения за "идеологически чуждые взгляды" по специальности не работал. Эмигрировал в 1978 г. Живет в Нью-Йорке. Выступает с философскими статьями в русскоязычной и зарубежной прессе.

Борис ПОЛЯКОВ — родился в 1940 г. в Ленинграде. В 1970 г. закончил философский факультет Ленинградского университета. Во время службы в армии (1959—1964) заболел и поэтому был лишен возможности работать. В Израиль приехал в феврале 1976 г. Первые стихи написал в Израиле.

Элий ВАЙНЕРМАН — родился в 1948 г. в деревне Купино Куйбышевской области. Окончил исторический факультет Куйбышевского педагогического института. Работал учителем в средних школах. Эмигрировал в Израиль в 1979 г. Живет в Иерусалиме, работает учителем.

Борис ШРАГИН — родился в 1926 г. В 1949 г. окончил философский факультет Московского университета и в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал учителем, преподавал философию в педагогическом институте, с 1958 г. — научный сотрудник Института истории искусств. Автор многих работ по эстетике, теоретическим проблемам современного искусства и истории культуры. В 1968 г. исключен из партии и уволен с работы за участие в правозащитном движении. С 1974 г. живет в США.

Ефим ЭТКИНД — родился в 1918 г. Писатель и критик. До отъезда из СССР — член Союза писателей. Окончил Ленинградский университет. Участвовал в войне против гитлеровской Германии на Карельском и Третьем Украинском фронтах. Затем преподавал в ленинградских вузах. С 1952 по 1974 год — доцент, в затем профессор Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. В октябре 1974 г. Ефим Эткинд, уволенный с работы и лишенный ученых степеней и званий, вынужден был эмигрировать из России (см. его книгу "Записки незаговорщика" London, "Overseas Publications Interchange", 1977). Ныне — профессор Десятого Парижского университета (Нантер). Под редакцией Е.Эткинда впервые на французском языке вышли поэтические переводы А.С.Пушкина. Под его же редакцией готовятся переводы Ю.М.Лермонтова.

Дора ШТУРМАН — Родилась в 1923 г. на Украине. Филолог и историк. В 1944 г. была осуждена на пять лет за исследование творчества нескольких советских поэтов, связанное с рассмотрением некоторых сторон советской действительности. После освобождения закончила университет и преподавала русский язык и литературу. Одновременно продолжала заниматься исследованием ряда фундаментальных проблем советского строя. Автор многих работ по вопросам политики, философии и культуры. В Израиле — с начала 1977 г.

Лидия ЧУКОВСКАЯ — родилась в 1907 г. в Петербурге. Окончила Тенишевское училище, затем литературное отделение Курсов при Институте истории искусств в Ленинграде, где в то время преподавали такие крупные ученые, как Л.Щерба, Б.М.Энгельгардт, Юрий Тынянов, Б.Эйхенбаум, В.М.Жирмунский. Редактор и писатель, автор книг о декабристе Николае Бестужеве, о путешественнике Миклухо-Маклае, об Александре Герцене, о редакторской работе, изданных в России. В 1974 г. была исключена из Союза писателей. Предлогом к исключению послужила статья "Гнев народа", посвященная А.Сахарову и А.Солженицыну. Автор вышедших на Западе книг: "Софья Петровна", "Записки об Анне Ахматовой" (в 2-х томах), "Открытое слово", "Процесс исключения" и др. Подробнее о Лидии Корнеевне Чуковской см. статью Е.Эткинда "Отец и дочь" в этом номере.

Альфред ТУЛЬЧИНСКИЙ — родился в 1937 г. в Харькове. Журналист, фоторепортер. Окончил редакторский факультет Московского полиграфического института. Начал публиковаться с 1960 г. Работал на радио и телевидении, в издательствах Москвы, Норильска и других городов. Многие репортажи Тульчинского были переведены на иностранные языки. Участвовал в международных фотовыставках. С 1979 г. живет в Нью-Йорке.

ЭРМИТАЖ

ЭРМИТАЖ -Publishers of New Russian Books
2269 Shadowood, Ann Arbor MI 48104, USA. Tel (313) 971-2968

В 1982 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература" (143 с, статьи)	**7.00**
АКСЕНОВ, Василий. "Аристофаниана с лягушками" (384 стр.	**11.50**
Собрание пьес. Иллюстрации Э. Неизвестного)	**(В тв. обл. 20.00)**
АРАНОВИЧ, Феликс. "Надгробие Антокольского" (190 с, 82 илл.)	**9.00**
БРАКМАН, Рита. "Жизнеутверждение Солженицыне кого героя" (144 с.)	**7.50**
ВАЙЛЬ П., ГЕНИС А. "Современная русская проза" (182 с, 15 илл.)	**8.50**
ВИНЬКОВЕЦКАЯ, Диана. "Илюшины разговоры" (144 е.,	**7.50**
60 иллюстраций Игоря Тюльпанова.)	
ВЛАДИМОВ, Георгий. "Три минуты молчания" (Роман, 402 с.)	**16.00**
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта" (Роман, 145 стр.)	**7.00**
ГУБЕРМАН, Игорь. "Бумеранг" (Стихи, 128 с, илл. Д. Мирецкого)	**6.00**
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона" (Повесть, 130 с.)	**7.50**
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера" (Сб. интервью, 112 с, 12 илл.)	**8.00**
ЕЛАГИН, Иван. "В зале Вселенной" (Стихи, 230 с.)	**7.50**
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда" (Роман, 320 с.)	**10.50**
"Практическая метафизика" (Фил. система, 332 с.)	**8.50**
"Метаполитика" (Под псевдонимом А. Московит, 250 с.)	**7.00**
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы" (160 с.)	**7.50**
КОРОТЮКОВ, Алексей. "Нелегко быть русским шпионом" (Роман, 140с.)	**8.00**
ЛЕЙТМАН, Игорь."Контуры лучших времен" (Соц. исслед., 128 с.)	**7.00**
ЛУНГИНА, Татьяна. "Вольф Мессинг — человек-загадка" (270с.)	**12.00**
МИХЕЕВ, Дмитрий. "Идеалист" (Роман, 223 с.)	**8.50**
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве" (110 с, 60 илл., б. форм.)	**12.00**
ОЗЕРНАЯ, Наталия. "Русско-английский разговорник" (165 с)	**9.50**
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Бунт подсолнечника" (Роман, 240 с)	**8.50**
СУСЛОВ, Илья. "Выход к морю" (Рассказы, 230 с.)	**8.50**
"Рассказы о тов. Сталине и других товарищах" (140 с)	**7.50**
УЛЬЯНОВ, Николай. "Скрипты" (Статьи, 234 с)	**8.00**

При отправке заказа просьба добавлять к сумме чека 1.50 доллара на пересылку (независимо от количества заказываемых книг). При покупке трех и более книг - СКИДКА 20%.

БИБЛИОТЕКА ИЗБРАННОЙ ПРОЗЫ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Редакция журнала "Время и мы" предлагает читателям "Библиотеку избранной прозы", куда входит ряд лучших произведений, опубликованных в журнале, начиная с 1975 года

Большая серия

Борис Хазанов "Я, Воскресение и Жизнь", Василий Аксенов "Гибель Помпеи", Юрий Карабчиевский "Жизнь Александра Зильбера", Виктор Некрасов "Из дальних странствий возвратясь", Владимир Рыбаков "Желтое и красное", Фридрих Горенштейн "Искупление и "Бердичев", Аркадий Львов "Бизнесмен" и "Отель "Амбассадор", Леонид Гершович "Царственный миг", Надежда Улановская "В России и за границей", Макс Брод "Жизнь и смерть Франца Кафки", Василий Яновский "Поля Елисейские", Владимир Марамзин "Человек, который верил в свое особое назначение" — всего 19 журналов.

Стоимость большой серии 57 долларов, включая пересылку.

Малая серия

Борис Хазанов "Я, Воскресение и Жизнь", Фридрих Горенштейн "Искупление", Виктор Некрасов "Из дальних странствий возвратясь", Аркадий Львов "Бизнесмен", Василий Аксенов "Гибель Помпеи", Владимир Рыбаков "Желтое и красное", Юрий Карабчиевский "Жизнь Александра Зильбера" — всего 9 журналов.

Стоимость малой серии 27 долларов, включая пересылку.

Заказы и чеки присылать по адресу редакции журнала "Время и мы" с указанием серии.

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ РУССКОЙ КНИГИ:

Феликс Розинер

НЕКТО ФИНКЕЛЬМАЙЕР

Роман

Парижская литературная премия им. Вл. Даля за 1980 год

В России писатель Феликс Розинер / р. 1936/ публиковал беллетризованные биографии музыкантов и художников /Григ, Прокофьев, Чурленис/, но его художественные произведения — проза, поэзия, пьесы — оставались неизданными и стали широко публиковаться после отъезда писателя в Израиль/1978/.

"Это прежде всего роман о творчестве, о творческой личности, о художнике, устами которого говорит нечто высшее и более властное, чем является он сам — бренный человек, ветхий адам. Конфликт художника и действительности — это вечный трагический конфликт и это вечная, может быть, самая болезненная тема мирового искусства. Разумеется, гримасы любой социальной реальности накладывают свою печать на жизнь художника. Но эта трагедия носит всеобщий характер, и об этом еще долго будут писать, прежде чем люди перестанут "пожирать неразумных детей своих"— своих гениев, своих художников и поэтов, не умеющих приспособиться к этому прагматическому миру."

Феликс Розинер

Издательство "Overseas Publications Interchange, London

В книге 600 стр.

Цена: в мягкой обложке — 6 фунтов стерлингов

в твердом переплете — 7.50

ALEXANDER SHTROMAS POLITICAL CHANGE & SOCIAL DEVELOPMENT: THF CASE OF THE SOVIET UNION, PETER LANG, FRANKFURT a.M/BERN, 1981

В книге недавнего эмигранта из СССР, ныне профессора Солфордского университета (Англия)

АЛЕКСАНДРА ШТРОМАСА

исследуются отношения между советским политическим режимом и разными слоями населения СССР.

На основании тщательного историко-социологического исследования этих отношений автор строит прогнозы дальнейшего развития страны, рассматривает возможные модели и сценарии смены существующего в ней ныне политического строя. В этой связи автор, в частности, касается политической стратегии Запада по отношению к СССР и ряда других не менее актуальных проблем.

ИЗ ОГЛАВЛЕНИЯ КНИГИ

Проблема политической оппозиции в СССР;

Советский режим и советский народ: исторический обзор;

Проблема политической оппозиции в СССР;

Советский режим и советский народ: исторический обзор;

Советский народ и советский режим: современное "диссидентское согласие";

Внутриструктурное и внеструктурное диссидентство;

Смена политического режима: вопросы теории;

Сценарии и исторические модели смены: плавный переход от партократии к технократии, военный переворот, внутриструктурный и внеструктурный гражданский переворот;

Последствия смены политического режима в СССР: чего следует ожидать и что следует предпринять.

Книга снабжена богатым справочным аппаратом.

Цена с пересылкой и 5-процентной скидкой 38 швейцарских франков.

Заказы на книгу направлять в издательство в Швейцарии:

Verlag Peter Lang, Postfach 277, CH-3000 Bern 15

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 1982

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ".

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 48 долларов; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017

Для новых подписчиков подписка осуществляется в двух вариантах:

премиальный — в редакцию направляется чек на 43 доллара. Редакция высылает подписчику 5 лучших номеров журнала за 1979—1981 гг. и оформляет подписку на 1982 г.;

ознакомительный — в редакцию направляется чек на 10 долларов. Редакция высылает 3 лучших номера за 1979— 1981 гг. и первый номер за 1982 г. При желании оформить подписку в редакцию направляется дополнительный чек на 33 доллара, и редакция начинает высылать очередные номера за 1982 г.

Стоимость подписки в Израиле — 700 шекелей; для библиотек — 750; с целью экономической поддержки журнала — 760 шекелей. Заказы и чеки высылать по адресу израильского отделения журнала "Время и мы": Иерусалим, Таллиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 300 франков; для библиотек — 350; с целью экономической поддержки журнала 360 франков;

— в Германии — 107 немецких марок; для библиотек — 120; с целью экономической поддержки журнала — 130 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1982 ГОД

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия. . . . . .

Имя. . . . . .

Адрес. . . . . .

Подписной период. . . . . .

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на. . . . . .год. Высылать с номера. . . . . .

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись. . . . . .

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу "Time **and** We"

475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK.
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

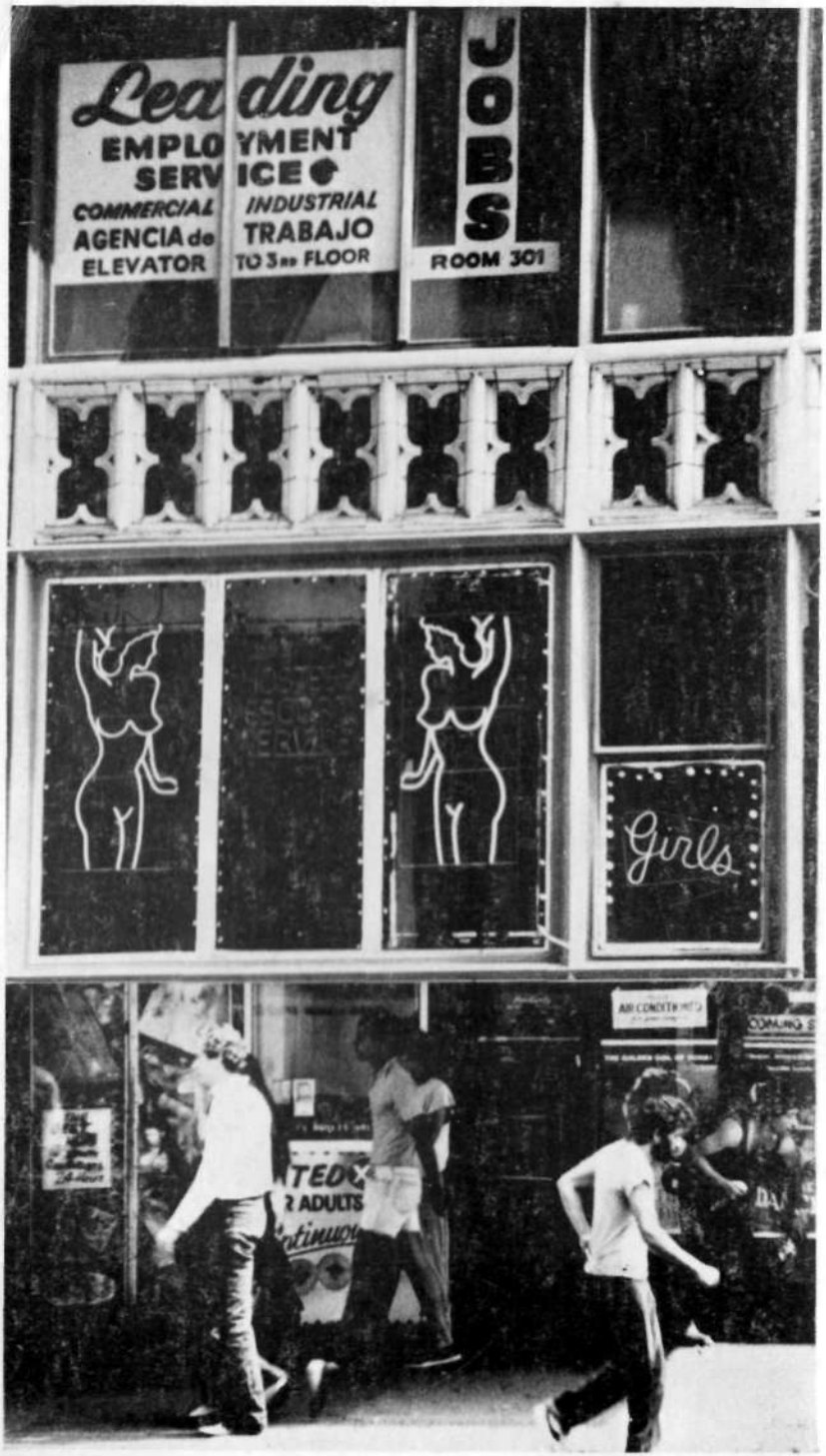
MAIN OFFICE: 475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK 10017, Tel. (212) 684-3014

Художественная редакция и оформление Альфреда Тульчинского (Jacket and design by Alfred Tulchinsky)

OCR и вычитка - Давид Титиевский, январь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки:

Альфред Тульчинский. Под знаком Девы.


Leading
EMPLOYMENT
SERVICE
COMMERCIAL
INDUSTRIAL
AGENCIA de
TRABAJO
ELEVATOR
TO 3RD FLOOR
JOBS
ROOM 301
Girls
AIR CONDITIONED
ADULTS